

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ)

Институт гуманитарных наук

Институт иностранных языков

Вроцлавский университет

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы



РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных трудов по филологии

Выпуск XIII

Москва
2019

УДК 80
ББК 81 + 82.3(2) + 84.3я43
Р88

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета ГАОУ ВО МГПУ

Редакционный совет:
Е. Н. Геворкян (Москва), *О. А. Романов* (Гродно),
М. Сарновски (Вроцлав), *В. В. Кириллов* (Москва)

Главный редактор:
С. А. Васильев (Москва)

Редакционная коллегия:
Т. Е. Автухович (Гродно), *Е. В. Бирюкова* (Москва), *И. А. Бубнова* (Москва), *С. В. Власова* (заместитель главного редактора, Вильнюс), *Е. Ю. Геймбук* (заместитель главного редактора, Москва), *В. З. Демьянков* (Москва), *М. Р. Желтухина* (Волгоград), *В. И. Карасик* (Москва), *Ж. Колевинскене* (Вильнюс), *Е. Ю. Колышева* (заместитель главного редактора, Москва), *В. Л. Коровин* (Москва), *В. А. Коханова* (Москва), *Г. Кундротас* (Вильнюс), *М. Ч. Ларионова* (Ростов-на-Дону), *А. Молнар* (Дебрецен), *И. Н. Райкова* (Москва), *М. В. Романенкова* (Вильнюс), *М. Сагаз* (Токио), *А. И. Смирнова* (Москва), *Е. К. Созина* (Екатеринбург), *В. И. Тюпа* (Москва), *О. А. Сулейманова* (заместитель главного редактора, Москва), *Э. Тышковска-Каспиак* (Вроцлав), *В. Шлекене* (Вильнюс), *Е. С. Ярыгина* (Москва).

Рецензенты:
Г. Е. Крейдлин, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета;
А. В. Пашкуров, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.

Р88 **Русистика и компаративистика:** Сб. науч. трудов по филологии / Гл. ред. С. А. Васильев. Вып. XIII. М.: Книгодел, 2019. — 316 с. (Научное издание.)

ISBN 978-5-9659-0186-9

«Русистика и компаративистика» — сериальный ежегодный международный сборник научных трудов по филологии, посвященный широкой тематике, связанной с филологическим изучением русского языка, фольклора, литературы, культуры. Магистральные направления такого изучения, традиционно представленные в издании, — сравнительное литературоведение и лингвистическая компаративистика.

Сборник состоит из двух основных разделов: «Литературоведение» (отв. ред. Е. Ю. Колышева) и «Языкознание» — «Исторические исследования», «Научные традиции в русской лингвистике», «Дискурсивные исследования», «Слово в художественном тексте» (отв. ред. Е. Ю. Геймбук), «Теоретическая грамматика», «Лингвистическая компаративистика», «Когнитивные исследования» (отв. ред. О. А. Сулейманова).

Для специалистов-филологов, преподавателей, студентов, учителей.

ISBN 978-5-9659-0186-9

© Коллектив авторов, 2019
© Книгодел, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	5
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	7
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ	8
<i>Романова Г. И.</i> Термин образ: к истокам литературоведческой традиции (по «Письмам русского путешественника» Н.М.Карамзина)	8
<i>Темиришина О. Р.</i> К вопросу о звуке в поэзии: фоносемантика Егора Летова.....	20
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУР	42
<i>Чеснокова Т. Г.</i> Образные олицетворения зимы и весны в европейской и русской поэзии (от Алкуина до Ф. И. Тютчева).....	42
<i>Колевинскене Ж.</i> Между Литвой и Америкой: тексты и контексты литовско-американских авторов	64
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ	80
<i>Джанумов С. А.</i> Народные пословицы, поговорки и некоторые другие жанры фольклора в драматургии И. С. Тургенева	80
<i>Аникин А. А.</i> Мелания русской литературы: имя и образ	98
<i>Осипова Н. О.</i> Эмиграция vs советская литература: диалог в контексте интеллектуальной истории России.....	110
МОТИВНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	134
<i>Молнар А.</i> Конфликт музыки и слова в «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого	134
ЯЗЫКОЗНАНИЕ	151
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА.....	152
<i>Борисова Е. Г.</i> Динамическая модель для описания грамматических явлений. Русский глагольный вид	152
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	163
<i>Власова С.</i> Именные формы прилагательных в церковнославянском языке: связь с предикативностью, неопределенностью, нереперентностью.....	163

<i>Григорьев А. В., Орлова А. В.</i> Заимствованные слова, восходящие к индоевропейскому корню * <i>tag-</i> , в русском языке	182
НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ	199
<i>Алтабаева Е. В.</i> Концептуальная ситуация желания в логическом аспекте	199
<i>Сидорова М. Ю.</i> О синтаксических единицах и синтаксических мифах (часть 2)	211
ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	228
<i>Авдеевнина О. Ю., Девяткина В. В.</i> Персонализация и деперсонализация в юридической речи	228
<i>Маркина Л. В.</i> Гендерные стереотипы в диалектной коммуникации (на материале бранных номинаций женщин)	245
<i>Русецкая Й.</i> Неологизмы в русскоязычной интернет-прессе Литвы 2016–2017 гг. (краткий обзор).....	255
СЛОВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ	268
<i>Халикова Н. В.</i> Словесный образ как структурная единица в художественном тексте	268
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА	281
<i>Петрова И. М.</i> Об анализе порядка следования определений в атрибутивной группе в английском и русском языках на основе теории классов.....	281
<i>Авина Н.</i> Интернациональные слова в русской речи студентов-билингвов: лингводидактический аспект (на материале литовско-русского контактирования)	292
КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	304
<i>Плотникова С. Н.</i> Роль интерпретирующего дискурса в организации коммуникативного сообщества.....	304

От редактора

Опубликован XIII выпуск международного ежегодного сборника научных трудов по филологии «Русистика и компаративистика». Как известно, с 2006 по 2018 г. издание выходило как совместный проект двух университетов — Московского городского педагогического университета и Литовского эдукологического университета (ЛЭУ, Вильнюс). Был накоплен большой опыт сотрудничества ученых-филологов — лингвистов и литературоведов — из России, Литвы, Белоруссии, Болгарии, Латвии, Польши, Венгрии, Австрии, Германии, Японии. У истоков РиК стояли организаторы и редакторы — М. Б. Лоскутникова (главный редактор в 2006–2017 гг., Москва) и Д. Сабромене (Вильнюс).

В 2018 г. Литовский эдукологический университет был реорганизован путем слияния с Университетом Vytautas Magnus (Каунас, Литва). Тем самым условия взаимодействия вузов по подготовке и выпуску РиК принципиально изменились в сторону усложнения. При этом отрадно, что, несмотря на организационные трудности, годами наработанные партнерские отношения сохраняются и в состав редакционной коллегии по-прежнему входят ученые и преподаватели из Литвы, бывшего ЛЭУ.

С конца прошлого года официальными международными партнерами МГПУ по РиК стали Вроцлавский университет, имеющий давние научные связи с Московским городским педагогическим университетом, и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Директор Института славянской филологии Вроцлавского университета Михаил Сарновски и Первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы О. А. Романов вошли в состав редакционного совета издания.

Работа редакционной коллегии ведется планомерно, на постоянной основе. Решение многих организационных вопросов было бы невозможно без координирующих усилий члена редакционного совета РиК, директора ИГН МГПУ В. В. Кириллова (Москва). Основную нагрузку по подбору, рецензированию, редактированию, подготовке к печати статей несут заместители главного редактора: Е. Ю. Колышева (ИГН МГПУ, Москва), Е. Ю. Геймбух (ИГН МГПУ, Москва), О. А. Сулейманова (ИИЯ МГПУ, Москва), С. В. Власова (Университет Vytautas Magnus, Вильнюс, Литва). Активную организационную работу в составе редакционной коллегии ведут заместитель директора ИГН по научной работе И. Н. Райкова и заведующий кафедрой русской литературы ИГН А. И. Смирнова.

Интересы развития научного проекта «Русистика и компаративистика» обусловили расширение редакционной коллегии. Ее состав пополнили известные ученые: Т. Е. Автухович (Гродно), В. З. Демьянков (Москва),

М. Р. Желтухина (Волгоград), В. И. Карасик (Москва), В. Л. Коровин (Москва), М. Ч. Ларионова (Ростов-на-Дону), Е. К. Созина (Екатеринбург), В. И. Тюпа (Москва).

Требования времени проявились и в том, что авторы сборника теперь имеют свой уникальный код исследователя — orcid (Open Researcher and Contributor ID), а статьям РжК присваивается международный цифровой идентификатор объекта — DOI (Digital Object Identifier). Все это должно помочь вхождению издания в мировые базы библиографических и реферативных данных, упростит поиск научных материалов и знакомство с ними.

Предлагаемый читателям новый, объемный и многоаспектный сборник содержит материалы по теории языка и литературы, сравнительному литературоведению и лингвистической компаративистике, статьи по истории языка и отечественной и зарубежной литературы, когнитивные и дискурсивные исследования, другие материалы и, несомненно, окажется полезным ученому, преподавателю, студенту.

С. А. Васильев

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.01

ТЕРМИН *ОБРАЗ*: К ИСТОКАМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ (ПО «ПИСЬМАМ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н. М. КАРАМЗИНА)»

THE TERM *IMAGE*: TO THE ORIGINS OF THE LITERARY TRADITION (OF “LETTERS OF A RUSSIAN TRAVELLER” BY N. M. KARAMZIN)

Галина Ивановна Романова

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Galina Ivanovna Romanova

Moscow City University, Moscow, Russia

Аннотация

В статье речь идет о начальном этапе использования слова *образ* как литературоведческого понятия в произведениях писателей XVIII в. На основе сравнительного анализа словарей XIX в. установлено, что это слово могло обозначать и формальные, и содержательные аспекты явлений. Показаны особенности использования данного слова в книге Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника», где оно встречается и в переводах цитируемых светских текстов западноевропейских писателей, и в описаниях явлений культа.

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, «Письма русского путешественника», образ, икона.

Abstract

The article deals with the initial stage of using the word *image* as the term of the literary criticism in the works of writers of the 18th century. Based on the comparative analysis of the dictionaries of the 19th century, it is found that the word *obraz* can mean both form and content.

According to the Church Fathers, the word *obraz*, which is a calque from ancient Greek, has an important spiritual meaning. This meaning is retained

in icon painting. Russian authors of the 18th century used the word *obraz* as a term referring to the form in their translations from European languages.

M. V. Lomonosov consistently used the word *obraz* in his rhetoric in the meaning of “icon” (content) when talking about cult and religion, and in the meaning of “form” in his translations of fragments from foreign literature. The book *Letters of a Russian traveler* by N. M. Karamzin played an important role in the term formation.

Following Lomonosov's traditions, Karamzin used various approaches to the original Russian vocabulary for more accurate translation of the foreign texts. The article examines the translation of Cervantes' expression “The Knight of the Woeful Countenance” (“El Caballero de la Triste Figura”) from his novel *Don Quixote of La Mancha*. The original expression in Cervantes' novel *El Caballero de la Triste Figura* was translated into English as *Knight of the Ill-favoured Face* (T. Shelton, 1612). In the book *A Sentimental Journey Through France and Italy* by L. Sterne this phrase was translated as *The Knight of the Woeful Countenance*. It is a well known fact that the novel by Sterne influenced Karamzin. But in his translation he used the word *obraz* with the deeper connotations than the *figure*, *face* or *countenance*. This expression conveys the deep tragedy of Don Quixote's character, and not just the absurdity of his figure or the painful expression on his face. In his book Karamzin successfully used the ability of some abstract nouns of the Church Slavonic language to change their meanings depending on the context, he also enriched the range of meanings of some words, in particular, the word “image”. The meaning of the term *obraz* as a designation of sensually perceived form, which the writer used in the *Letters of a Russian traveler*, was later entered in the *Dictionary of Ancient and New Poetry* by N. F. Ostolopov.

The article concludes that some vagueness and ambiguity in the meaning of the modern literary term *obraz* (image) is deeply rooted in the history of the word and is related to its etymology. The analysis shows that the polysemy of the modern term *obraz* (image) (artistic) can be explained by the fact that the meanings of the homonyms are not well distinguished. Throughout its life the word has never acquired a single meaning as a term, but has considerably broadened the paradigm of its meanings, which can be confirmed by modern theoretical works.

Key words: N. M. Karamzin, *Letters of a Russian Traveller*, image, icon.

Введение. Языковые преобразования и «новый слог» Н. М. Карамзина — одна из наиболее разработанных тем в исследованиях по истории русского литературного языка, результаты которых представлены в учебниках по соответствующим дисциплинам. Как наиболее важные принципы реформы русского языка рассматривают не только введение неологизмов и варваризмов, выборочное включение церковнославянизмов, но и ис-

пользование максимального диапазона значений слов, а также широких возможностей синонимии и омонимии. Показать, каким образом эти приемы способствовали утверждению слова *образ* в качестве литературного термина, — **цель** данной работы. В первую очередь, привлекает внимание книга «Письма русского путешественника» (1790—1791), в частности, те ее страницы, где автор использует различные смысловые оттенки слова *образ*. Все это предполагает проведение **сравнительного анализа** значений понятия *образ* у Карамзина с теми, которые зафиксированы в словарях русского, древнерусского и церковнославянского языков, а также в произведениях его предшественников и современников.

Литературоведческая терминология на русском языке пестрит иноязычными вкраплениями. Это относится и к терминам, ставшим традиционными (эпос, лирика, персонаж, сюжет и т. д.), и к современным, вошедшим в оборот в последние десятилетия и связанным с западноевропейскими философскими и эстетическими теориями (например, нарратология, интертекстуальность, концепт, мифологема и проч.). В этом довольно объемном языковом пласте привлекает внимание термин *образ* — один из самых традиционных, частотных и в то же время самых неопределенных. Его смысл связывается преимущественно с эстетикой Г. Гегеля, указавшего в своих лекциях, что «содержанием художественного произведения является идеал, а формой — его образное, чувственное воплощение» [Гегель: 75]. К середине XIX в., когда впервые были переведены лекции по эстетике немецкого философа, в русском языке и литературе слово *образ* уже приобрело ряд значений, в частности, описывало формальные аспекты произведений разных видов искусств. Возвращение к истокам, исходному смыслу и его трансформации необходимо, чтобы прояснить содержание и особенности функционирования данного термина, этим фактом вызвана необходимость выявления спектра значений слова *образ* в работах XVIII в.

Основная часть. В современном академическом Словаре русского языка есть две словарные статьи, посвященные слову *образ* и его омониму. В первой из них указано семь значений слова. Во второй — только одно — *икона* [Словарь: 559—560]. О том, что эти значения воспринимались как близкие, свидетельствуют словари XIX в. В «Толковом словаре живого великорусского языка» (1863—1866) В. И. Даля в словарной статье «Ображать» они обозначены как близкие по значению [Даль: 1194]. И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (1893) указывает: «ОБРАЖАТИ — *изображать, выражать*, отмечать, разуметь. ОБРАЖАТИСА — *получать образ, осуществляться*. Обращение, образина — образ. Образити — *нарисовать*» [Срезневский: 2286]. Г. Дьяченко в «Полном церковнославянском словаре» (1899) прямо ука-

зывает как на одно из значений слова *образ* «содержание» (наряду со значениями «внешний вид», «икона» и др.) [Дьяченко: 366].

При всем том можно отметить смысловую разницу. Значение слова *образ*, являющегося калькой древнегреческого *икона* (εἰκών — образ, изображение, подобие), в большей степени связано с сутью, *содержанием* явления. Соответственно традиции восточного христианства, *образ* используется как общее наименование священных изображений. В этих случаях речь идет об образе как некоей интерпретации непостижимого. Не претендуя на исследование глубины вопроса, отметим основные аргументы противников иконоборчества. Так, Иоанн Дамаскин писал: «<...> смело изображаю Бога невидимаго, не как невидимаго, но как сделавшегося ради нас видимым чрез участие и в плоти, и в крови. Не невидимое Божество изображаю, но посредством образа выражаю плоть Божию» [Иоанн Дамаскин]. Согласно догмату об иконопочитании, принятому на Седьмом Вселенском Соборе (787) и направленному против иконоборчества, «<...> поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней» [Карташев]. Присутствие божественной сути передается, в частности, словом *образ*. В этом случае, очевидно, речь идет, в первую очередь, о содержании, смысле.

Не только в древнерусской литературе, но и в словесности XVIII в., светской по характеру, в период, переходный от древней к новой литературе, когда полный отказ от церковнославянизмов был невозможен, слово *образ* использовалось преимущественно в специальном, связанном с религией, смысле. Так, со значением *икона* оно используется в риторике М. В. Ломоносова «Краткое руководство к красноречию» (1748): «<...> чтили б в храме *образ* Твой» [Ломоносов: 224] (в цитатах здесь и далее курсив наш. — Г. Р.) — и в § 292 в переводе описания храма святого Марка: «В самых сводах старинные *образы* греческой работы <...>» [Ломоносов: 351]. В том же руководстве оно используется и в значении *образец*: «Таков был терпения и добродетели *образ* Иов» [Ломоносов: 310], — пишет Ломоносов (сегодня мы бы сказали, что Иов был *образцом* терпения и добродетели) и т. д. Наиболее часто в «Кратком руководстве...» Ломоносова *образ* используется как часть выражений: печальным образом, равным образом, отменным образом, некоторым образом, двояким образом, сим образом, таким образом, разными образами, надлежащим образом, противным образом; неким химическим образом, недомысленным образом, равным образом, одним образом, удивительным образом, натуральным образом, подобным образом. Слово *образ* здесь имеет значение *способ* и в наши дни воспринимается как избыточное. В современном русском языке часть таких выражений приобрела специфическую стилистическую окраску (делового, канцелярского стиля), а часть воспринимается как устаревшие.

В переводах светских (исторических) текстов Ломоносовым употреблялось слово *образ* в значении *внешность, вид*, как, например, в переводе речи Цицерона: «Отсутствовал сам избавитель, но присутствовала память вольности, которая *образ* Брутов представляла («Цицерон в 10 слове на Антония») [Ломоносов: 284]. Правила красноречия автор иллюстрировал «<...> выдержками из сочинений знаменитых писателей классической древности, раннего средневековья, поры Возрождения и нового времени <...>», которые он дал «<...> в своем, русском, превосходном по точности переводе <...>», поэтому Риторику Ломоносова называют первой «<...> хрестоматией мировой литературы, значительно расширившей, главным образом, в сторону светской письменности круг литературных знаний русского человека» [Блок, Макеева: 812]. То, что для западной традиции более характерно использование слова *образ* в светском значении, подтверждает «Этимологический словарь русского языка» (Т. 1–3, 1950–1958) М. Р. Фасмера, который приводит следующие соответствия: «др.-русс., ст.-слав. образъ; польск. obraz “изображение, картина; образ; икона”» [Фасмер: 106], где слова *картина* и *икона* представлены как синонимы.

«Краткое руководство к красноречию» издавалось несколько раз, т.е. пользовалось известностью и популярностью у современников. В конце XVIII в. Карамзин в книге «Письма русского путешественника», во многом следуя за Ломоносовым, удачно использовал оттенки значений русских слов, а также возможности отвлеченных существительных менять свой смысл в зависимости от контекста. В полной мере это относится к слову *образ*, которое используется в следующих значениях:

- *направление* («Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его *образом мыслей*» [Карамзин: 95]);
- *образец, пример* («<...> много великолепных домов, строенных отчасти по *образцу* огромнейших римских палат» [Карамзин: 99]); «Домы почти все одинакие: из белого камня, в три этажа, и представляют *образ равенства* в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы» [Карамзин: 202];
- *подражание* («женское сердце принимает всегда *образ* нашего») [Карамзин: 478];
- *внешнее выражение* (роскошь представляет «разительный *образ* человеческой смелости...») [Карамзин: 441];
- *способ, порядок, обычай* («здесь *образ* жизни») [Карамзин: 232].

Древнерусское по происхождению слово оказывается востребованным в книге Карамзина, во-первых, при обращении к образцам мировой литературы, в переводах цитат с английского и французского языков. Этот прием — одно из проявлений общей тенденции писателя находить аналоги иностранным выражениям в родном языке. Как установлено иссле-

дователями, в каждом новом издании «Писем...» автор уменьшал количество иностранных слов и выражений. Для размещения он использовал различные приемы, в частности, расширение значений уже имеющихся слов, обнаружение соответствий в церковнославянском и древнерусском языках. Для более точной передачи иноязычных текстов он органично соединял русское с европейским, в частности, использовал разнообразные способы обращения с исконно русской лексикой.

Впервые в книге «Письма русского путешественника» слово *образ* звучит в следующем выражении: «<...> воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа!*» [Карамзин: 67] (курсив автора. — Г. Р.), представляющем собой очевидную литературную реминисценцию из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605). Путешественник поменял в своем тексте слово «Печального» на «веселого». В дальнейшем повествовании, в письме от 1 ноября 1789 г. встретится еще один вариант: к «<...> нашим путешественникам (которые, как *рыцари печального образа*, сидели повеса головы <...>» [Карамзин: 239] (курсив автора. — Г. Р.). Аналогично переведен Карамзиным и фрагмент книги Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768): «Пусть назовут меня Рыцарем печального образа, ищущим меланхолических приключений, однако ж — не знаю от чего — только в минуты горести бываю я более уверен в существовании души моей» (опубликован в 1791 г. в «Московском журнале», ч. 2, с. 180). Значительно появление в этих переводах слова *образ*. Оригинальное выражение в романе Сервантеса “El Caballero de la Triste Figura” в переводе на английский язык дано так: “The Knight of the Woeful Countenance” [Sterne] (буквально: «рыцарь печального выражения лица»). Слово “countenance” (выражение лица) используется в английских переводах романа до наших дней. Как считают современные исследователи и переводчики романа Сервантеса, смысл оригинала передан не совсем точно, оспаривают уместность эпитета «печальный» [Lo Ré] (как известно, Санчо Панса дал это прозвание своему господину из-за того, что тот «<...> от голода и отсутствия коренных зубов <...> подурнел <...>» [Сервантес: 177]. Томас Шелтон в английском переводе 1612 г. назвал его “Knight of the Ill-favoured Face” (выражение, указывающее на разбитое лицо рыцаря).

Карамзин переводит данное выражение на русский язык («*Рыцарь Печального Образа*»), используя слово *образ* с более глубокими коннотациями, чем *фигура*, *вид*, *выражение лица*. В восприятии русскоязычных читателей слово *образ*, совмещающее значения, связанные с обозначением и содержания, и формы явления, передает глубокую трагичность характера Дон Кихота, а не только нелепость его *фигуры* или болезненное *выражение лица*. Этот факт приобретает еще большее значение, если учесть, что в первом переводе «Дон Кихота» на русский язык, выполненном К. Масаль-

ским (СПб., 1838) почти через сорок лет после публикации «Писем русского путешественника», данное выражение прозвучало как «*Рыцарь Печальной Фигуры*» (с. 207, 208 и т. д.) и не удержалось в памяти читателей.

В переводах примеров из произведений Ж. Ж. Руссо Карамзин также использует слово *образ*, видимо, находя его более адекватным оригиналу. В «Письмах русского путешественника» оно все больше приобретало значение, характерное для европейской эстетики. Карамзин переводит высказывание Руссо: «Я представлял себе любовь и дружбу (двух идолов моего сердца) в самых восхитительнейших образах, украсил их всеми прелестями нежного пола, всегда мною любимого, воображал себе сих друзей не мужчинами, а женщинами (если такой пример и реже, то по крайней мере он еще любезнее). Я дал им два характера сходные, но не одинакие; два образа, не совершенные, но по моему вкусу; доброта и чувствительность одушевляли их...» [Карамзин: 228]. Знаменателен выбор фрагмента, в котором философ-просветитель различает «характеры» и «образы», т. е., выражаясь современным языком, содержательные и формальные аспекты художественного произведения.

Карамзин широко использует слово *образ* в связи с описаниями произведений искусства, которые занимают значительное место в книге, и тем самым едва ли не впервые обозначает так форму. Слово, имеющее в древнерусском языке значения *пример, вид (изображение)*, ставится писателем в художественный контекст и оказывается связанным со значительным пластом европейской эстетики и литературы, приобретает значение искусствоведческого термина. С его помощью раскрывается смысл аллегорических фигур и рисунков, увиденных путешественником в Европе («Смерть, в *образе скелета*, одетого мантией, была мне противна» [Карамзин: 163] (в цитатах здесь и далее курсив наш. — Г. Р.), «Живописец изобразил ее в виде Лаисы <...>» [Карамзин: 167], «представлена Франция в *образе* прекрасной женщины» [Карамзин: 163]; «Эта пограничная корчма есть живой *образ* бедности» [Карамзин: 271] и др.

В описании шедевров мирового искусства путешественник подчеркивает его антропоцентризм, описывая конкретику внешнего облика и проницательно домысливая абстрактное содержание каждого памятника. Так, о «старинном художнике» (речь идет о Рафаэле) путешественник пишет: «Небесный огонь оживляет черты кисти его, когда он изображает божество; в чертах героев его видно непобедимое мужество; в образе Венеры или Роксаны умел он соединить все женские прелести, а в образе Марии — красоту, невинность и святость» [Карамзин: 112]. В приведенном фрагменте можно проследить, как «обмирщается» значение слова *образ*, использованного и по отношению к картине, и к иконе, обозначающего не только предмет культа (икону), как свойственно восточной религиозной традиции, но и особенности произведений западноевропейского ис-

куства. Тот факт, что данное суждение высказано в примечании к письму, максимально сближает позиции автора и путешественника.

Как синоним слова *образ* (форма) используется термин *фигура*: «Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры — на ту, на другую, на третью — и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны» [Карамзин: 163]. Сравнив с предыдущими высказываниями, можно сделать вывод о том, что *образ* связан с одухотворением, с содержанием, в отличие от холодной *фигуры*, являющей формальные достоинства.

Карамзин использует все оттенки синкретичного слова *образ*, в частности как синоним слов *памятник*, *статуя*. Так, например, портрет или барельеф Геллерта, автора нравоучительных басен и других сочинений, становится частью сложной скульптурной группы аллегорического содержания. «Я пошел из сада в церковь св. Иоанна, где поставлен Геллерту учениками и друзьями его иной *памятник*, *представляющий религию*, которая из металла вылитый и лаврами увенчанный *образ его* подает добродетели (прекрасная мысль!). Обе статуи сделаны из белого мрамора» [Карамзин: 124]. «Ноги мои сами собою остановились, взор мой сам собою устремился на *образ героя* и несколько минут не мог с него совратиться» [Карамзин: 303].

С понятием *образ* связано производное *изобразить*, указывающее на подражание реальности как цели художественного творчества: «Сестры-прелестницы! Я хотел бы счастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама натура возлелеяла <...>» [Карамзин: 181]. «Ах! Для чего я не живописец! Для чего не мог я в ту же минуту изобразить на бумаге плодоносную, зеленую долину Гасли <...>» [Карамзин: 214]; «<...> рука моя, повинаясь сердцу, изобразит на камне твою любезную; жители отдаленных земель захотят видеть сие изображение <...>» [Карамзин: 219]. Встречается это слово и в значении *нарисовать*: «Одним словом, нас можно было в эту минуту *изобразить* на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы!» [Карамзин: 101].

Наглядные, материальные образы можно представить в отсутствие оригинала. Одно из важнейших значений слова *образ* в «Письмах...» Карамзина — это внешний вид человека, который можно вызвать силой *воображения*: «Мы поехали и долго еще говорили о любезной госпоже NN, которая в воображении моего Б* затемнила образ молодой госпожи из Ивердона» [Карамзин: 175]; «Кровь его кипела и волновалась. *Образ* нежной монахини всегда присутствовал в душе его» [Карамзин: 147].

В письмах появляются производные от слова «образ» *вообразить*, *воображение* при описании деталей бытовых ситуаций. Путешественник постоянно призывает своих корреспондентов вообразить что-то, представить: «Вообразите мое удивление!»; «Не можете вообразить, что за пышная была ей встреча!» [Карамзин: 97]; «Вообразите друга вашего, идущего

в самых горестных размышлениях по берлинским улицам вслед за инвалидом, который нес чемодан мой!» [Карамзин: 89–90]. Соответственно, слово *образ* приобретает значение фантазии: «Такие мысли, такие образы представлялись душе моей — и я по целым часам сидел в задумчивости, не говоря ни слова с моим Беккером» [Карамзин: 275].

Отметим, что Ломоносов в свое время применял в поэзии не слово *воображение* («образ как то, что рисуется внутреннему взору»), а более сложную конструкцию: «духовное зрение». В качестве примера он процитировал свою «Оду на прибытие ея величества ... 1742 года по коронации» [Ломоносов: 102]:

Я духом зрю минувше время:
Там грозный зрится исполин
Рассыпать земнородных племя
И разрушить натуры чин.

Использованное Карамзиным в его книге значение термина *образ* как описывающего чувственно воспринимаемую форму позже было закреплено в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова [Остолопов]. Образ как поэтический термин отсутствует в словнике. Но есть термин «изображение» в значении «описание» как фигура речи, которая «<...> состоит в том, когда сочинитель представляет вещь или дѣйствіе со всѣми обстоятельствами так живо, как будто бы они точно пред глазами слушателей или читателей находились. <...> Сія фигура есть то же самое, что Ипотипозис — См. Описание» [Остолопов: 32–34]. Под «описание» у Остолопова попадают те аспекты произведения словесности, которые в современном литературоведении относят к формальным: «Оно показывает нѣкоторыя свойства и обстоятельства вещи, достаточныя для получения объ ней понятія и отличенія отъ другихъ вещей, не разбирая однакожь состава ея и самой сущности» [Остолопов: 296]. В этом смысле трактовка Остолопова вполне современна, т. к. к описанию относятся, в частности, хронотоп, портрет, пейзаж. Остолоповым отмечен очень важный аспект значения терминов *образ* и *изображение*, но он не исчерпывает весь спектр их значений.

Выводы. Таким образом, некоторая размытость и неопределенность значения современного литературоведческого термина *образ* (художественный) исторически обусловлена. Проведенный анализ показывает, что его многозначность во многом объясняется древним синкретизмом слова [Трубачев] и нечетким различием его значений. Слово *образ* как древнегреческая калька слова *икона* (подобие, изображение) в толковании Отцов Церкви заключало важный духовный смысл, что в принципе характерно для иконописи. В XVIII в. в переводной литературе использовалось слово

образ как обозначение преимущественно формальных аспектов произведений искусства. Использование слова и в содержательном, и в формальном смысле в «Письмах русского путешественника» Карамзина можно рассматривать как этап в его этимологии, приведший в дальнейшем к появлению омонимов и возникновению собственно литературоведческого понятия. За время своего функционирования слово не приобрело терминологической однозначности, но максимально расширило круг своих значений [Чернец; Романова].

Литература

Блок Г. П., Макеева В. Н. Примечания // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. Москва — Ленинград: АН СССР, 1952. С. 781—949.

Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. Москва: Искусство, 1968—1971. 330 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 2. Москва: Типография Лазаревского института восточных языков, 1865. 1351 с.

Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь (с внесениемъ въ него важнѣйшихъ древне-русскихъ словъ и выражений). Москва: Типография Вильде, 1899. 1159 с.

Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. Москва: Азбука-классика, 2008. 192 с. URL: https://royallib.com/book/damaskin_ioann/tri_slova_v_zashchitu_ikonopochitaniya.html.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Ленинград: Художественная литература, 1984. С. 55—505.

Карташев А. В. Вселенские Соборы. Минск: Белорусский Экзархат, 2008. 640 с. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/bible/history/kartsh01.htm>.

Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. Москва — Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950—1983. С. 89—378.

Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии. Ч. 2. Санкт-Петербург: Типография Императорской Российской Академии, 1821. 488 с.

Романова Г. И. Художественный образ и мир произведения // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kielce, 2011. S. 67—75.

Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Ч. 1. Москва: Художественная литература, 1970. 541 с.

Словарь русского языка: В 4 т. Т. 2. Москва: Русский язык, 1982. С. 559—560.

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 2: Л — П. Санкт-Петербург: Отд-ние рус. яз. и словесн. Имп. АН, 1902. 1802 стб.

Трубачев О. Н. Реконструкция слов и их значений // Вопросы языкознания. 1980. № 3. С. 3—15.

Фасмер М. Р. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3 / Пер. О. Н. Трубачева. Москва: Прогресс, 1987. 831 с.

Чернец Л. В. Виды образа в литературном произведении // Филологические науки. 2003. № 4. С. 3—13.

Lo Ré A. G. A reply to P. E. Russell's comments on the expression "El Caballero de la Triste Figura" // Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 8.2 (1988). P. 225—230 URL: https://www.h-net.org/~cervant/csa/articf88/lo_re.htm.

Sterne L. A Sentimental Journey Through France and Italy by Mr. Yorick URL: <https://genius.com/Laurence-sterne-a-sentimental-journey-through-france-and-italy-annotated>.

References

Blok G. P., Makeeva V. N. Primechaniya // Lomonosov M. V. Polnoe sobranie sochinenij: V 8 t. T. 7. Moskva — Leningrad: AN SSSR, 1952. S. 781—949.

Gegel' G. V. F. Estetika: V 4 t. T. 1. Moskva: Iskusstvo, 1968—1971. 330 s.

Dal' V. I. Tolkovyj slovar' zhivago velikorusskogo yazyka. Ch. 2. Moskva: Tipografiya Lazarevskogo instituta vostochnykh yazykov, 1865. 1351 s.

D'yachenko G. Polnyj cerkovno-slavyanskij slovar' (s vneseniem v'' nego vazhn'ishikh'' drevne-russkikh'' slov'' i vyrazhenij). Moskva: Tipografiya Vil'de, 1899. 1159 s.

Ioann Damaskin. Tri slova v zashhitu ikonopochitaniya. Moskva: Azbuka-klassika, 2008. 192 s. URL: https://royallib.com/book/damaskin_ioann/tri_slova_v_zashchitu_ikonopochitaniya.html.

Karamzin N. M. Pis'ma russkogo puteshestvennika // Karamzin N. M. Sochineniya: V 2 t. T. 1. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura, 1984. S. 55—505.

Kartashev A. V. Vselenskie Sobory. Minsk: Belorusskij Ekzarkhat, 2008. 640 s. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/bible/history/kartsh01.htm>.

Lomonosov M. V. Kratkoe rukovodstvo k krasnorechiyu // Lomonosov M. V. Polnoe sobranie sochinenij: V 8 t. T. 7. Moskva — Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1950—1983. S. 89—378.

Ostolopov N. F. Slovar' drevnej i novoj poezii. Ch. 2. Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoj Rossijskoj Akademii, 1821. 488 s.

Romanova G. I. Khudozhestvennyj obraz i mir proizvedeniya // Studia Ruscystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kielce, 2011. S. 67—75.

Servantes M. Khitroumnyj idal'go Don Kikhot Lamanchskij. Ch. 1. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1970. 541 s.

Slovar' russkogo yazyka: V 4 t. T. 2. Moskva: Russkij yazyk, 1982. S. 559–560.

Sreznevskij I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam. T. 2: L — P. Sankt-Peterburg: Otd-nie rus. yaz. i slovesn. Imp. AN, 1902. 1802 stb.

Trubachev O. N. Rekonstrukciya slov i ikh znachenij // Voprosy yazykozna-niya. 1980. № 3. S. 3–15.

Fasmer M. R. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka: V 4 t. T. 3 / Per. O. N. Trubacheva. Moskva: Progress, 1987. 831 s.

Chernecz L. V. Vidy obraza v literaturnom proizvedenii // Filologicheskie nauki. 2003. № 4. S. 3–13.

Lo Ré A. G. A reply to P. E. Russell's comments on the expression "El Cabalero de la Triste Figura" // Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 8.2 (1988). P. 225–230 URL: https://www.h-net.org/~cervant/csa/articlef88/lo_re.htm.

Sterne L. A Sentimental Journey Through France and Italy by Mr. Yorick URL: <https://genius.com/Laurence-sterne-a-sentimental-journey-through-france-and-italy-annotated>.

Сведения об авторе: Галина Ивановна Романова; доктор филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет, профессор кафедры русской литературы института гуманитарных наук; ORCID 0000-0002-6173-2411; galinroma@mail.ru; сфера научных интересов: теория литературы, история русской литературы, компаративистика.

The author's profile: Galina Ivanovna Romanova; Doctor of Philology; Associate Professor; Moscow City University, Professor at the Department of Russian Literature, Institute of Humanities; ORCID 0000-0002-6173-2411; galinroma@mail.ru; research interests: theory of literature, history of Russian literature, comparative studies.

К ВОПРОСУ О ЗВУКЕ В ПОЭЗИИ: ФОНОСЕМАНТИКА ЕГОРА ЛЕТОВА

TOWARDS A SOUND IN POETRY: YEGOR LETOV'S PHONOSEMANTICS

Олеся Равильевна Темиршина
Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова,
Москва, Россия

Olesya Ravilievna Temirshina
The Institute of International Law and Economics
named after A. S. Griboedov,
Moscow, Russia

Аннотация

Статья посвящена звукосимволизму в поэзии Егора Летова. Доказывается, что звуковой принцип подбора слов в поэзии Летова является ее важнейшим организующим началом; исследуются типы связей между звуком и значением; выявляются функции звука на разных уровнях поэтического текста (синтаксическом, семантическом, образно-символическом); определяются психолингвистические основы звукоизобразительности поэзии Летова.

Ключевые слова: звук, звуковой символизм, звукоизобразительность, семантика звука, фоносемантика, звуковая метафора.

Abstract

In this study we provide an analysis of Yegor Letov's phonopoethics in the semantic aspect. The material of the study is Letov's texts corpus. The main method of the research is phonosemantic analysis, that reveals semantic, emotional and psycholinguistic factors of poetic iconicity.

As a result of the study the typology of iconic words in Letov's texts is defined. It is shown that there are three types of relations between sound and denotatum: 1) onomatopoetic relation, implying the reproduction of acoustic denotatum; 2) iconic articulation relation, that recreates internal bodily states through articulation and "muscular sense"; 3) iconic articulation relation, that patterns images of external objects through articulation, resulting in the formation of "sound image", which is a response to the sensory impression.

The basic scenarios for working with sound are revealed: the *zaum'* scenario that assumes analytical decomposition of a word into sound elements and the *distant scenario* that assumes working with sound within the syntagma (sentence — text).

It is shown that the iteration of sound combinations at the level of the text and the corpus is connected with the poetics of key words, which in Letov's texts are related not so much to the traditional semantic parameter as to the sound one.

The key word in this case turns out to be the center of a vast phonosemantic network, the “sound-and-semantic concentrate”, and perhaps it predetermines the process of text generation.

Correlation of iconic words with repetitive syntactic structures (“syntactical automatism”) is revealed. The possible psycholinguistic factor of this correlation is defined — and that is the weakening of the logical semantic operator, which leads to the intensification of the sound principle of word choice and the appearance of the parataxis.

Some typological correspondences between Letov's poetics and modernist poetics that use similar phonosemantic mechanisms are found.

The aesthetic function of the sound image is defined: the modeling of the inner reality image, in which the original image is not transmitted, but is sensed by the body.

Achieving such direct sensory impact occurs through the use of articulatory-sound mechanisms, which literally embed emotion in the body praxis.

In conclusion, it is shown that Letov's iconic speech has the following features: iconicity, dominance of sound, diffuse semantics, synesthesia, connection with the gestural component, affectivity, syntactic automatism. Structurally similar speech accompanies the altered states of consciousness, which fits into the avant-garde myth associated with the regressive scenario of a return to the roots.

Key words: sound, sound symbolism, iconity, sound semantics, phonosemantics, sound metaphor.

Жест руки наш безрукий язык подглядел;
и повторил его звуками...

А. Белый

Введение. Включенность творчества Летова в авангардистскую художественную парадигму не раз становилась предметом научного обсуждения. В этом аспекте уже достаточно сказано о специфических особенностях летовского синтаксиса и семантики, восходящих, по общему мнению, к раннему русскому авангарду (см., например: [Черняков, Цвигун: 98–106]). Однако за рамками исследований, как ни странно, оказался вопрос о звуке в поэзии Летова, что и обуславливает **актуальность** принятого исследования.

Звуковая материя стиха интересовала Летова в не меньшей степени, чем футуристов, постулировавших принцип звуковой деформации слова. Так, в первом приближении в текстах Летова обнаруживается большое количество паронимов, звуковых повторов и прочих фонетических смещений. Обилие примеров заставляет предположить, что звуковой принцип подбора слов в поэзии Летова является ее важнейшим организующим началом. Однако звуковые трансформации в текстах Летова отнюдь не самоцельны: звуковой сдвиг в его стихотворениях, как и в практике футуристической зауми, всегда соотносится с семантическим сдвигом. Отсюда и **цель** работы: исследовать фонопоэтику Егора Летова в семантическом аспекте. Материалом исследования является корпус поэтических текстов Летова.

В работе используется **метод** фоносемантического анализа поэтического текста. Сущность этого метода заключается в выявлении звукоизобразительных компонентов поэтической лексики в соотношении с их лингвистическими и психолингвистическими характеристиками. Именно поэтому для настоящей статьи ключевыми стали методологические установки, восходящие, с одной стороны, к лингвистической фоносемантике (работы С. В. Воронина, А. Б. Михалева, Ж. Колевой-Златевой), а с другой — к отечественной психолингвистике (исследования Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, Т. В. Ахутиной).

Центральным понятием работы стало понятие *звукоизобразительности*. С. В. Воронин, пионер фоносемантических исследований, определял звукоизобразительность следующим образом: «Звукоизобразительность (фонетическая, или примарная мотивированность) есть свойство слова, заключающееся в наличии необходимой, существенной, повторяющейся и относительно устойчивой произвольной связи между фонемами слова и полагаемым в основу номинации признаком объекта (денотата)» [Воронин: 166]. Говоря иначе, в звукоизобразительном слове связь между звуком и значением должна быть не конвенциональной, а мотивирующей, слово должно напрямую моделировать денотат и быть максимально приближенным к предметной реальности.

Звукоизобразительность соотносится с широким спектром «пограничных» психолингвистических явлений. Так, примарная связь между фонемами слова и денотатом часто коррелирует с усилением эмотивного и сенсорного компонентов, отсюда другое ключевое понятие исследования — *«синестэмия»*, которое трактуется как слияние эмоции и ощущения в звукоизобразительном слове [Воронин: 85].

Синестэмия, обнаруживаемая в звукоизобразительном слове, также связывается со *сферой иконического в языке*, что указывает на ее существенную роль в формировании ранних типов семиозиса (комплексное и мифологическое мышление, детская речь, см.: [Колева-Златева: 40,

42]). Примечательно, что эти типы смыслопорождения могут оставаться в речевой практике в «снятом» виде, актуализируясь в состояниях измененного сознания и при других расстройствах психологического спектра (см.: [Лурия 2006: 98]).

Маркируя ранние виды семиозиса и некоторые регрессивные с психологической точки зрения речевые формы, звукоизобразительность оказывается исключительно значимой и для поэзии (см.: [Якубинский; Якобсон; Казарин; Шапир]). Именно поэтому поэзия может рассматриваться не только как эстетически самодостаточный феномен, но и в широком психолингвистическом контексте как репрезентант особого типа образного мышления, связанного со специфическими способами организации речи, анализу которых и посвящена настоящая работа.

Основная часть. Наш анализ показал, что взаимодействие между звуком и смыслом связано с двумя авторскими стратегиями. В первом случае Летов работает со звуком в пределах отдельного слова, раскладывая его на элементы (и здесь появляется заумная лексика, напоминающая эксперименты футуристов). Во втором случае Летов работает со звуком в пределах синтагмы (словосочетания — предложения — текста — поэтического корпуса).

Звуковой образ и телесный праксис. Первый сценарий возникает в ранних текстах Летова и соотносится в своем генезисе с футуристической заумью (ср. такие стихотворения, как «Будет горьно...», «Пиромания», «В хорошем автобусе...», «Канализация», «Форменная урбанка», «Ух», «Машина шинелит треножая со — ...»).

Думается, что авторская установка, актуализированная в этих заумных текстах, как и у футуристов, заключается в создании языка, который может и должен правильно передавать реальность. Полагаем, что самое *главное качество этого языка заключается в его звукоизобразительности.*

В звукоизобразительных словах, обнаруженных в летовской поэзии, выявлено три типа связи между признаком денотата и фонемным составом слова:

- 1) звукоподражательная, предполагающая воспроизведение акустического денотата;
- 2) звукосимволическая артикуляционная, моделирующая внутренние телесные состояния через артикуляцию;
- 3) звукосимволическая артикуляционная, моделирующая образы внешних предметов через артикуляцию.

Рассмотрим взаимодействие первых двух типов связи между звуком и значением на примере окказионализма *хрикий* из «Пиромании». Звуковая форма и смысловое наполнение этого слова говорят о том, что оно одновременно связано с семантическим полем удушья и определенным звуковым полем. Ср.:

Я сожгу хлебобобное поле
 Задушу хриким жаром
 мятону́щих граждан...

[Летов 2011: 159]

Как реализуется *семантика* удушья? Очевидно, что *хриким* инспирировано глаголом *задушить*, который явлен в самом тексте — «задушу хриким жаром» (когда душат, возникает хрип, в этом смысле *хрикий* — звукоподражание). При этом семантика удушья работает не только на слове *хрикий*, но и частично задевает другие окказионализмы этого текста. Удушение связано и с *мятону́щими гражданами*: в слове *мятону́щих* подспудно возникает сема *потопление* (— *тону́щих*), которая также косвенным образом связана с удушьем. Фактически здесь создается микросемантическое поле, в которое стягиваются слова по смысловому принципу, а само интересующее нас слово *хрикий* становится одним из его узловых пунктов.

Что же происходит со *звуковым полем*? Здесь семантика потопления — удушения проявляется не только в реконструированном нами значении, не только в звукоподражательном компоненте, но и в самом *артикуляционном оформлении*. Артикуляционная мотивировка звуко-символической лексики, наиболее часто используемая Летовым, является основой звуко-символизма. Подобный артикуляционный звуко-символизм связан с моделированием внутренних телесных или психологических процессов через «мышечное ощущение» [Сеченов: 491]. В качестве денотата при этом выступает не акустический денотат (как в случае с онома-топеей), а иные феномены — имеющие отношение к телесным и часто рефлекторным жестам [Воронин: 71]. Именно эта артикуляционная мотивировка и возникает в слове *хрикий*.

В статусе «производящей базы» для данного окказионализма, видимо, выступает слово *хриплый* (о чем свидетельствует семантика удушья). В исходном слове вместо *пл* появляется *ки* (хриПЛый -> хриКИЙ). *Ки* здесь возникает не случайно. С. В. Воронин, проанализировав звуковые обозначения удушья в разных языках, пришел к выводу о том, что «удушье — кинема неголосовая, инспираторная. К соответствующим звукоизображениям относятся в первую очередь обозначения сдавленности, напряженности горла при недостатке воздуха для дыхания» [Воронин: 92]. Именно поэтому кинему удушья в некоторых языках, по данным исследователя, передают как раз велярные согласные (*k*, *h*) в сочетании с *i*, которые при их произнесении артикулируют *сжатие горла*¹.

Таким образом, *удушье*, выраженное в «Пиромании» через *косвенные смысловые* трансформации, поддерживается артикуляцией удушья, выра-

¹ Ср., например, англ. *kink* (задышаться), тур. *ıq* и др. [Воронин: 92].

женной через *прямое мышечное* моделирование самого денотата (с помощью фонем *к, х, и* в слове *хрикий*). Следовательно, звуковой микрожест, явленный в тексте, повторяет макрожест телесный, они в некотором роде оказываются изоморфными. Примечательно, что такой способ иконического, «телесного» разыгрывания темы характерен, в первую очередь, для поэзии авангарда, ищущей неконвенциональный язык. Ср. здесь проницательное суждение Тынянова об «артикуляционном» смысле знаменитого стихотворения Хлебникова «Бобэоби пелись губы»: «Губы — здесь прямо осязательны — в прямом смысле. Здесь — в чередовании *губных б, лабиализованных о* с нейтральными *э и и* — дана движущаяся реальная картина губ; здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого органа» [Тынянов: 313].

Однако звук в поэтике Летова может моделировать не только внутренние телесные ощущения, но и экстрателесные феномены, предметы внешнего мира, что предполагает третий тип связи между звуком и значением. Классический пример такого моделирования находим в тексте «Сквозь дыру в моей голове»:

Полные дома розовых людей
Мокрая мозоль...
Потные подробности обнажённых тел
Я стреляю наповал
сквозь дыру в моей голове.

[Летов 2011: 211]

Обращает на себя внимание обилие гласных звуков переднего ряда *а, о, у*. Исключительно частотно — *о*. Этот звук, конечно, чаще находится в слабой позиции (т. е. теряет свою лабиализованность), тем не менее в приведенном отрывке наблюдается большое количество *о* и в сильной позиции, под ударением.

В литературе неоднократно отмечался факт большого участия такого рода гласных в номинации предметов, имеющих округлую форму. Для обозначения круглого и округлого гласные (и не только очевидные *о* и *у*), но и *а'* используются «<...> благодаря таким чертам их артикуляции, как округление либо выпячивание губ и увеличение объема ротового резонатора» [Михалев: 98–99]. В создании иконического образа *круга* задействованы не только гласные звуки, но и согласные. Максимальную роль в этом играют звуки *п, б*, которые в большом количестве обнаруживаются и в этом четверостишии в соотнесении с *о*. Это звуковое стяжение (*п, б* — в сочетании с *о*) также является частотным при именовании

¹ См. о связи между гласными нижнего подъема и округлостью: [Михалев: 39].

округлых предметов [Михалев: 96–97], ибо в произнесении этих согласных активно участвуют губы.

Связь между значением и указанными звуками в тексте Летова — очевидна¹. Звуки, используемые в разных языках как маркеры округлости предмета, у Летова соотносятся с образом *дыры*, который является ключевым символом текста. Этот символ не просто передается, он совершенно прямо изображается, разыгрывается на уровне артикуляционном и иконическом. В этом случае языковой микрожест, производимый артикуляционным аппаратом, подражает уже не внутренним рефлексаторным жестам (как в случае со словом *хрикий*), а внешнему предмету. И здесь невозможно не согласиться с В. Рамачандраном, крупнейшим исследователем мозга, полагающим, что «<...> существует встроенное неслучайное соответствие между видимой формой предмета и звуком <...>» [Рамачандран: 203], которое в некоторых случаях может обнаруживаться в поэзии.

Установка на разыгрывание образа средствами артикуляции свидетельствует о сильной визионерской составляющей творчества Летова. Исходный образ, который находится у начала внутренней речи, как бы *стоит перед глазами* и обуславливает подбор слов по звукоартикуляционному принципу. Дыра и удушение изображаются иконическими средствами через непосредственное произнесение звука, в результате чего образуется то, что еще Вундт назвал звуковым жестом языка, «звукообразом», который оказывается своеобразной звуковой реакцией на чувственное впечатление [Вундт: 45].

«Гневные вёсны, весёлые войска»: звукоисимволизм в тексте. Второй сценарий работы со звуком предполагает создание синтагматических цепочек на основе ряда слов со сходным звуковым обликом. Здесь критерием классификации типов звукоисимволизма становится степень дистантности звуковых комплексов.

В единый звуковой гештальт могут стягиваться однородные члены, словосочетания и предложения. Иногда итерация определенных звуко-сочетаний обнаруживается на уровне текста. В этом случае в текстах появляется звуковой сюжет, сцепляющий слова в целую фонетическую вязь. Подобные повторы могут тяготеть к чисто звуковым, когда одно и то же звуко-сочетание линейно повторяется в отдельных семантически равнозначных словах. Однако бывает и так, что в таких парадигмах выделяется доминантное опорное слово, звуковой облик которого отражается в соседней лексике. Такое слово оказывается центром звуко-смысловой сети, по которой звук и смысл расходятся в разные стороны, центробежно во-

¹ Возможно, что эта связь не только артикуляционная, но и иконическая, связанная с самим графическим обликом *о*.

площаясь в отдельных элементах. Эту технику работы со звуком, близкую к анаграммированию исходного слова в тексте, находим в стихотворении «Ну а дальше-то что? — спросите вы...»:

Ну а дальше-то что? — спросите вы
Вот в том-то всё и дело — отвечу я.
Гора под землёй захороненная
В земле глубоко потаённая
Подземная стало быть гора
Да *паучок* на *подоконнике*
Поконченный
Окочевевший
Совсем как совёныш в лесу, что зарылся
мохнатою рожицей в снег
И *канут*
В ночь накануне Ивана Купала
Которая длится который уж год
Круглосуточно и *искромётно*
Чтобы был ты всегда *начеку*.

(Здесь и далее выделено мной. — О.Т.)

[Летов 2011: 439]

Кажется, что центром данной звукословесной сети становится слово *паучок*. Это слово выделено с *композиционно-фонетической* точки зрения, ибо оказывается первым в ряду слов, которые разыгрывают звукокомплекс *п — к — ч — у — о*. Оно выделено и в *семантическом аспекте*, ибо обозначает субъекта действия (паучок — совёныш). И наконец, это слово выделено *зрительно-перцептивно*, ибо на фоне горы (большой объект) перцептивно выделенным оказывается паучок (маленький объект).

Внимательное чтение текста показывает, что *развертывание звукового сюжета предполагает движение от звуковой разреженности к звуковому единству*. Звуки, ассоциированные со словом *паучок*, поначалу разреженно и в небольшом количестве рассыпанные по тексту, к середине стихотворения постепенно собираются, чтобы сойтись в ключевом слове, а дальше они «звучат» в фонетических повторах, связанных с искомым словом.

По сути, вышеуказанный звукокомплекс становится своеобразной «текстофонемой» [Казарин: 95], которая разыгрывает сюжет поэтического текста. А само исходное слово как бы собирает звуковой облик стиха, концентрирует его, что дает не просто смысловой связанный текст, а текст, связанный еще и на звуковом уровне. Фактически перед нами предстает в застывшем виде сама механика творческого процесса: звукословесной

пучок, оказываясь ядром фоносемантического поля, центробежно расширяется, включая в свой состав все новые и новые слова со сходным звуком и смыслом.

Примечательно, что звуковой механизм работы со словом в рамках поля оказывается более важным, чем смысловой. Вот пример доминантности звукового сценария: «В хищной чаше зреет зверь» [Летов 2011: 252]. В этой фразе происходит перенос признака *хищный* со зверя на *чащу*, а действие *зреет*, которое применимо скорее к *чаще*, чем к *зверю*, наоборот, переносится на *зверя*. Этот перенос доказывается звуком: в словосочетании *хищная чаша*, как и в сочетании *зреет зверь*, очевидны общие звуковые основы. Звук, таким образом, «ломает» смысловую синтагматику и оказывается доминирующим.

Снег и смеющаяся смерть: фоносемантические поля. Наиболее дистантный способ работы со звукоизобразительностью касается работы с опорными словами в корпусе текстов. Такого рода опорные слова объединяются в звуко-смысловые комплексы и, появляясь в отдельных текстах, по-разному развертывают свое значение. К числу таких звуко-смысловых комплексов относится сочетание *снег — смерть — смех*, звуковая связь между элементами которого очевидна.

В поэзии Летова обнаружено два варианта работы с этим «зимним» комплексом. Либо все его элементы актуализируются, и тогда отчетливо в тексте звучат именно *эти слова*; либо же происходит актуализация не самого опорного слова, а какого-либо признака, соотнесенного с ним, — вместо *снега*, например, появляется слово *белый*, однако *снег* подспудно присутствует, он остается за текстом, но реализуется через ряд смысловых синонимических коррелятов. Чаще всего встречаются смешанные варианты, при этом интересно, что крайне редко вербализуется *смерть*: она, как правило, дается только через свои смысловые соответствия (типа *умер, убит, похоронен* и т. д.).

В тексте «Мама, мама...» этот комплекс обнаруживается, пожалуй, в первый раз: здесь в одной связке появляются *смех — снег*. Слово *смерть* формально отсутствует, однако оно семантически обозначено через свои предикаты-признаки — *похоронят и убьют*.

Над землёю — под луной
Тихо тихо — *снег* идёт
Кто-то плачет и поёт
В тихом поле — тихий *смех*
<...>
Рано утром нас найдут
Похоронят и убьют.

[Летов 2011: 77]

Снег — *смерть* возникает в другом раннем тексте «Странники преда-тели и посильная помощь»: «Снег тает в моих ладонях / Я таю кусочки смерти...» [Летов 2011: 136].

Смех — *смерть* со скрытым вторым компонентом находим в раннем двустии: «Кругом / тихий смех из-под земли» [Летов 2011: 19]. Этот же комплекс опорных идей возникает в стихотворении «Когда я умер», при этом звукосемантики здесь практически нет, ибо соотносятся не ключевые слова зимнего комплекса, а их смысловые субституты: так, *снег* и *смерть* подспудно реализуются через *умер* и *иней* — *замерз*.

Когда я умер
Плевком замёрзли
Дорогие конструкции
<...>
Я закутался просторным инеем...

[Летов 2011: 277]

Однако в другом стихотворении вновь актуализируется звуковой состав этих опорных слов вместе с уже обозначенным *инеем*. Речь идет о «Русском поле экспериментов», где встречается то же смысловое сочетание, которое — что принципиально важно — реализуется и на звуковом уровне. Так, мы видим звуковое стяжение *смеха* («самолет усмехнулся вдребезги» [Летов 2011: 251]) — *снега* («русское поле источает снег» [Летов 2011: 249]).

Среди прочего эта связка опорных слов-идей в какой-то степени объясняет объединение *иней* и *смеха* — через звуковое посредничество *снега*, остающегося за текстом («Словно иней, сердобольный смех» [Летов 2011: 248]). Видимо, в авторском сознании *смех* — *снег* — *смерть* и их смысловые производные типа *умер* — *белый* — *иней* — *хоронят* находятся где-то в одном психосемантическом поле, что и объясняет их появление в рамках предложения, которое с точки зрения логики обыденного языка является по меньшей мере странным.

К слову, соположение текстов «Мама, Мама...» и «Русское поле экспериментов» показывает, что в зимнем комплексе есть еще один опциональный элемент — *поле* (ср. в первом тексте «в тихом поле тихий смех» [Летов 2011: 77]). При этом в «Русском поле экспериментов» ключевые слова повторяются *несколько раз*, как будто бы их семантическая акцентуация подчеркивается интонационно.

Соотнесение *снег* — *смех* возникает в стихотворении «Метель» («Ты тихо смеёшься с ненавистью и снегом» [Летов 2011: 123]); *снег* — *смерть* появляется в двустии «Умирал заснежено и натужно / словно мучительная капуста» [Летов 2011: 172]; и, наконец, в знаменитой «Офелии» обнаруживается звукосемантическая связка *смеха* и *снега* с невербализованной *смертью*, которая и является главной темой стихотворения. Ср.:

Далёкая Офелия *смеялась* во сне:

<...>

Привычно прошлогодний нарисованный *снег*

Легко светло и весело хрустит на зубах...

[Летов 2011: 299]

Примечательно, что смысловой пучок *смех* — *смерть* — *снег* часто сопровождается предикатами *тихий, легкий, светлый, белый* (ср. в стихотворениях «Офелия», «Мама, мама...» и др.). Думается, что здесь имеет место классический синестетический перенос, частотный у Летова (*белый* через синестезию трактуется как *светлый, легкий, тихий*; *светлый* — как *тихий, белый* и т. д.).

Таким образом, в зимнем комплексе на звукосмысловом уровне взаимодействуют не просто отдельные ключевые слова, а целые семантические поля, которые включают в себя слова одновременно по звуковым и по смысловым признакам. В поэзии Летова формируются по меньшей мере три таких поля, у каждого из которых есть семантическое ядро, образующее свою периферию. Так, в семантическое поле *снега* входят слова *белый, тихий, лёгкий* — они включаются в поле только по содержательному критерию; в поле *смерти* входят слова — *убивать, хоронить, умирать*; с полем *смеха* соотнесены предикаты — *тихий, белый, подземный, беззвучный*¹.

Но поскольку эти поля связаны через звуковое сходство их центральных элементов, постольку слово одного поля может включаться в другое поле. Ср. корреляцию *снега* и *смеха* через общий признак *белый* в стихотворении «Мама, мама...»: «В тихом поле — тихий смех / Белый белый — словно снег» [Летов 2011: 77]. *Белый*, как видим, относится не только к *снегу*, но и к *смеху*. В результате чего создается синестетическое словосочетание — *белый смех*. При этом в тексте фигурирует *кто-то*, кто этот смех производит. Неопределенные местоимения встречаются у Летова исключительно часто, при этом за ними скрываются вполне *определенные* силы, которые в текстах имеют устойчивую семантическую дистрибуцию.

В тексте «Мама, мама...» и в некоторых других стихотворениях формируется положительный образ этих неназванных сил. Примечательно, что эти силы часто включают и сам образ лирического героя, что свидетельствует о том, что эти «некто» — персонажи психодрамы, разыгрываемой поэтическими средствами. Эти персонажи «тихие» (они тихо или «тихонько» плачут, тихо поют, тихо идут, тихо шагают, «тихонько» проплывают). Эти положительные инкарнации внутреннего мира — пас-

¹ Поле смеха, реконструированное в рамках данного комплекса, является далеко не полным, смех у Летова — образ поливалентный, однако, ограниченные темой, мы не рассматриваем эту поливалентность.

сивны, они не предпринимают никаких действий («Думал — утону в слезах / А вот тихо сию и беззвучно молчу» [Летов 2011: 48]). В некоторых случаях, как в тексте «Мама, мама...», эти герои соотносятся с белым цветом (и с точки зрения синестезии это не случайно, потому что белый — это скорее тихий, чем громкий).

Весь этот набор признаков можно связать с загадочным образом «белых солдат», о которых слушатели спрашивали Летова в онлайн-интервью [Летов 2017: 100]. «Белые солдаты», появляясь в одноименной песне, упоминаются на обложках альбомов «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация», где им вынесена авторская благодарность. Кажется, что этот странный образ является дериватом зимнего комплекса. Так, белые солдаты связаны с белым цветом; соотнесены с мотивом смеха (они «улыбаются среди войны» [Летов 2011: 87]); связаны с мотивом тишины («молча знают свое» [Летов 2011: 87]), косвенно «белые солдаты» могут сопоставляться с мотивом смерти (через военные образы текста).

Зимний семантический комплекс, взятый в биографическом аспекте, обретает подчас мистическое звучание, особенно если учесть, что в последнем опубликованном стихотворении Летова «Как всё это... кончается...» обнаруживаются контуры этого рокового фоносемантического поля: там появляются белые поля и вскипающий снег, который отчетливо связывается с «кладбищенским тяготением своего места» [Летов 2011: 533].

Синтаксический автоматизм и звуковой код. Звукоизобразительность в текстах Летова часто соседствует с определенными синтаксическими структурами. На эти структуры как на «повторяющиеся синтаксические паттерны» указал А. Н. Черняков¹, обративший внимание на то, что Летов, находя определенный синтаксический фрейм, активно использует его на протяжении всего текста. С нашей стороны можем отметить, что в текстах, где присутствует этот синтаксический автоматизм, — практически *всегда* включается звуковой код подбора лексики! Из множества примеров приведем только два характерных:

Невоенная тайна
Скрупулёзная лирика
Удалённая опухоль
Утолённая похоть
Партизанская зависть
Природная ненависть...

[Летов 2011: 253]

¹ Идея прозвучала в исключительно содержательном докладе «Синтаксис Летова: форма — семантика — поэтика» (конференция «“Без меня”. 10 лет без Егора Летова — 10 лет с Егором Летовым»).

Под дождём — крохотные посмешища сохнут
Под гербом — гербарий гроба грубеет грим
Подо мной — внезапные подозрения хрустят.

[Летов 2011: 230]

Корреляция синтаксического автоматизма и звукоизобразительности исключительно устойчива, и это заставляет нас предположить, что включение «звукового профиля» соотносится с включением определенного синтаксического контура, ритма. Связь звукового повтора с синтаксическим, возможно, имеет под собой психофизиологические основания.

Так, по-видимому, существует два «входа» в индивидуальный словарь: звуковой и смысловой [Ахутина: 25]. При этом в норме доминантным оказывается смысловой принцип. В некоторых случаях (о них см. ниже) смысловой фактор перестает выполнять свою функцию, что *одно- временно приводит к усилению звукового принципа и появлению синтаксического автоматизма*.

Усиление звукового принципа при отключении смыслового в определенных состояниях сознания уже было описано [Лурия, Виноградова: 29], и, видимо, тексты Летова только подтверждают этот универсальный психологический механизм. Однако остается вопрос о связи синтаксического автоматизма с нейтрализацией смыслового фактора подбора слов. Думается, что здесь возможно следующее объяснение.

Синтаксис Летова является преимущественно сочинительным: в нем практически отсутствуют сложноподчиненные предложения, формальные средства связи сведены к минимуму. Такой тип синтаксиса получил название паратаксиса. Психологически паратаксис — это примитивная форма синтаксиса, предполагающая последовательное, «сочинительное» нанизывание фраз. Такое кумулятивное присоединение отдельных фраз, по сути, и представляет собой структурную основу синтаксического автоматизма. При этом паратаксис, в отличие от гипотаксиса, *исключает сложное иерархическое построение мысли*, именно поэтому он возникает при выключении или ослаблении смыслового принципа подбора слов.

Таким образом, связь синтаксического автоматизма и звукоизобразительности осуществляется через ослабление логико-смыслового компонента.

«...Фонетика — служанка серафима»: звуковая метафора у Летова и Мандельштама. Все случаи, разобранные выше, касались *синтагматических смещений* звуковых форм в рамках фрагмента текста. Однако в поэзии Летова не менее частотна и *парадигматическая* подмена слов на основе сходного звукового состава. Здесь обычно встречается паронимическая звуковая замена, связанная с общей «корневой» семантикой. Ср.: «леденцовый страх» [Летов 2011: 308] вместо *ледящий страх*; «пытливые ножи»

[Летов 2011: 316] вместо *пыточные ножи*; «настойчивый вкус» [Летов 2011: 319] вместо *устойчивый вкус*.

Иногда семантическая общность между словами исключается, и подмена происходит по звуковому принципу: слова «меняются» только на основе сходного звучания. Ср.: «Вот листья распустились, я вернулся с полигона / Вместе с верной *дулей* в голове» [Летов 2011: 260]. Фраза *с верной дулей в голове* подразумевает совершенно иное словосочетание: *с пулей в голове*. Однако *пуля* в тексте не звучит, она подменяется близким по созвучию — *дуля*. Здесь можно было бы возразить, что подразумевается не *пуля*, а иное созвучное слово. Однако у Летова мы находим текст, где эти лексемы находятся рядом: «Помалкивай смелей тужи веселей / Вольному *дуля* пешему *пуля*» [Летов 2011: 335].

Сходную подмену наблюдаем в цикле «Он идет его не слышно», где «сказка про розовый росток» [Летов 2011: 36] в закатно-солнечном контексте стихотворения, видимо, подразумевает привычное *розовый восток*.

Ср. другие показательные случаи такой звуковой мены: «и хохот фейерверков...» [Летов 2011: 520] вместо *грохот фейерверков*; «представить к внеочередному воскресению» [Летов 2011: 307] вместо *представить к награждению*; «Плутаю с дорогами на брудершафт...» [Летов 2011: 427] вместо *пью на брудершафт*; «ночи вязнут...» [Летов 2011: 305] вместо *ноги вязнут*.

Каким критериям должны соответствовать эти скрытые, невербализованные слова? Во-первых, эти лексемы по просодике должны быть близкими слову, которое эксплицировано в тексте; во-вторых, они должны реконструироваться из устойчивых привычных словосочетаний; в-третьих, в стихотворении могут появиться знаки, которые указывают на скрытое слово («слово-икс» как будто оставляет свой «след» в тексте).

Так, в «Каждому воздать...» возникает остаточный след от искомого неназванного слова *награждение* в глаголе *наградить*, ср.: «представить к внеочередному воскресению / *наградить* всенародным вниманием...» [Летов 2011: 307]. В стихотворении «Ночная бабочка шуршит...» семантика «спрятанного» слова *ноги* реализуется в устойчивом для него сочетании *в сырой земле*, которое, несомненно, узально соотносится с ногами, а не с ночами: «Ночи вязнут в сырой земле...» [Летов 2011: 305].

Более сложный случай возникает в стихотворении «Крадучись...», где слово *пить*, спрятанное под словом *плутать*, задает семантику опьянения, реализованную в самом тексте в мотивах размытости и кажимости мира:

Плутаю с дорогами на брудершафт
Кажимый мир серебрится мелькает плывёт
расплывается перед глазами...

[Летов 2011: 427]

Таким образом, искомое слово отсутствует в тексте, но хранится в подтексте, оказывается парадигматическим фоном, который читатель улавливает. Этот механизм кажется довольно оригинальным, однако в русской поэзии XX в. он уже встречался. Так, ближайшим к Летову автором, использовавшим сходную тактику работы с фразеологизмами, был А. Башлачев (см. об этом статью: [Свиридов: 68–76]), который активно эксплуатировал смысловые возможности звучащего слова [Гавриков: 45–69]. Однако парадоксально более близким к Летову оказывается не Башлачев, а... Мандельштам.

Б. А. Успенский блестяще рассмотрел прием звукового сокрытия слова у Мандельштама и дал ему название *звуковая метафора*. Скрытое и явное слова, сближенные непременно по звуковому принципу, «изоритмичны и фонетически схожи» [Успенский: 251]. Ср. один из многочисленных примеров в поэзии Мандельштама, который приводит исследователь: «И расхаживает ливень / С длинной плеткой ручьево́й...». Сам смысловой контекст слова *ливень* в мандельштамовском стихотворении, считает исследователь, предполагает иное слово — *парень*.

Чем эта тактика отличается от башлачевской и почему Летов с точки зрения «поэтических технологий», на наш взгляд, все же ближе Мандельштаму? Для Башлачева в первую очередь важна семантическая игра с такими словами, в то время как Летов и Мандельштам ограничены разве что изоритмичностью и звуковой близостью скрытого и явного слов (недаром Успенский назвал рассматриваемый нами прием *звуковой* метафорой, т. е. метафорой, между двумя планами которой общим является только звук).

Это странное и совершенно неожиданное сходство с Мандельштамом, видимо, объясняется общей установкой на чувствование слова как «пучка» ассоциаций, признаков. «Любое слово, — пишет Мандельштам в “Разговоре о Данте”, — является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» [Мандельштам: 119]. Эта цитата обычно приводится, когда речь идет об устройстве поэтической семантики Мандельштама. Однако мы позволим себе ее продолжить: «Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге» [Мандельштам: 119].

Сейчас уже стало ясно, что идея *слова как путешествия* применительно к языку психологически реальна, однако ее реальность была доказана только во второй половине XX в., когда было осознано, что слово — это не ярлык для вещи; слово, взятое в аспекте реального процесса порождения

речи, — это *путь поиска слова*. Афористично и точно эту мысль сформулировал А. А. Леонтьев в работе, посвященной психологической структуре значения: «<...> слово (в памяти. — О. Т.) записано в форме поиска этого слова» [Леонтьев А.А.: 18]. И, видимо, есть род поэзии, который этот поиск фиксирует вне зависимости от того, на какой точке хронологической прямой эта поэзия обнаруживается.

Выводы. Подводя итоги, мы должны поставить вопрос об эстетической функции летовского звукосимволизма. Думается, что звукосимволическая лексика для Летова есть один из способов передавать *образ переживания внутренней непостижимой реальности*, о которой Летов говорит как об онтологической основе своего творчества. Анализ поэтической семантики Летова позволяет утверждать, что этот внутренний образ обладает следующими признаками: он является визуально-иконическим, интроецированным и аффективно заряженным.

Слова обыкновенного языка, которые Летов в одном из интервью называет костылями, не позволяют точно выразить этот образ, они абстрагированы от него. В противовес этим словам Летов выдвигает свое *Слово*, которое, как мы пытались показать, является звукоизобразительным примарно мотивированным знаком. Его примарная мотивированность предполагает *прямую связь между звуком и образом, который передается через этот звук*.

Конкретно-образные структуры тесно соотносены со звукоизобразительной продукцией [Воронин: 143–144] — это аксиома фоносемантики. Эта связь осуществляется следующим образом. Для того чтобы передать визуальный «исходник» через звук, используется артикуляция, которая повторяет, воссоздает изначальный образ на ином, телесном и психофизиологическом уровне. В этом смысле летовское слово оказывается первично миметичным, оно подражает телу и является звуковым жестом. И естественно, что такое жестовое слово не вписывается в привычные рамки, оно окказионально, ибо создано *здесь и сейчас* для означивания протекающего индивидуального переживания. И его главное назначение — передать индивидуальную эмоцию — закономерно приводит к его звуковой деформации. Кстати, так же деформированы экспрессивные жесты, которые Летов в некоторых случаях использовал на концертах, намеренно разрушая их привычный «образ» (здесь эта древнейшая первичная связь между рукой и речью, реконструируемая в исследованиях последнего времени, проступает наиболее отчетливо!¹).

¹ См. идею речевых синкинезий у В. Рамачандрана, предположившего филогенетическую эволюционную связь артикуляторного языкового и «ручного» жестов [Рамачандран: 204].

Через ориентацию Летова на отождествление звука и предмета переживания объясняется и специфика значения, которое выражает звук. Звуковые значения являются не сигнификативными, а предметными (см. об этом разделении: [Выготский: 182–184; Лурия 1979: 51; Ахутина: 191–206]). Говоря иначе, они соотносятся не с языковой семантической системой, а непосредственно с денотатом, который должен быть означен. При этом связь между предметом и словом здесь должна быть сущностной, вплоть до совпадения знака и мира. Эта тождественность, во-первых, связывается с ранними типами семиозиса (от мифологического дискурса — где слово прямо отождествляется с предметом, до детской речи — где слово оказывается его неотчуждаемым признаком), а во-вторых, объясняет артикуляционное разыгрывание мира, при котором звук непосредственно изображает предмет.

Сенсорное переживание исходного образа неотделимо от его аффективной заряженности, ибо в генезисе чувство и эмоция связаны (см. об этом: [Леонтьев А.Н.: 129]). И в этом плане крайне примечателен тот факт, что звукоимоголизм в языке всегда соотнесен не только с чувственным, но и с эмоционально-аффективным компонентом. Чтобы показать эту неразделимую общность, С. В. Воронин даже вводит термин «синестэмия» (соощущение + соэмоции), указывая, что синестэмия является «психологической основой звукоимоголизма» [Воронин: 82].

Возможно, что летовская поэзия, будучи исключительно эмоциональной по своей природе, обнажает генетическую связь *звука — эмоции — ощущения* через работу с фонетической материей языка. Более того, *подбор слов по звуковому принципу всегда дополняется у Летова подбором слов по эмоциональной коннотативной семантике*, которая часто связывается с низкой «сенсорной» лексикой (соотнесенной с запахами, телесными ощущениями, болью и проч.). Именно поэтому смысловые поля, возникающие в летовской поэзии, являются не только фоносемантическими, но и фоноэмоциональными: так, слова в тексте, обнаруживая общий звуковой состав, связаны общим крайне недифференцированным и смутным эмоциональным смыслом.

Таким образом, в звукоизобразительном слове мы наблюдаем перекрестную активацию нескольких полей: звука, кинезиса (артикуляции), эмоционально-сенсорного и визуального компонентов. И это перекрестное соотношение — всего лишь маленький кусочек мозаики синестетической поэтики Летова, где синестезия оказывается принципиально важной.

Функция такого сложного звукоизобразительного знака, задействующего эмоцию, ощущение и артикуляцию, связана с определенным типом эстетической коммуникации. Образ в процессе такой коммуникации должен не передаваться, а переживаться — именно поэтому *между*

коммуникантами создается общее эмоциональное поле переживания образа, слитого со звуком. Как максимально эффективно смоделировать это переживание? Ответ очевиден — через сенсориум. И достижение этого прямого сенсорного воздействия происходит с помощью артикуляционно-звуковых механизмов, которые буквально встраивают образ переживания в телесный праксис.

Вопрос о функции этого типа речи должен быть соотнесен с вопросом о ее генезисе. Наш анализ показал, что звукоизобразительная речь у Летова обладает следующими чертами: *иконичность, доминирование звука над смыслом, диффузная семантика, сильное синестетическое начало, связь с жестовой составляющей, аффектация, синтаксический автоматизм.* Все эти особенности обнаруживаются в речи, которая сопровождает измененные состояния сознания.

Так, А. Р. Лурия приводит данные о том, что во время экспериментов с мескалином возникает доминирование звукового входа в словарь, наблюдается большое количество синестетических ощущений и формируются исключительно яркие зрительные образы [Лурия 2006: 109, 211]. Такого рода «альтернативные» состояния были названы фазовыми, они наступают при переходе от бодрствования ко сну, при остром утомлении и других пограничных условиях функционирования мозга. И Лурия особенно отмечает, что при этих состояниях коры «<...> несущественные звуковые связи начинают выступать более активно, чем существенные понятийные» [Лурия 2006: 98], что мы и наблюдаем в случае со звуко-символизмом Летова.

Такая фазовая речь также встречается у людей, практикующих глоссологию («говорение на языках», которое в некоторых случаях может быть результатом транса). Примечательно, что в этих случаях часто «имеет место <...> появление определенного автоматизма в поведении» [Саракаева], что явно обнаруживает корреляцию с синтаксическим автоматизмом, на который мы указали как на сопутствующий фактор звуко-символизма.

Приведенные факты подтверждают старую идею о том, что «<...> фоно-символизм явление регрессивного характера» [Михалев: 43], связанное с более ранними стадиями онтогенеза и филогенеза (см.: [Колева-Златева: 40, 42]). Летовский синтаксис и семантика демонстрируют тот же возврат к истокам языка и мышления [Темиршина: 201].

При этом сама возможность актуализировать ранее потерянные связи свидетельствует о «геологическом» строении текста, где хронологически новая система надстраивается над первой, не отменяя, но подспудно включая ее. Возможно, что поэтическое вдохновение здесь оказывается не полетом вверх, а спуском вниз, попыткой интуитивно нащупать корневые основы языка и мышления.

Литература

Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. Москва: Языки славянской культуры, 2014. 424 с.

Воронин С. В. Основы фоносемантики. Москва: ЛЕНАНД, 2006. 248 с.

Вундт В. Психология народов. Москва — Санкт-Петербург: ЭКСМО, TERRA FANTASTICA, 2002. 864 с.

Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2 / Отв. ред. А. В. Запорожец. Москва: Педагогика, 1982. С. 5—361.

Гавриков В. А. Мифопоэтика в творчестве Александра Башлачева. Брянск: Ладомир, 2007. 292 с.

Казарин Ю. В. Анаграмма как способ смысловыражения в поэтическом тексте // Известия Уральского университета. 2000. № 17. С. 92—99.

Колева-Златева Ж. О статусе звукоизобразительных слов в языке // Annales Instituti Slavici. Universitatis Debreceniensis. Slavica XXXVII. Debrecen, 2008. С. 33—53.

Леонтьев А. А. Психологическая структура значения // Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования / Отв. ред. А. А. Леонтьев. Москва: Наука, 1971. С. 7—19.

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. Москва: Смысл, 2001. 511 с.

Летов Е. Оффлайн. Москва: Выггород, 2017. 256 с.

Летов Е. Стихи. Москва: Выггород, 2011. 548 с.

Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 320 с.

Лурия А. Р. Язык и сознание. Москва: МГУ, 1979. 320 с.

Лурия А. Р., Виноградова О. С. Объективное исследование динамики семантических систем // Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. Москва: Наука, 1971. С. 27—63.

Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Слово и культура: Статьи. Москва: Советский писатель, 1987. С. 108—153.

Михалев А. Б. Теория фоносемантического поля. Пятигорск: изд-во ПГЛУ, 1995. 213 с.

Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Москва: Карьера Пресс, 2014. 422 с.

Саракаева Э. А. Глоссолалия как психолингвистический феномен URL: <http://www.evolkov.net/linguistics/Sarakaeva.EA/glossolalia.html>.

Свиридов С. В. Имя Имен. Концепция слова в поэзии А. Башлачева // Русская рок-поэзия: Текст и контекст. Вып. 2. Тверь: изд-во ТВГУ, 1999. С. 68—76.

Сеченов И. М. О предметном мышлении с физиологической точки зрения // Сеченов И. М. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1952. С. 486–497.

Темиришина О. Р. Поэтическая типология лирики Летова и Маяковского: От модели мира к языку // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 49. С. 188–208.

Тынянов Ю. Н. Иллюстрации // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. С. 310–318.

Успенский Б. А. Анатомия метафоры у Мандельштама // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2: Язык и культура. Москва: Гнозис, 1994. С. 246–275.

Черняков А. Н., Цвигун Т. В. Поэзия Е. Летова на фоне традиции русского авангарда (аспект языкового взаимодействия) // Русская рок-поэзия: Текст и контекст. Вып. 2. Тверь: изд-во ТВГУ, 1999. С. 98–106.

Шапир М. И. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. Кн. 2 / Под ред. А. С. Белоусовой, В. С. Полиловой. Москва: Языки славянской культуры, 2015. С. 3–10.

Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. Москва: Радуга, 1983. С. 102–117.

Якубинский Л. П. О звуках стихотворного языка // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Петроград: 18-я государственная типография, 1919. С. 37–50.

References

Akhutina T. V. Nejrolingvističeskij analiz leksiki, semantiki i pragmatiki. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2014. 424 s.

Voronin S. V. Osnovy fonosemantiki. Moskva: LENAND, 2006. 248 s.

Vundt V. Psikhologiya narodov. Moskva — Sankt-Peterburg: EKSMO, TERRA FANTASTICA, 2002. 864 s.

Vygotskij L. S. Myshlenie i rech' // Vygotskij L. S. Sobranie sochinenij: V 6 t. T. 2 / Otв. red. A. V. Zaporozhecz. Moskva: Pedagogika, 1982. S. 5–361.

Gavrikov V. A. Mifopoetika v tvorchestve Aleksandra Bashlachyova. Bryansk: Ladomir, 2007. 292 s.

Kazarin Yu. V. Anagramma kak sposob smyslovyrazheniya v poetičeskom tekste // Izvestiya Ural'skogo universiteta. 2000. № 17. S. 92–99.

Koleva-Zlateva Zh. O statuse zvukoizobrazitel'nykh slov v yazyke // Annales Instituti Slavici. Universitatis Debreceniensis. Slavica XXXVII. Debrecen, 2008. S. 33–53.

Leont'ev A. A. Psikhologičeskaya struktura znacheniya // Semantičeskaya struktura slova. Psikholingvističeskie issledovaniya / Otв. red. A. A. Leont'ev. Moskva: Nauka, 1971. S. 7–19.

- Leont'ev A. N.* Lekcii po obshhej psikhologii. Moskva: Smysl, 2001. 511 s.
- Letov E.* Offlajn. Moskva: Vyrgorod, 2017. 256 s.
- Letov E.* Stikhi. Moskva: Vyrgorod, 2011. 548 s.
- Luriya A. R.* Lekcii po obshhej psikhologii. Sankt-Peterburg: Piter, 2006. 320 s.
- Luriya A. R.* Yazyk i soznanie. Moskva: MGU, 1979. 320 s.
- Luriya A. R., Vinogradova O. S.* Ob''ektivnoe issledovanie dinamiki semanticheskikh sistem // Semanticheskaya struktura slova. Psikholingvisticheskie issledovaniya. Moskva: Nauka, 1971. S. 27–63.
- Mandel'shtam O. E.* Razgovor o Dante // Mandel'shtam O. E. Slovo i kul'tura: Stat'i. Moskva: Sovetskij pisatel', 1987. S. 108–153.
- Mikhalyov A. B.* Teoriya fonosemanticheskogo polya. Pyatigorsk: PGLU, 1995. 213 s.
- Ramachandran V.* Mozg rasskazyvaet. Chto delaet nas lyud'mi. Moskva: Kar'era Press, 2014. 422 s.
- Sarakaeva E. A.* Glossolaliya kak psikholingvisticheskij fenomen URL: www.evolkov.net/linguistics/Sarakaeva.EA/glossolalia.html.
- Sviridov S. V.* Imya Imyon. Konceptiya slova v poezii A. Bashlachyova // Russkaya rok-poeziya: Tekst i kontekst. Vyp. 2. Tver': TVGU, 1999. S. 68–76.
- Sechenov I. M.* O predmetnom myshlenii s fiziologicheskoy tochki zreniya // Sechenov I. M. Izbrannye proizvedeniya: V 2 t. T. 1. Moskva: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1952. S. 486–497.
- Temirshina O. R.* Poeticheskaya tipologiya liriki Letova i Mayakovskogo: Ot modeli mira k yazyku // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2017. № 49. S. 188–208.
- Tynyanov Yu. N.* Illyustracii // Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moskva: Nauka, 1977. S. 310–318.
- Uspenskij B. A.* Anatomiya metafory u Mandel'shtama // Uspenskij B. A. Izbrannye trudy. T. 2: Yazyk i kul'tura. Moskva: Gnozis, 1994. S. 246–275.
- Chernyakov A. N., Czvigun T. V.* Poeziya E. Letova na fone tradicii russkogo avangarda (aspekt yazykovogo vzaimodejstviya) // Russkaya rok-poeziya: Tekst i kontekst. Vyp. 2. Tver': TVGU, 1999. S. 98–106.
- Shapir M. I.* Universum versus: Yazyk — stikh — smysl v russkoj poezii XVIII–XX vekov. Vol. 2 / Pod red. A. S. Belousovoj, V. S. Polilovoj. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2015. S. 3–10.
- Yakobson R.* V poiskakh sushhnosti yazyka // Semiotika. Moskva: Raduga, 1983. S. 102–117.
- Yakubinskij L. P.* O zvukakh stikhotvornogo yazyka // Poetika. Sborniki po teorii poeticheskogo yazyka. Petrograd: 18-ya gosudarstvennaya tipografiya, 1919. S. 37–50.

Сведения об авторе: Олеся Равильевна Темиршина; доктор филологических наук; доцент; Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, профессор кафедры истории журналистики и литературы; ORCID 0000-0003-0127-6044; o.r.temirshina@gmail.com; сфера научных интересов: лингвистика, психолингвистика, семиотика, поэтика.

The author's profile: Olesya Ravilievna Temirshina; Doctor of Philology; Associate Professor; The Institute of International Law and Economics named after A. S. Griboedov, Professor at the Department of Journalism and Literature; ORCID 0000-0003-0127-6044; o.r.temirshina@gmail.com; research interests: linguistics, psycholinguistics, semiotics, poetics.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУР

УДК 821

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.03

ОБРАЗНЫЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ ЗИМЫ И ВЕСНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ (ОТ АЛКУИНА ДО Ф. И. ТЮТЧЕВА)

PERSONIFIED IMAGES OF WINTER AND SPRING IN EUROPEAN AND RUSSIAN POETRY (FROM ALCUIN TO FYODOR TYUTCHEV)

Татьяна Григорьевна Чеснокова
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Tatiana Grigoryevna Chesnokova
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

В статье рассмотрены наиболее характерные литературные трансформации обрядового мотива состязания Весны и Зимы на материале произведений европейской и русской поэзии и драматургии, включая «Словопрение Весны с Зимой» Алкуина, песни Сова и Кукушки из комедии У. Шекспира «Бесплодные усилия любви», гимн Вальсингама и стихотворение Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...».

Основное внимание уделяется сдвигам в структуре мотива, определяемым поэтикой художественного целого, а также особенностями бытования традиционного фольклорного «спора» в различных жанровых контекстах.

Ключевые слова: олицетворение, образ, традиция, спор времен года, Зима, Весна.

Abstract

Personifications of Winter and Spring as contesting seasons being deeply rooted in many peoples' consciousness have long literary history during which they have passed many changes under the influence of cultural, aesthetic, and national language context.

In the poetics of Alcuin's "Conflictus Veris et Hiemis" ("The Contest of Spring and Winter") the ideology and artistic principles of the Carolingian Renaissance were manifested in combination of folklore Spring call with the dialogical traditions of ancient bucolics and school rhetorical contests. The Winter here is given voice, but the victory of Spring is absolute and eternal, symbolizing the coming of the new Golden Age under the authority of Carolingian Christian empire.

In Shakespeare's songs of the Cuckoo and the Owl (in "Love's Labour's Lost") the dialogical principle is weakened, while the whole context is expanded. Instead of celebrating the moment of Spring's arrival and Winter's defeat the poetic diptych gives two separate pictures of reality as the moments in the year cycle. The winter frost associated with the "death" of Nature is also the natural teacher who prompts the man to surpass the boundaries of fallen nature.

In Russian poetry of the 1830s the lyric principle in depicting personifications of seasons strengthens against the background of romantic paradigm. In Alexander Pushkin's hymn in honour of the Plague (in "A Feast in the Time of Plague") Winter being deprived of its traditional opponent plays the part of the weakened substitute for the Plague, which does not eliminate the contrast between them.

The new degree of "lyricizing" is manifested in Fyodor Tyutchev's lyric "The Winter not without reason grows wroth" ("Zima nedarom zlitsya..."), in which the poet reverts to the picture of the conflict of seasons depicting it through lyrical description. The universal archetypes are refracted through national linguistic world picture making Tyutchev's lyric the model for their perception in Russian cultural domain.

Key words: personification, image, tradition, the contest of seasons, Winter, Spring.

Введение. Цель статьи — проследить изменение образно-смысловой структуры традиционных олицетворений Весны и Зимы в европейской и русской поэзии и драме **на материале** «Словопрения Весны с Зимой» Алкуина, песен Совы и Кукушки У. Шекспира («Бесплодные усилия любви»), гимна Вальсингама из «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Пир во время чумы» и лирического стихотворения Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...».

Методологической основой анализа служат современные концепции исторической поэтики и компаративистики, восходящие к идеям А. Н. Веселовского и развитые в исследованиях О. М. Фрейденберг, М. Л. Гаспарова, С. С. Аверинцева, П. А. Гринцера, А. В. Михайлова, М. Л. Андреева, И. О. Шайтанова. Особое значение имеет принцип сквозного трансисторического анализа жанровых мотивов «прения», или «спора», намеченный в трудах А. Н. Веселовского [Веселовский: 168–171], М. П. Алек-

сеева [Алексеев 1972], Вяч. Вс. Иванова [Иванов]. В русле указанных теоретических установок в статье на конкретных примерах выявляется историческая подвижность художественно-смысловой структуры литературного «прения», восходящей к структуре народных обрядовых игр [Веселовский: 168–169]. Жанровая история «спора» / «дебата» служит, однако, лишь фоном исследования особенностей поэтики образных олицетворений Весны и Зимы, представленных в разных историко-литературных контекстах.

В практической части исследования используются положения, разработанные в трудах историков средневековой словесности (М. Л. Гаспарова [Памятники: 3–21], М. Р. Ненароковой), шекспироведов (Ч. Барбера, Л. З. Кереселидзе, автора настоящей статьи), исследователей творчества А. С. Пушкина (Н. В. Яковлева [Пушкин: 579–609], М. П. Алексеева, Д. Д. Благого, Г. П. Макогоненко, Ст. Рассадина, Ю. М. Лотмана, А. М. Гуревича) и Ф. И. Тютчева (А. А. Николаева [Тютчев 1987: 359–425] и В. Н. Касаткиной [Тютчев 2002: 269–512]).

Основная часть. В классической европейской поэзии олицетворенный образ Зимы тесно связан с фольклорными обрядовыми традициями и в первую очередь — с ритуалом проводов зимы и призыва весны, в рамках которого календарная встреча двух времен года предстает как сражение или словесная перебранка, завершаемые изгнанием владычицы холодов и прославлением ее вечно юной соперницы. В фольклорном обряде взаимное хуление враждебных сезонов могло выступать как усеченная форма игровой имитации боя¹, своеобразным введением к которому служила ритуальная перебранка противников.

В ученой латинской поэзии раннего Средневековья спор Зимы и Весны приобрел вид правильного (построенного по законам риторики) «дебата», впитавшего традиции античной классики (таких, как амебейное пение пастухов в буколке и философская «диалектика» спора в прозаическом диалоге), вопросно-ответной формы катехизиса и школьных риторических упражнений (словопрений). В приписываемом каролингскому поэту Алкуину «Словопрении Весны с Зимой» (*Conflictus Veris et Hiemis*) [Памятники: 125–126] ко всему прочему преломляются элементы иронического автопанегирика (вершиной развития которого станет знаменитая «Похвала Глупости» Эразма) и риторического посрамления, поскольку каждая из участниц спора старается доказать свое превосходство и развенчать достоинства противницы. Впрочем, Весна в «Словопрении» Алкуина (как и в европейской традиции в целом) — это скорее юный противник — победитель Зимы, нежели молодая соперница, и не случайно олицетворение теплого времени

¹ См. подробнее о выделении песни-спора «из обрядовой связи»: [Веселовский: 168].

года в классическом переводе Б. И. Ярхо обозначено словом мужского рода¹ — «гений» Весны. Этот гендерный статус (так же, как гендерное различие спорящих времен года) приблизительно соответствует подлиннику, где с существительным среднего рода *ver* («весна») в рамках персонификации сочетается прилагательное мужского рода *succinctus* («препоясанный, опоясанный»)², тогда как зима (*hiems*) в согласии с правилами латинской грамматики охарактеризована прилагательным женского рода *frigida* («холодная»)³.

Начиная с Алкуина за образами конфликтующих сезонов закрепляются определенные свойства, частично почерпнутые из фольклора, частично — из античной традиции. С Зимой ассоциируются пространственная замкнутость (зимние холода вынуждают скрываться от стужи, греясь у домашнего очага), покой и праздность (переходящие в ленивую спячку), веселые застолья с любовными забавами («пиры Венеры», подогретые чашей «неразумного Вакха»), а также скопидомная тяга к подсчету богатств, любовно лелеемых Зимой. Характеристики Весны (первое тепло, ранний восход солнца), напротив, связаны с образом открытого пространства. Зимнему покою противопоставляется одновременное пробуждение природы и человеческой активности, которая создает основу будущих праздных наслаждений. Есть, однако, у светлой Весны и своя отрицательная сторона, придиричливо подмечаемая ее завистливой хулительницей: деятельный характер теплого времени года открывает дорогу не только мирному созиданию, но и жестоким раздорам, обрушивает на человека бремя непосильных трудов, превращает Весну и Лето в послушных «рабов» (*servi*) Зимы, которые вечно гнут спину на свою «госпожу», поневоле укрепляя ее «державу» (*ditio* — «власть, господство»):

Vera refers: illi, quoniam mihi multa laborant,
sunt etiam servi nostra ditione subacti.
iam mihi servantes domino, quaecumque laborant [Alcuin: 84].

Правда твоя, ибо так на меня суждено им трудиться:

Оба они, как рабы, подвластные нашей державе,

Мне, как своей госпоже, усердно служат работой

[Памятники: 126].

¹ Об олицетворении Весны в фигуре юноши см., в частности: [Алексеев 1972: 356]. О гендерных характеристиках Весны и Зимы в различных традициях см. также далее в настоящей статье.

² “*florigero succinctus stemmate*” [Alcuin: 82] — «опоясан гирляндой цветочной» (здесь и далее пер. Б. И. Ярхо. — *Т. Ч.*) [Памятники: 125]. Здесь и далее выделено нами. — *Т. Ч.*

³ По крайней мере, в начале стихотворения и вплоть до разоблачения претензий Зимы на роль «госпожи» / «господина» (*dominus*) остальных времен года (см. далее).

Ворчливые нападки «хвастливой побирушки» не могут, однако, повернуть время вспять: пора зимней праздности и лени миновала, и самозваная госпожа должна уступить свое место подлинному царю и «гению» пробужденной природы. Резко снижая пафос Зимы и насмехаясь над ее беспочвенным самовозвеличиванием, дух Весны вступает в свои права, а пастушеский хор во главе с царственным Палемоном и благородным «юношей Дафнисом» прославляет приход Кукушки (вестницы Весны) на вечные времена (*per saecula*). Весна таким образом утверждает себя не как быстро минующий — «транзитный» этап природного цикла, но как сакральный момент начала новой эры, ожидаемой всеми и не имеющей завершения в будущем:

salve, dulce decus, cuculus per saecula salve!

[Alcuin: 86].

Здравствуй, кукушка-краса, *во веки ты вечные* здравствуй!

[Памятники: 126].

В контексте стихотворения этот образ вечной весны, наступающей вопреки естественному порядку, сближается с христианской символикой (весна — время победы жизни над смертью, в религиозном смысле — вечного над конечным)¹, что не только не исключает актуальных политических аллюзий (весна — пора благодатного царствования Карла Великого), но во многом питает и укрепляет их. Так, упоминание «высокого трона» (*sublime e sede*), с которого старый Палемон возвещает победу Весны над Зимой, содержит прозрачный намек на сакральную власть самого императора, чье правление, ставшее временем возрождения светских наук, вместе с тем опиралось на идею христианского государства и ассоциировалось с наступлением нового — вечного и неуничтожимого — Золотого века².

Возвращение к природному содержанию спора Весны и Зимы (и при этом его ироническое переосмысление) — вот путь трансформации «сезонного» дебата в лирическом диалоге Кукушки и Совы, входящем в структуру шекспировской комедии «Бесплодные усилия любви» (*Love's Labour's Lost*, сер. 1590-х)³. Если тема «Словопрения» Алкуина —

¹ Ср.: «Таким образом, Весна связывается с возрождением природы, возможно, символизирующим христианские ценности, а Зима становится воплощением язычества» [Ненарокова: 133–134].

² О культурных основах Каролингского возрождения см. также в статье М.Л. Гаспарова: [Памятники: 3–21].

³ Упоминания о преломлении обрядовых мотивов «спора» в шекспировских песнях Кукушки и Совы можно найти в классических трудах по исторической поэтике и сравнительному литературоведению: [Веселовский: 169; Иванов: 69]. Подробный анализ лири-

закликание Весны, то в пьесе Шекспира Весна и Зима — равноправные фигуры, представленные в характерных «птичьих» воплощениях — Кукушки и Совы. Диалогическое начало в их «споре» ослаблено: перебранку сменило церемонное певческое состязание, в рамках которого каждой из двух соперниц дана возможность показать свои лучшие стороны. Карнавальное начало, органически слитое с шекспировской театральностью, напротив, подчеркнуто, поскольку птичий концерт — это, в сущности, постановочный номер — разновидность придворного «ряжения», в котором участвуют персонажи комедии. Наконец, обрамление певческого состязания (победитель которого остается не назван) расширяется до масштабов всей пьесы, а сам стихотворный диптих, сохраняя самостоятельность внутри драматического целого (как лирическая «вставка», текст в тексте, игра в игре), может рассматриваться как иносказательный комментарий к сюжету.

Сам по себе сюжет разворачивается вокруг неудачной попытки Наваррского короля и его придворных посвятить себя философии, скрепив намерение «учиться и не видеть женщин» торжественной клятвой (что сразу же порождает ряд недоразумений в дипломатических отношениях двора). Название академии, присвоенное кружку, является пародийной отсылкой к опыту многочисленных средневековых и ренессансных придворных академий (начиная с каролингской), а аскетизм философских штудий высмеивается как несовместимый ни с молодостью героев, ни с королевским саном Фердинанда Наваррского и придворными обязанностями его вельмож. С приездом в Наварру молодых французов придворная академия разваливается, а философы преобразуются в пылких влюбленных, однако начатая ими любовная осада в свою очередь оборачивается неудачей, поскольку дамы, задетые невежливым приемом, оказанным им при дворе короля-«академика», разыгрывают и высмеивают навязчивых поклонников. В парных стихотворениях, завершающих пьесу, «бесплодность» усилий главных героев (куда бы они ни были направлены) подчеркивается «обратным» порядком поэтических реплик Кукушки и Совы в структуре «дебата», где последнее слово остается не за Весной (победительницей зимних морозов и выюг), а за Зимой как естественным завершением годового цикла.

Также времена года в шекспировской версии обменялись некоторыми традиционными характеристиками, закрепленными за ними в «ученой» поэзии. У Алкуина любовные утехы, не имеющие иной цели, кроме наслаждения (*epulae Veneris*, или «пиры Венеры» в пер. Б. И. Ярхо), прочно

ческого диптиха см. в монографии: [Чеснокова 2000: 87–91]. В различных компаративных контекстах парное стихотворение рассматривается также в работах: [Кереселидзе: 30; Чеснокова 2001; Чеснокова 2015].

ассоциируются с ленивой праздностью Зимы, тогда как Весна приносит с собой менее себялюбивую и более оправданную (как с точки зрения природной необходимости, так и в контексте библейских заповедей) заботу о продолжении рода. У Шекспира, напротив, весна — это время разгула стихийных страстей, безразличных к святости брачных уз и законам морали, а значит и время страха перед естественным пробуждением природы, сопровождаемого желанием преждевременно «заморозить» ее расцветающие побег: «The cuckoo then on every tree / Mocks married men; for thus sings he» (V. II. 900–901)¹ [Shakespeare: 244] — «Тогда насмешливо кукушки / Кричат мужьям с лесной опушки» (здесь и далее пер. Ю. Корнеева. — Т. 4.) [Шекспир: 511]. В образе Кукушки (традиционно ассоциированном с Весной) актуализируются тем самым черты, определившие связь этой птицы с фигурой рогоносца (cuckold), который растит в своем «гнезде» чужое потомство, поэтому весеннее кукование приводит мужей «в испуг», напоминая им о возможных изменах жен²: «Cuckoo; / Cuckoo, cuckoo: O word of fear / Unpleasing to a married ear!» (V. II. 902–904) [Shakespeare: 244] — «Ку-ку! / Ку-ку! Ку-ку! Опасный звук! / Приводит он мужей в испуг» [Шекспир: 511].

Зимним итогом весеннего «половодья чувств» становится в свою очередь не молодая поросль, символизирующая исполненный долг перед природой, а труд ради выживания, словно расплата за беспечное легкомыслие юности. В шекспировском комедийном контексте это, впрочем, не столько суровое наказание за грехи, сколько закономерная компенсация односторонности завершившегося отрезка природного цикла — его естественная противоположность. Источник и образец волевого преодоления природной ограниченности в аскетизме труда и долга у Шекспира — сама природа, с необходимостью отрицающая все ограниченное в себе и самим отрицанием (смертью) очищающая и возрождающая для новой жизни созданные ею противоположности.

Как следствие, сакральное начало, которое в поэзии Алкуина возвышалось над циклическим природным порядком и подчиняло его себе, в песнях Шекспира идет ему навстречу (в соответствии с ренессансной концепцией одухотворенной природы). Вот почему в сюжете комедии прегрешение против природы (отречение от естества, искажение под сказанной им очередности человеческих дел) с неизбежностью оборо-

¹ При цитатах из пьесы Шекспира согласно общепринятой традиции в скобках указывается акт, сцена и номер строки по цитируемому изданию.

² Эта ассоциация, судя по всему, в эпоху Алкуина еще не сложилась, а потому отсутствовала в перечне насмешливых придинок Зимы в адрес Кукушки-Весны. Шекспир же сосредоточивает комическую изнанку образа именно в этом превращении традиционного символа Весны в символ печальной участи рогоносца.

чивается прегрешением против духа (нарушением клятвы, изменой друзьям). И способом искупления обоих грехов становится шокирующее столкновение с природной необходимостью в лице болезни и смерти. Недаром самому остроумному из героев — Бирону — его возлюбленная вменяет в обязанность примерить роль больничного шута (дабы умирить его самомнение, а заодно и завышенную оценку всякого «острого» ума, которому предстоит доказать свою состоятельность в споре с самой смертью). Победа над природной ограниченностью тем самым завоевывается не умозрительно (в академическом уединении и философском парении над реальностью), а практически — в суровой школе природной необходимости, издавна подталкивавшей людей к социальной жизни и брачным узам. Родственный сакральному началу общинный дух воплощается поэтому не в аристократически изысканном кружке безбрачных философов и поэтов (философствующих «пастухов»), а в крестьянской общине с ее налаженным бытом и каждодневным трудом, без которого невозможно ни поддержание огня в очаге, ни достаток и благополучие в доме.

Оттого-то и труд для Зимы здесь не только бремя, но и способ победы над падшей природой (мысль, не противоречащая и официальной протестантской доктрине). В этом смысле если какое-то из времен года сохраняет в «Бесплодных усилиях» отпечаток сакральности, то это именно Зима — преддверие смерти, пора увядания, когда в комичном на первый взгляд уханье Совы становится различим голос Меркурия — проводника мертвых душ в царство Аида. Но сакральность эта затухевывается, а ее проявления прозаизируются и «одомашниваются» по мере того, как претензии Зимы на роль госпожи и владычицы, осмеянные еще Алкуином, уступают место приземленной поэзии домашнего очага, а привычные формы общинного быта (заново утверждающие себя на фоне нехватки природных сил и тепла) побеждают естественный эгоизм Кукушки. Эта общительность и «общинность» зимней поры (в противоположность эгоизму весны и лета) выступают на первый план в пейзажных и бытовых зарисовках Совы. Местом действия здесь становятся церковь, сельский двор и кухня с пылающим очагом — всё, что ассоциируется с единением и домом (человеческим или Божьим). И хотя мороз успевает пробрать деревенских «пастухов» и «пастушек» до самых костей, а проповедь священника заглушается кашлем, прихожане собираются в церкви так же охотно, как под собственной крышей, где промерзших работников ждет обед, приготовленный «лоснящейся» от кухонного жара (greasy) стряпухой Джоан: «Tu-whit; / Tu-who, a merry note, / While greasy Joan doth keel the pot» (V. II. 920–922) [Shakespeare: 244] (ср. в цитируемом переводе: «У-гу! У-гу! Приятный зов, / Коль суп у толстой Джен готов» [Шекспир: 512]).

Ренессансное сближение природного и сакрального достигается в пьесе ценой отказа от «праздничного»¹ (свадебного) финала: праздник откладывается на год, а само его наступление переносится в область возможного и требует от героев дополнительных усилий. Время (годовой испытательный срок), вклинившееся между действием и отсроченной свадьбой, становится частью того механизма, который призван создать условия для «праздничного» прорыва в область вечного. При этом такой прорыв отождествляется не столько со свадебным обрядом, скрепляющим брачную «сделку» (*bargain*) и выведенным протестантами из круга церковных таинств, сколько с обозримой — земной «бесконечностью» счастливого семейного союза, для заключения которого «час» (вернее, последняя минута истекающего часа — *the latest minute of the hour*) (V. II. 780) [Shakespeare: 243]) — «слишком малый срок» [Шекспир: 507]: *«A time, methinks, too short / To make a world-without-end bargain in»* (V. II. 781–782) [Shakespeare: 243]. Любая онтологическая «награда» (аналогично бытийному наказанию) в «природной» шекспировской комедии не отторгнута от «здешнего» мира, но выражается в формах земной человеческой жизни, приобщенной через природное к вечному.

Это имеет свои последствия и в трактовке сезонного спора: птичий дебат в «Бесплодных усилиях любви» завершается не панегириком или сакральным гимном в честь «наилучшего» времени года (в большей степени наделенного чертами сакральности), но отречением от преждевременных «праздничных» иллюзий: *«The words of Mercury are harsh after the songs of Apollo»* (V. II. 923–924) [Shakespeare: 244] — «Слова Меркурия режут ухо после песен Аполлона» [Шекспир: 512]. Итог состязания ознаменован переходом от поэзии к прозе, а на уровне образов — от Феба к Меркурию, от расслабляющего тепла — к бодрящему холоду и от томительного огня желаний — к веселящему жару домашнего очага. В финале (вопреки комедийной традиции) героям и зрителям предлагается бросить взгляд на грубые и даже трагические, а вовсе не праздничные моменты человеческой жизни. Но это лишь внешний слепок трагической формы, а не дионисийское погружение в подлинную стихию трагедии. Вот почему меркурианская «правда жизни» строго очерчена рамками лирического пейзажа или вовсе отнесена к внесценической реальности (упоминание о больницах и других неприглядных вещах). Трагическое преподносится издалека и в уменьшенном масштабе — как наглядный и обобщенный урок, извлеченный искусством из природы, а не как субъективная истина человеческого бытия, драматически воплощенная в судьбе и характере персонажа. Дальнейшее продвижение в этом направлении в рамках ка-

¹ По аналогии с термином Ч. Л. Барбера «праздничная комедия Шекспира» (Shakespeare's festive comedy) [Barber].

нонической системы природных олицетворений неизбежно должно было привести к разрушению традиционной структуры сезонного спора, которая у Шекспира еще сохраняет устойчивые формальные очертания. Более радикальная ломка традиционного содержания, структурных отношений и внешних признаков традиционной сезонной образности обнаруживает себя в гимне Председателя, образующем смысловой центр «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

Идея гимна подсказана «Песней о Чуме» (a song on the Plague), вложенной в уста литературного прототипа пушкинского героя — одного из персонажей пьесы для чтения (драматической поэмы) поэта-лейкиста Джона Уилсона (в сохраняемой далее пушкинской транслитерации — Вильсона) «Город Чумы» (*A City of the Plague*, опубл. 1816, I.IV)¹. Несмотря на очевидную связь два лирических отрывка (вильсоновский и пушкинский) заметно отличаются друг от друга, что делает гимн Чуме вполне самостоятельным произведением, как и «маленькую трагедию» в целом.

Общий посыл обеих песен (кошунственное, с точки зрения традиционалистского сознания, восхваление мора) реализуется в романтической поэме Вильсона и в «Пире во время чумы» по-разному. Приводя убийственный перечень доказательств могущества смерти, настигающей человека на суше и на море, Председатель пира² у Вильсона прославляет грозную силу чумной заразы, не нуждающуюся в уловках и хитростях для поддержания своей власти, противопоставляя ее лицемерию и фальши, царящим в человеческих отношениях. Сметая весь сор устаревших обычаев, ложных ценностей и моральных догм, чума (которая выступает здесь в мужественном облике непобедимого «царя»³) заставляет людей, погрязших в обманах, столкнуться с правдивой изнанкой вещей. Она разит крючкотвора-законника, лишая его возможности в очередной раз надуть Фемиду; освобождает мужа, страждущего под бременем брачных уз, от супружеского ярма и настигает священника в разгар лицемерной проповеди (mid his hypocrisies)⁴ (I.IV) [Wilson: 53] — деталь, в своем мрачном сарказме как будто перекликающаяся с юмористической бытовой зарисовкой из «Бесплодных усилий любви», где, однако, поток красноречия проповедника в церкви

¹ Из отечественных работ, заложивших основы изучения драматической поэмы Вильсона в сопоставлении с «маленькой трагедией» Пушкина, следует прежде всего назвать комментарии Н. В. Яковлева [Пушкин: 579–609] и статью М. П. Алексеева [Алексеев 1991].

² В оригинале обыгрывается официальный придворный титул «распорядителя королевских увеселений» (Master of Revels), присвоенный Вальсингаму.

³ Председатель, в частности, называет чуму «царем церковных приделов» — “King of the aisle” (I.IV) [Wilson: 51].

⁴ На этот мотив в поэме Вильсона справедливо указывал Д. Д. Благой: «Вальсингам Вильсона <...> восхваляет ее (чуму. — Т. Ч.) за то, что она срывает покровы со всяческого лицемерия» [Благой: 663].

останавливала не «черная» смерть, а вполне безобидная простуда. Своей откровенностью и величием во зле Чума в итоге несет с собой очищение, что оправдывает обращенное к ней ритуальное «зазывание», напоминающее по форме традиционную весеннюю «закличку»: «To Thee o Plague! I pour my song. / Since thou art come I wish thee long!» (I.IV) [Wilson: 52] — «Тебе, Чума, я песнь пою! / Пришла — продли же власть свою» (здесь и далее пер. Ю. Верховского и П. Сухотина. — Т. Ч.) [Вильсон].

Отсюда следует, впрочем, что романтический бунт, выражающий себя в прославлении сурового господства Чумы, укладывается в рамки традиционного для романтиков протеста против мещанства, напоминая обличительные речи Карла Моора против «хилого века кастратов». Система поэтических образов, иллюстрирующих всевластие мора, заимствуется преимущественно из области человеческих дел и отношений (начиная с картины морского боя и заканчивая победным шествием болезни по храмам, судам и семейным домам). Единственным сколько-нибудь заметным исключением из этого правила становится романтический образ Океана — неодолимой стихии, которая, пожирая всех, кому удалось избежать смерти в сражении, выступает естественной параллелью к Чуме. Чума, как и Океан, не щадит никого и этим привлекает героя, превозносящего ее суровое беспристрастие над капризной пристрастностью фортуны.

У А. С. Пушкина тема несправедливого распределения земных благ, оправдываемого фарисейскими догмами и попираемого «мужественным» нашествием царственно бескорыстного зла, теряет свою актуальность. Чумное нашествие в «маленькой трагедии» — это прежде всего испытание человеческой силы духа, проверка человека на соответствие его центральному положению в мире, на способность в духовном плане стать вровень с неизмеримо сильнейшей стихией. Философская проблематика гимна¹ (заменившая социальную и моральную проблематику источника) во многом определяет отсутствие в нем натуралистических описаний победного шествия мора, а также возврат к коренящимся в коллективном сознании архетипическим образам — олицетворениям природных стихий.

Вместо романтического Океана природной параллелью к фигуре Чумы становится в «Пире» образное олицетворение Зимы как неутомимой воительницы, родственное обрядовым архетипам континентальных народов. Ранее в пьесе Вильсона зимняя образность появлялась лишь однажды — в сравнении гибнущих от чумы людей со снежными хлопьями, стремительно падающими в могилу («What though into yon Pit we go / Descending fast, as *flakes of snow*?»²): образ, вероятно, подсказанный поэту-романтику дантовским уподоблением летящих в адскую пропасть душ «строю» осен-

¹ Ср.: «Оригинальность “Пира” в его философской концепции» [Макогоненко: 235].

² Ср. в переводе: «Так пусть мы в яму все падем, / Как хлопья снега зимним днем!».

них листьев («Божественная комедия», I. III. 113, пер. М. Лозинского). Персонификация Зимы тем не менее не получала у Вильсона самостоятельного развития, обретенного ею в пушкинском «Пире».

Образный строй олицетворения («Как бодрый вождь, ведет сама / На нас косматые дружины / Своих морозов и снегов» (ст. 139–141¹) [Пушкин: 108]) хранит отдаленную связь с традиционными формулами, характерными для фольклорного изображения Зимы в ситуации ритуального спора с Весной. Однако военная атрибутика и полководческие стратегии «бодрой» предводительницы снегов представлены здесь в отрыве от канонического обрядового контекста — контекста состязания / битвы с олицетворением природного тепла, что влечет за собой целый ряд смысловых и структурных сдвигов. Утрачивая привычного оппонента, Зима включается в новые связи, в которых (подобно Океану у Вильсона) играет роль «ослабленного» дублера Чумы, предвещающего своим появлением ее торжественный выход. Впечатление от последнего, безусловно, усиливается — в равной степени благодаря как сходству, так и отличиям властительницы холодов от царицы погостов.

Выступая как парные образы в начальных строфах гимна, Зима и Чума предстают в нем как силы, побуждающие людей сплотиться, отвечая холоду могил и январской стуже «жаром» пиров и звоном бокалов. Этот «бодрый» ответ на атаки стихий неизбежно меняет само отношение к ним. Стихии становятся ближе к человеку и начинают служить для него отражением (зеркалом) собственно человеческих свойств — свойств человеческого духа, узнаваемых и в игриво-домашнем облике «проказницы» Зимы (неожиданно утратившей статус «вождя»), и в возвышенном² характере царицы Чумы, которая в ряду величественных явлений природы успешно соперничает с бездной, тьмой, океаном и ураганом как концентрированное выражение (проекция) человеческого порыва к бессмертию — через добровольное стремление к смерти: «Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Незыблемы наслажденья — / Бессмертья, может быть, залог!» (ст. 162–165) [Пушкин: 180–181]).

Параллелизм таким образом сочетается с контрастом, который, на первый взгляд, подтверждает основную мысль гимна, но при ближайшем рассмотрении вскрывает заложенное в ней противоречие — «проблематичность» [Гуревич], которая и приведет Председателя к конфликту с самим собой.

¹ Здесь и далее арабские цифры в круглых скобках обозначают строку (стих) «маленькой трагедии» Пушкина.

² В своей недавней работе А. М. Гуревич (вслед за Н. В. Фридманом) отмечает любопытную переключку между идеями и образами гимна, с одной стороны, и эстетической кантовской концепцией «динамически высокого» в природе, с другой [Гуревич].

Содружество пирующих в зимнюю стужу — это торжествующее единство людей перед враждебностью стихий. Содружество пирующих «во время чумы» — отправная точка, исходный пункт на пути к восторженному слиянию со стихией, переживаемому героем-одиночкой в индивидуальном духовном порыве и отделяющему его от «толпы». Подтверждением может служить замена множественного числа первых строф («Что делать *нам?*», «*Зажжем* огни, *нальем* бокалы» (ст. 149, 152) [Пушкин: 180]) единственным в наиболее идейно нагруженной пятой («для *сердца* смертного», «счастлив *тот*» (ст. 163, 166) [Пушкин: 180, 181]), а также та немаловажная деталь, что в отличие от «Города Чумы» хор пирующих в маленькой трагедии Пушкина не участвует в исполнении гимна и заключительная хвала Чуме вместе с прославлением «смертельного» поцелуя звучит в нем однократно, а не повторяется хором в качестве рефрена. Таким образом, следующая за последней строфой реплика Священника («Безбожный пир, безбожные безумцы») становится в «Пире» откликом не на «общий глас» сотрапезников, а на «соло» самого Вальсингама, переживающего кульминационный момент того духовного порыва, который породил и сам гимн Чуме.

В самом деле: хотя в момент исполнения гимна разрыв между Вальсингамом и другими пирующими еще не осознается участниками действия, его неизбежность подчеркнута разделением всех присутствующих на автора-исполнителя и пассивных слушателей, а в расширенном — драматическом контексте усиливается различие нравственных позиций большинства сотрапезников (Луиза — Мери, видение Председателя — «Женский голос», с насмешкой отозвавшийся о его «бреде») и различием мотивов, заставивших их примкнуть к «безбожному пиру».

Приглашая пирующих присоединиться к восхвалению Чумы, Председатель призывает их отказаться от скреп и подпорок, которые в человеческом обществе создают коллективную защиту от внешних угроз, и в этот момент хочет видеть в своих товарищах не только гуляк, «утопивших» свой страх перед смертью в «пирах Венеры» и чашах «неразумного Ваха» (по формуле Алкуина), но содружество романтических бунтарей, не боящихся взглянуть ей в лицо. Эта общая линия гимна в версии Пушкина более последовательно выражает позицию героя¹ и отчетливо

¹ Более резкая форма столкновения английского Вальсингама с одним из участников пира, играющим показательную роль «воинствующего безбожника», не отменяет того факта, что в «Песне о Чуме» персонаж драматической поэмы Вильсона в гораздо большей степени, чем пушкинский Вальсингам, выражает коллективную позицию пирующих, от которой невольно отходит, беря под защиту священника и давая отпор крикливому атеизму Молодого человека. Это отречение от пафоса «Песни...» становится еще очевиднее, когда, став невольным орудием кары безбожника, убитого им на поединке, Вальсингам погружается в столь глубокое раскаяние, что это делает невозможным не только

перекликается с его изначальным намерением почтить память умершего Джексона в траурном «молчании» (ст. 24) [Пушкин: 176]¹ и даже с высокомерной издевкой над страхом Луизы. Порыв Председателя к духовной свободе, без сомнения, демоничен, поскольку берет за образец неморальную свободу стихий, но в этом демонизме сохраняется отголосок одной из важнейших черт отвергаемого героем христианства — пафос личного предстояния высшей силе, глубоко чуждый большинству сотрапезников Вальсингама. Неудивительно, что единственный, кто способен оценить субъективную глубину и масштаб духовных борений героя, это Священник, осуждающий и «чудовищный» пир, и «бешеные» песни. Не случайно, по словам Ю. М. Лотмана, их спор завершается «<...> уникально: каждый как бы проникается возможностью правоты антагониста» [Лотман: 316].

В двойном контексте лирического гимна и драматического действия парность фигур Зимы и Чумы в конечном итоге оказывается бутафорским фасадом, за которым скрывается несоизмеримость «естественного» зла зимней стужи, от которого человек защищается, объединяясь с другими людьми, и демонической власти Чумы (заодно с демонизмом ее прославления, профанирующего одновременно христианский порыв к индивидуальному спасению и языческий ритуал закличания светлых природных сил).

Впрочем, отдавая дань могуществу стихии распада и ища в ней источник бессмертия, Вальсингам тем не менее приближается к пониманию ценности тех ограниченных проявлений добра, которые, погибая под натиском стихий, очищаются от ограниченности, сохраняя при этом свою положительную — гуманную природу. Та же задача — посреди чумного нашествия и разгула страстей остаться собой (человеком) и примириться с универсальными человеческими ценностями (гуманизма и христианства) — заново встает и перед пушкинским Председателем — на фоне продолжающегося «пира во время чумы» и составляющих его скрытую сторону «горестных молений» — всего, что отныне воспринимается Вальсингамом с позиций философской отрешенности и повергает его «в глубокую задумчивость» [Пушкин: 184].

Близкая по времени Пушкину, но совершенно самостоятельная лирическая версия олицетворения Зимы в русской поэзии, возвращающая

его дальнейшее участие в чумных «увеселениях» в качестве их распорядителя, но и отстраненное размышление («глубокую задумчивость») по поводу совершенного выбора. В этом смысле не лишнее пронизательности утверждение Ст. Рассадина о том, что «пока Вальсингам поет свой гимн, <...> сам Вальсингам — человек толпы» [Рассадин: 173], в большей степени характеризует героя поэмы-источника, нежели пушкинской «маленькой трагедии».

¹ Ср.: «Призывом Вальсингама к внутренней сосредоточенности в себе, в своем горе начинается его роль в пьесе; его “глубокой задумчивостью” пьеса заканчивается» [Благой: 666].

нас к традиционной оппозиции времен года, появляется в хрестоматийно известном стихотворении Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится», датированном одними исследователями 1836 г. [Тютчев 1987: 134], другими — первой половиной 1830-х гг. [Тютчев 2002: 444]. Возвращение к традиционной ритуально-праздничной схеме природного противостояния сочетается здесь с отходом от диалогической структуры, изначально присущей мотиву «спора» Зимы и Весны, и победой лирической описательности над драматическим конфликтом. Шагом в этом же направлении был и лирический диптих в составе «Бесплодных усилий любви», и пушкинский гимн Вальсингама, поскольку диалогическое начало в обоих случаях было полностью или частично вынесено вовне — в драматическую структуру комедии (или «маленькой трагедии») как композиционного целого.

В тютчевском стихотворении «спор» двух соперниц решается вне диалога (словесной перебранки), выражаясь в их действиях и эмоциональных порывах, представленных в авторском описании. Весна «в окно стучится», «гонит со двора» Зиму, «хохочет» ей «в глаза» и в ответ на ворчание потревоженной «ведьмы» «пуще лишь шумит» (здесь и далее цит. по: [Тютчев 2002: 166]). Гонимая же Зима не без повода «злится», «ворчит» на Весну и, «взбесившись», «пускает» в ее сторону пригоршню снега, пытаясь хоть чем-то досадить напоследок неуязвимой противнице.

Традиционный для спора «вердикт» (выносимый обычно в финале) разлит по всему тексту стихотворения, выражая субъективно-лирическое отношение автора к традиционному состязанию времен года. Утверждение правоты прихода Весны и снисходительная насмешка над бесполезными «хлопотами» Зимы находят опору в ритуальном комплексе прославления первой и посрамления второй, получившем в фольклоре традиционное выражение в образах победы света над тьмой, молодости над старостью и жизни над смертью. Между тем, вопреки традиции, главным каналом «традиционной» оценки в стихотворении Ф. Тютчева становится лирический голос автора, с первых же строк задающий эталонный критерий трактовки событий: «Зима *недаром* злится, / *Прошла ее пора*». Одновременно глубинная ассоциация Весны с юностью, возрождением и весельем (а Зимы — с бессилием старости и завистливой злобой) реализуется в контрасте игривой подвижности юной шалуньи и угрюмой неповоротливости сварливой старухи, засидевшей сверх положенного в чужом жилище.

Эта наглядность (обобщенная конкретность) образов органически сочетается с чертами национального колорита, не слишком навязчивыми, но все же заметными на фоне универсальных характеристик «зимнего» олицетворения в пушкинском гимне. Отправной точкой и организующим началом картины столкновения двух сезонов в стихотворении Ф. И. Тютчева становится гендерная принадлежность образов, источником и основой которой является грамматический род существительных «весна»

и «зима» в русском языке. Преломление в образах грамматических категорий во многом определяет специфически «женский» сценарий конфликта, представленного в виде враждебного столкновения двух сельских соперниц: отживающей свой век старухи и молодой красавицы.

Напомним: у Алкуина Зима в своей женской ипостаси (*лат. hiems f*) противостояла юному гению Весны (*лат. veg n*), выступающему в «мужском» воплощении, а ее ворчливая злоба воспринималась как зависть старой приживалки, не желающей уступать свою временную власть законному молодому хозяину. У А. С. Пушкина определение «бодрый вождь» затушевывало и нейтрализовало женскую природу Зимы, возрождавшуюся в эпитете «проказница», который, впрочем, не отменял того факта, что в образном параллелизме Зимы и Чумы ведущим мотивом являлась не женственность, запечатленная в одном из своих возрастов, но «царственное» могущество, окруженное ореолом военной мощи. В контексте русского языкового сознания данное сочетание способствовало проявлению дополнительных коннотаций — нарушения естественного порядка и пробуждения хаоса. Не имеющая в природе достойных соперниц и не сдерживаемая силой «мужского» порядка, «царица» стихий обретала бесконтрольную власть над миром, становясь воплощением демонической, а не естественно-органической ипостаси женского начала и требуя от героя истинного «мужества» в равноправной встрече с самой стихией.

В тютчевской версии этот стихийный демонизм Зимы («Взбесилась ведьма злая...») не величественен и страшен, но бессильно уродлив и смешон. Желание злобной завистницы продлить свое «хозяйское» пребывание в мире имеет характер старческого каприза, который не в силах победить естественную неуязвимость юной соперницы. Специфика национальной языковой картины проявляется без видимых отступлений, поддержанная деревенским колоритом всей сценки: «Зима и Весна изображены как враждующие соседки, а место их действия — “двор”, одна к другой “в окно стучится” по крестьянскому обыкновению, и их поведение и внутренние реакции по-простонародному обозначены: “хлопочет”, “ворчит”, “взбесилась”, “в глаза хохочет”, и все окружение — тоже в народном ореоле» (В. Н. Касаткина) [Тютчев 2002: 444]. Если доверять мнению тех комментаторов, которые считают, что стихотворение было написано под впечатлением обрядовых деревенских игр в немецкой деревне под Мюнхеном [Тютчев 1987: 385], то можно констатировать, что инокультурная специфика ритуала в лирической тютчевской версии заметно сглажена, что позволило мюнхенским воспоминаниям слиться с простонародным русским колоритом. Немалая роль в этом принадлежала центральным образам стихотворения — образам деревенских «соседок», подсказанным стихией национального языка (в противоположность сюжету немецких игр, в которых «ведьму» прогоняла разнополая толпа молодежи [Тютчев 1987: 385]).

Наконец, если в пушкинском «Пире» универсальный символ демонической дерзости духа (Чума), отталкиваясь от природного образа Зимы, одновременно служил его отрицанием и подчинял его себе, то у Тютчева бытовые олицетворения сил природы не отменяют самостоятельного значения природных картин. В этом смысле колоритная сценка потасовки двух селянок — старой и молодой — остается изысканно-поэтической формой «пейзажной лирики» [Тютчев 2002: 444], а слияние пейзажных картин и бытовых олицетворений достигает предельной степени полноты в последних четверостишиях, в которых наглядное изображение враждебных действий Зимы («снегу захвата, / Пустила <...>») и зазорной неуязвимости Весны («умылася в снегу / И лишь румяней стала») остается прозрачной эмблемой природных явлений: последних метелей и приходящего им на смену весеннего тепла, разлитого в омытом влагой воздухе. Архаическая ритуальная «перебранка» окончательно растворилась в лирическом описании, возродившем на новом этапе фольклорный параллелизм природного и человеческого. А сами образы, укорененные в национальном сознании и при этом пропитанные лирической силой индивидуального мировидения, стали не просто классическими (подобно универсальным образам «Пира во время чумы»), но «хрестоматийными» — содержащими в себе нечто одинаково ценное для знатока поэтической традиции и школьника, который на их примере (и через их посредство) приобщается к универсальным архетипам национальной и мировой поэзии.

Выводы. Укорененные в сознании многих народов образные олицетворения Весны и Зимы, запечатлевшие в своем облике атрибуты обрядов, символизирующих столкновение двух враждебных сезонов, имеют длительную литературную историю, меняясь под влиянием культурного, эстетического, художественно-литературного и национально-языкового контекста.

Так, в поэтике Алкуинова «Словопрения Весны с Зимой» отражаются идеологические установки и художественные принципы Каролингского ренессанса, возникшего на почве христианской (и «варварской») адаптации античных традиций, что позволило соединить мотивы фольклорной весенней «заклички» с диалогическими традициями буколки и школьных риторических упражнений. Зиме здесь предоставлено право голоса, однако победа Весны абсолютна и «вечна», символизируя наступление нового Золотого века под эгидой христианской империи Каролингов.

В шекспировских песнях Совы и Кукушки («Бесплодные усилия любви») на фоне замены «перебранки» изысканно вежливым певческим состязанием диалогическое начало ослабляется, в то время как общий контекст (концептуально-образный и драматический), напротив, рас-

ширятся, совпадая с границами комедийного действия. Календарный момент столкновения двух враждующих времен года распадается на два самостоятельных «снимка» реальности (части стихотворного диптиха) в рамках направленного движения от Весны к Зиме (в масштабе годового календарного цикла). Зимний холод, отождествляемый со «смертью» природы, в то же время является здесь толчком к преодолению природных противоречий и естественной ограниченности. Человеческое и природное у Шекспира стремятся к слиянию, выражая гуманистический идеал физической и духовной гармонии и согласуясь одновременно с протестантской сакрализацией общественных институтов (таких, как брак, церковная община и т. п.) и труда.

В русской поэзии 1830-х гг. (включая стихотворную драму) лирическое начало в изображении персонифицированных времен года усиливается на почве романтической парадигмы. Будучи частью драматического целого, пушкинский гимн Председателя в «Пире во время чумы» представляет собой в то же время самостоятельный образец сольной лирики, освобожденный от рудиментов хорового начала, сохранявшихся в драматической поэме Дж. Вильсона «Город Чумы» (источнике «маленькой трагедии»). Представленная в облике грозной воительницы, но лишенная традиционного оппонента, Зима в пьесе Пушкина выступает в роли образного дублера «царицы» Чумы. Сближение двух олицетворений не исключает заложенного в их паре контраста, который в расширенном драматическом контексте «маленькой трагедии» оставляет пространство для более отстраненного восприятия нравственно-философской позиции, отразившейся в гимне.

Новая ступень «лиризации» образных олицетворений Весны и Зимы обозначается в стихотворении Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...», в котором поэт, возвращаясь к картине открытого столкновения двух сезонов, выражает их противостояние в лирическом авторском описании. В трактовке центральных образов сказывается влияние национальной языковой картины мира, определившей гендерную принадлежность обеих персонификаций, а также «простонародную» атмосферу состязания. Универсальные архетипы преломляются в национальных культурных образах, определяя значение тютчевского стихотворения как хрестоматийной модели восприятия весенне-зимнего «дебата» в духовном пространстве отечественной «школьной» классики.

Литература

Алексеев М. П. Джон Вильсон и его «Город чумы» // Алексеев М. П. Английская литература: Очерки и исследования. Ленинград: Наука, Ленингр. отд., 1991. С. 337–357.

Алексеев М. П. Споры о стихотворении «Роза» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Ленинград: Наука, Ленингр. отд., 1972. С. 326–377.

Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). Москва: Советский писатель, 1967. 723 с.

Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Москва: Высшая школа, 1989. 406 с.

Вильсон Дж. Город Чумы: драматическая поэма в 3 актах / Пер. Ю. Верховского и П. Сухотина. Москва: ГИХЛ, 1938 URL: http://az.lib.ru/w/wilxon_d/text_1816_the_sity_of_the_plague.shtml.

Гуревич А. М. «В вековом прототипе...» (К истолкованию «Пира во время чумы») // Гуревич А. М. «Свободная стихия»: Статьи о творчестве Пушкина. Москва: Языки славянской культуры, 2015 URL: <https://librolife.ru/g4305644>.

Иванов Вяч. Вс. К жанровой предыстории прений и споров // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 3: Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стихovedение. Москва: Языки славянской культуры, 2004. С. 69–86.

Кереселидзе Л. З. Ренессансная концепция комедии «Бесплодные усилия любви» Шекспира: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.05. Тбилиси, 1980. 31 с.

Лотман Ю. М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год) // Лотман Ю. М. Пушкин: биография писателя; статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: комментарий. Санкт-Петербург: Искусство, 1995. С. 300–316.

Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Ленинград: Художественная литература, 1974. 376 с.

Ненарокова М. Р. Каролингская эклога: теория и история жанра: Дис. ... докт. филол. наук: 10.01.03. Москва, 2012. 366 с.

Памятники средневековой латинской литературы VIII–IX века / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. Москва: Наука, 2006. 479 с.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений / Гл. ред.: М. Горький и др. Т. 7: Драматические произведения / Ред. Д. П. Якубович. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1935. 728 с.

Рассадин Ст. Б. Драматург Пушкин: Поэтика, идеи, эволюция. Москва: Искусство, 1977. 359 с.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Н. Я. Берковского; сост., подгот. текста и примеч. А. А. Николаева. Ленинград: Советский писатель, 1987. 448 с.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений и писем: В 6 т. Т. 1: Стихотворения, 1813–1849. Москва: Издат. центр «Классика», 2002. 528 с.

Чеснокова Т. Г. Пушкин и Шекспир: «странные сближения» // В спорах о Пушкине: Научные чтения / Отв. ред. А. А. Чернявская. Москва: Изд-во РАГС, 2001. С. 79–92.

Чеснокова Т. Г. Спор времен года в европейской литературе Средневековья и Ренессанса: Алкуин и Шекспир // Русистика и компаративистика. Вып. 10. Вильнюс: ЛЭУ, 2015. С. 95–109.

Чеснокова Т. Г. Шекспир и пасторальная традиция английского Возрождения: пасторальные мотивы в комедиях У. Шекспира. Москва: МАКС Пресс, 2000. 216 с.

Шекспир У. Бесплодные усилия любви // Шекспир У. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 2 / Под общ. ред. А. Смирнова и А. Аникста. Москва: Искусство, 1958. С. 393–512.

Alcuin. Conflictus Veris et Hiemis // Mediaeval Latin Lyrics / By Helen Waddell. New York: Henry Holt & Co, 1948. P. 82–86.

Barber C. L. Shakespeare's Festive Comedy: A Study of Dramatic Form and its Relation to Social Custom. Princeton: Princeton University Press, 1959. X, 265 p.

Shakespeare W. Love's Labour's Lost // Shakespeare W. The Complete Works. Ware: Cumberland House, 1994. P. 213–244.

Wilson J. The City of the Plague // Wilson J. The City of the Plague and other Poems. Edinburgh — Glasgow — London: Archibald Constable & Co, John Smith & Son, Longman, 1816. 300 p. P. 1–167 URL: <https://archive.org/details/cityofplagueothe00wilsuoft/page/n2>.

References

Alekseev M. P. Dzhon Vil'son i ego "Gorod chumy" // Alekseev M. P. Anglijskaya literatura: Ocherki i issledovaniya. Leningrad: Nauka, Leningr. otd., 1991. S. 337–357.

Alekseev M. P. Spory o stikhotvorenii "Roza" // Alekseev M. P. Pushkin: Sravnitel'no-istoricheskie issledovaniya. Leningrad: Nauka, Leningr. otd., 1972. S. 326–377.

Blagoj D. D. Tvorcheskij put' Pushkina (1826–1830). Moskva: Sovetskij pisatel', 1967. 723 s.

Veselovskij A. N. Istoricheskaya poetika. Moskva: Vysshaya shkola, 1989. 406 s.

Vil'son Dz. Gorod Chumy: dramaticheskaya poema v 3 aktakh / Per. Yu. Verkhovskogo i P. Sukhotina. Moskva: GIXL, 1938 URL: http://az.lib.ru/w/wilxson_d/text_1816_the_sity_of_the_plague.shtml.

Gurevich A. M. "V vekovom prototipe..." (K istolkovaniyu "Pira vo vremya chumy") // Gurevich A. M. "Svobodnaya stikhiya": Stat'i o tvorchestve

Pushkina. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2015 URL: <https://librolife.ru/g4305644>.

Ivanov Vyach. Vs. K zhanrovoj predystorii prenij i sporov // Ivanov Vyach. Vs. Izbrannyetrudyposemiotikeiistoriikul'tury. T. 3: Sravnitel'noeliteraturovedenie. Vsemirnaya literatura. Stikhovedenie. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2004. S. 69–86.

Kereselidze L. Z. Renessansnaya koncepciya komedii "Besplodnye usiliya lyubvi" Shekspira: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.05. Tbilisi, 1980. 31 s.

Lotman Yu. M. Iz razmyshlenij nad tvorcheskoy evoluciej Pushkina (1830 god) // Lotman Yu. M. Pushkin: biografiya pisatelya; stat'i i zametki, 1960–1990; "Evgenij Onegin"; kommentarij. Sankt-Peterburg: Iskusstvo, 1995. S. 300–316.

Makogonenko G. P. Tvorchestvo Pushkina v 1830-e gody. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura, 1974. 376 s.

Nenarokova M. R. Karolingskaya ekloga: teoriya i istoriya zhanra: Dis. ... dokt. filol. nauk: 10.01.03. Moskva, 2012. 366 s.

Pamyatniki srednevekovoj latinskoj literatury VIII–IX veka / Otv. red. M. L. Gasparov. Moskva: Nauka, 2006. 479 s.

Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochinenij / Gl. red.: M. Gor'kij i dr. T. 7: Dramaticheskie proizvedeniya / Red. D. P. Yakubovich. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1935. 728 s.

Rassadin St. B. Dramaturg Pushkin: Poetika, idei, evoluciya. Moskva: Iskusstvo, 1977. 359 s.

Tyutchev F. I. Polnoe sobranie stikhotvorenij / Vstup. st. N. Ya. Berkovskogo; sost., podgot. teksta i primech. A. A. Nikolaeva. Leningrad: Sovetskij pisatel', 1987. 448 s.

Tyutchev F. I. Polnoe sobranie stikhotvorenij i pisem: V 6 t. T. 1: Stikhotvoreniya, 1813–1849. Moskva: Izdat. centr "Klassika", 2002. 528 s.

Chesnokova T. G. Pushkin i Shekspir: "strannye sblizheniya" // V sporakh o Pushkine: Nauchnye chteniya / Otv. red. A. A. Chernyavskaya. Moskva: Izd-vo RAGS, 2001. S. 79–92.

Chesnokova T. G. Spor vremen goda v evropejskoj literature Srednevekov'ya i Renessansa: Alkuin i Shekspir // Rusistika i komparativistika. Vyp. 10. Vil'nyus: LEU, 2015. S. 95–109.

Chesnokova T. G. Shekspir i pastoral'naya tradiciya anglijskogo Vozrozhdeniya: pastoral'nye motivy v komediyakh Shekspira. Moskva: MAKSS Press, 2000. 216 s.

Shekspir U. Besplodnye usiliya lyubvi // Shekspir U. Polnoe sobranie sochinenij: V 8 t. T. 2 / Pod. obshh. red. A. Smirnova i A. Aniksta. Moskva: Iskusstvo, 1958. S. 393–512.

Alcuin. Conflictus Veris et Hiemis // Mediaeval Latin Lyrics / By Helen Waddell. New York: Henry Holt & Co, 1948. P. 82–86.

Barber C. L. Shakespeare's Festive Comedy: A Study of Dramatic Form and its Relation to Social Custom. Princeton: Princeton University Press, 1959. X, 265 p.

Shakespeare W. Love's Labour's Lost // Shakespeare W. The Complete Works. Ware: Cumberland House, 1994. P. 213–244.

Wilson J. The City of the Plague // Wilson J. The City of the Plague and other Poems. Edinburgh — Glasgow — London: Archibald Constable & Co, John Smith & Son, Longman, 1816. 300 p. P. 1–167 URL: <https://archive.org/details/cityofplagueothe00wilsuoft/page/n2>.

Сведения об авторе: Татьяна Григорьевна Чеснокова; кандидат филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет, доцент кафедры зарубежной филологии института гуманитарных наук; ORCID 0000-0001-9326-4520; tchesno@bk.ru; сфера научных интересов: вопросы исторической поэтики, история европейской драмы раннего Нового времени, история английской литературы, компаративистика.

The author's profile: Tatiana Grigoryevna Chesnokova; Candidate of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Literature, Institute of Humanities; ORCID 0000-0001-9326-4520; tchesno@bk.ru; research interests: historical poetics, history of early modern European drama, history of English literature, comparative studies.

УДК 821.811.17

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.04

**МЕЖДУ ЛИТВОЙ И АМЕРИКОЙ:
ТЕКСТЫ И КОНТЕКСТЫ
ЛИТОВСКО-АМЕРИКАНСКИХ АВТОРОВ**

**BETWEEN LITHUANIA AND AMERICA:
TEXTS AND CONTEXTS
BY LITHUANIAN-AMERICAN AUTHORS**

**Жидроне Колевинскене
Университет Vytautas Magnus,
Вильнюс, Литва**

**Žydronė Kolevinskienė
Vytautas Magnus University,
Vilnius, Lithuania**

Аннотация

В статье при обсуждении проблематики идентитета в современной литовской эмигрантской литературе в качестве опорной точки выбрана трехчленная структура: *земля, язык, история*. Проблематика идентичности и эмигрантский опыт раскрываются в текстах на английском языке, написанных американскими авторами литовского происхождения — Руттой Шпяйтис, Бируте Путриус, Антанасом Шилейкой и др. Основной текст — роман Эптона Синклера «Джунгли».

Ключевые слова: современная литовская литература, проблематика идентичности, эмигрантский опыт, Эптон Синклер.

Abstract

In nowadays world the issue of mature modernity and similar personal identity remains of great significance. The research is dedicated to the American-born authors and authors of Exodus. In today's world, the real and the made-up Lithuania is both meaning and value for the identity of these writers. The American-born authors often name the relationship with Lithuania only as a symbolic construction determined by the values of its reference field. However, this bond is vitally important and guarantees the continuity of nature in the world of crumbling meanings and splitting identities. In this case, the research focuses on a recently emerged phenomenon — the literature about Lithuania and its

culture, history written in the English language. Authors of Lithuanian origin writing in English began speaking (and telling) about their cultural roots (Julija Sukys, Lina Žilionytė, Daiva Markelis and others). The authors, who do not speak Lithuanian (the language of their parents), have approached the problem of the deepest valuable component of national identity, that of the language. A single, pure and national identity is replaced with formation of several, intersecting complementary cultures — a hybrid identity. The structure of national values of writers in a language other than Lithuanian is replaced with the new (most often English) language, which opens up new cultural possibilities, but limits the traditional ones.

A three-segment structure of national values — *land, language*, and *history* — can be used as a reference point when discussing the problems of identity in contemporary Lithuanian émigré literature. The problematics of identity and emigrant experience are revealed in texts written in English by North American authors of Lithuanian origin, such as Ruta Sepetys, Birute Putrius, Antanas Sileika and others. A novel *The Jungle* (1906) by Upton Sinclair serves as the main context. The book, which made the author world-famous, tells the story about life of Chicago workers, an ordinary Lithuanian family which immigrated to the United States at the beginning of the 20th century.

In order to find and re-establish his or her inner center, an immigrant has to make an important choice. Contemporary Lithuanian émigré literature testifies that this center has not yet been discovered or identified. The country and home that émigré writers left behind are alien to them, however, a foreign land has not yet been domesticated. Therefore, very often a slightly romanticized emigrant idyll is replaced by a complaint, discontent, and disappointment. The myth of a good life collapses both in its own and in a foreign country.

Key words: contemporary Lithuanian literature, the problematics of identity, emigrant experience, Upton Sinclair.

Введение. Целью статьи является изучение проблематики идентитета в современной литовской эмигрантской литературе. **Материал исследования** — романы литовско-американских авторов.

Литовцы — это один из тех малых народов, выходцы из которого рассеялись по всему миру. В истории Литвы были периоды, когда по разным причинам возможности эмиграции ограничивались и — следовательно — количество эмигрантов уменьшалось. Историки указывают, что с конца XIX в. Литва была и остается восточноевропейским государством, которое дает миру наибольшее (пропорционально населению страны) количество эмигрантов. Но надо сказать, что литовская миграция всегда была неотъемлемой частью международных миграционных процессов в Средней и Восточной Европе. Однако положение литовцев не сильно отличалось от положения представителей других народов-иммигрантов: про-

цессы адаптации, закрепления в чужой стране, сохранения национальной идентичности, ассимиляции и др. были очень похожи во всех национальных группах эмигрантов.

С первой волной литовской эмиграции, которая началась в середине XIX в. и продолжалась до 1914 г., страну покинули около 250 тысяч человек [Эйдинтас: 64–65]. Большею частью эти люди были малообразованными и, оказавшись в Америке, работали на угольных шахтах Пенсильвании, чикагских бойнях или городских предприятиях (чаще всего в чесальных и ткацких цехах) восточной части США [Truska: 71–85].

Вторая волна, не столь многочисленная, пришлось на период первой литовской независимости (1918–1940). Люди уезжали из страны в основном по экономическим причинам. Большинство из них в итоге оказались на кофейных плантациях в джунглях Бразилии.

Третья волна эмиграции хлынула с окончанием Второй мировой войны. Согласно подсчетам, количество перемещенных лиц (англ. “displaced persons”) превысило 60 тысяч человек, и основная их масса осела на восточном побережье Америки. Крупнейшим центром литовской эмиграции в этом регионе стал Чикаго, который и сегодня называют второй литовской столицей.

Сегодня можно говорить о четвертой волне эмиграции, которая продолжается почти 30 лет. Она представлена теми, кто уехал из Литвы уже после 1990 г. Это, несомненно, экономические эмигранты, рассеявшиеся по крупным городам США, Великобритании, Норвегии и других европейских стран. В последние годы процесс эмиграции заметно активизировался, и сегодня никто не может назвать точное количество литовских граждан, покинувших свою страну.

Методология. Э. Гидденс говорит, что создание последовательных историй — это спасение себя от чувства бездомности [Giddens]. Именно работы Э. Гидденса об идентичности определяют теоретические основания данного исследования. Другой важный теоретический подход — социология литературы. Литературное поле как «социальное пространство» — центральный термин П. Бурдьё [Бурдьё].

По мнению литературоведа Мариюса Шидлаускаса, малую литературу малой страны можно оценивать только скептически: «Литовская литература, хронически запаздывающая, плетется где-то на периферии. Однозначно. У нас нет фигур мирового уровня (кроме, может быть, Т. Венцловы). Статистика ее переводов на иностранные языки ничтожна (и нет никакой ни стратегии, ни тактики), ее информационная поддержка оставляет желать лучшего, она более чем скромно представлена в иноязычных энциклопедиях и справочниках. У нас нет лауреатов престижных литературных премий, что уж говорить о нобелиатах. На международные фестивали ездят только избранные (да и тех единицы), выбор которых определя-

ется не их значением для родной литературы, а их личными связями и т. д. и т. п.» [Šidlauskas]. Но у того же М. Шидлаускаса есть и оптимистические утверждения: «Литовская литература находится там, где она и должна быть. У нее свое место в одном ряду с другими восточноевропейскими литературами: эстонской, латышской, польской, чешской, словенской и венгерской. А как некомплексующая часть мировой литературы, она стоит в том же ряду, что и американская, немецкая, французская, русская, китайская и т. д. литературы» [Šidlauskas].

Основная часть. Литовский литературный контекст меняется по мере роста масштабов эмиграции: растет как количество текстов, создаваемых за пределами страны, так и их осмысление в литературной критике. Все большее значение получает опыт, полученный за пределами страны. С одной стороны, это опыт постижения новых / других культур, а с другой — этот опыт позволяет осмыслить собственную (литовскую) идентичность, рассматривая ее отражение в американском и западноевропейском «зеркала».

Чтение современных литературных текстов, размышление о них и выявление важнейших контекстов неизбежно приводит нас к необходимости определить место литовской литературы, создаваемой за пределами Литвы и уже не на литовском языке. Это все еще литовская литература или уже американская? Или и (не) та, и (не) другая? Как сегодня писать историю литовской литературы, какие тексты она в себя включает?

Тексты художественной литературы чаще всего подразумевают несколько контекстов. Эти контексты зависят от опыта читателя / слушателя, его способности обнаруживать внутренние связи текстов.

1. «Джунгли» Эптона Синклера как претекст.

В тематическом отношении основным контекстом для литовских писателей последних волн эмиграции стал роман американского писателя и журналиста Эптона Синклера «Джунгли» (*The Jungle*). Это книга о самоидентичности страны, о том, как возникла Америка. Один «миф о происхождении» — ковбойский, или миф о диком Западе, другой вариант — «Джунгли» [Jacevičius]. Это и миф об американской мечте, и в то же время — демифологизация золотого рая.

В романе описываются нечеловеческие условия труда на бывших чикагских бойнях и рассказывается история жизни литовской семьи, живущей в этом районе. Скандальная по тем временам книга вызвала повышенный интерес не только в Америке, но и в Европе — в том же 1906 г. она была переведена на 36 европейских языков, в том числе и на литовский. В Чикаго вышло 2 издания романа — в 1908 и 1912 гг., а в Литве он был издан в 1942 г.

В Чикаго, на перекрестке улиц 42-й и Хальстед, сохранились ворота бойни, на которых установили памятную доску, напоминающую о том,

как в начале XX в. литовцы, наряду с представителями других народов, тысячами приходили сюда в поисках лучшей жизни. На этой доске по-английски написано: «В романе Эптона Синклера “Джунгли”, изданном в 1906 г., описаны ужасающие условия труда за воротами этих боен. История борьбы литовского эмигранта Юргиса Рудкуса за свое человеческое достоинство, рассказанная в произведении, “разбудила” страну, ускорила развитие профсоюзов и подтолкнула власти к принятию Закона о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов. Это место считается литературным памятником». Текст подписали Американская библиотечная ассоциация, Иллинойский книжный центр, общественные организации, потомки автора романа и Совет литовцев Америки.

Роман «Джунгли» — самое известное произведение Эптона Синклера. В нем писатель на примере чикагской бойни показал условия труда работников мясной промышленности США. По словам эмигрантских критиков, созданный романистом образ этого мира оказался настолько убедительным и вызвал такой ужас, что это потрясло не только читателей, но и высокопоставленных политиков [Musteikis].

Главный герой романа Юргис Рудкус в начале XX в. с семьей из 12 человек приехал в Америку, «страну грез», в поисках счастья. За 3 года из-за крайне жестоких условий жизни и труда некоторые члены семьи умерли, другие скатились на самое дно жизни, и только Юргис Рудкус остался несломленным. В романе Э. Синклера нет литовцев, нашедших счастье в Америке. Выживает в итоге лишь Юргис Рудкус, связавший свою жизнь с социалистическим движением.

В своих воспоминаниях и автобиографии Э. Синклер (1878–1968) рассказывает, что подтолкнуло его к написанию «Джунглей» и почему главным героем он сделал литовца. После окончания Колумбийского университета (Нью-Йорк) ему, журналисту, предложили сделать репортаж и рассказать об условиях труда на чикагских бойнях. Осенью 1904 г. он прибыл в Чикаго. Вечера Э. Синклер проводил в домах работников, слушая и записывая их истории, а днем бродил по территории бойни, становясь живым свидетелем тамошней реальности. Писатель беседовал с представителями разных слоев общества, и спустя месяц у него уже было достаточно материалов для статьи. Однако Э. Синклер решил создать об этом художественное произведение. Случайно оказавшись на литовской свадьбе, он нашел там прототипы для своего будущего романа [Sinclair 1962].

В «Джунглях» Э. Синклер показывает, как менялся этнический состав работников чикагских боен. Первыми там закрепились немцы, но после снижения зарплаток они уволились. Их места заняли ирландцы, которые после массовой забастовки тоже отказались от этой работы. Им на смену пришли чехи, потом поляки, которых «выдавили» тысячи литовцев. Последними в этом ряду оказались словаки.

Другие книги Э. Синклера — например, «Метрополис» (другой вариант названия в русском переводе — «Столица») (*The Metropolis*, 1908) о жизни Нью-Йорка, «Нефть» (*Oil*, 1927), «Бостон» (*Boston*, 1928) — тоже написаны с использованием журналистского метода сбора фактов. Синклер написал около 70 произведений, но реализм «Джунглей» оказался непревзойденным. Этот роман и по сей день остается в школах США обязательным для прочтения.

В начале 30-х гг. XX в. Э. Синклер считался одним из наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию, но лауреатом он не стал. Его кандидатура рассматривалась именно в связи с романом «Джунгли», но произведение оценили не столько за литературное мастерство писателя, сколько за пристальное внимание автора к проблемам социального неблагополучия. В 1942 г. роман Э. Синклера «Зубы дракона» (*Dragon's Teeth*, 1942), рассказывающий о зарождении нацизма, принес автору Пулитцеровскую премию.

Художественная убедительность, с которой Э. Синклер показал в «Джунглях» невыносимые условия труда работников и нарушающий всякие гигиенические нормы процесс производства, «спровоцировала» определенные практические результаты. Американские власти во главе с президентом Т. Рузвельтом без промедления приняли Закон о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов. Писатель прежде всего был заинтересован в улучшении условий труда и жизни людей, однако власти были гораздо больше обеспокоены доброкачественностью мясных продуктов. В некоторых странах роман был воспринят именно так. Например, в Германии и Великобритании сразу после выхода книги были введены высокие пошлины на ввоз мяса из Америки, что привело к обвальному падению спроса на произведенные в США мясные консервы. Для американцев роман Э. Синклера стал переломным. Биограф писателя Леон Харрис отмечал в 1975 г., что это самый значимый американский роман. Не лучший, а значимый — в смысле воздействия на общество [Jacevičius].

Мир «джунглей» чикагских боен и попытки литовцев «приручить» негостеприимный край описывали и писатели второй волны эмиграции, например, Але Рута в романе «Первые на чужбине» (*Pirmieji svetur*, 1984). В этом произведении, как и в романе Э. Синклера, рассказывается о жизни литовских иммигрантов в Америке конца XIX — начала XX в.

2. Произведения литовско-американских авторов.

Очевидно, что художественных произведений мирового значения эмигранты последних волн эмиграции пока не создали. Но в Интернете и литовских СМИ более чем достаточно рассказов о том, насколько успешно (или неуспешно) складывается жизнь литовцев в «стране грез». Конечно, появятся об этом и романы, но скорее всего их напишут сами литовцы.

А пока американскую и литовскую литературу связывает новый феномен: литература о Литве, ее культуре и истории создается писателями литовского происхождения, но не на литовском языке (чаще всего на английском и, как правило, в Северной Америке). Можно упомянуть такие произведения, как «Покупки в кредит» (*Buying on the Time*, 1997) Антанаса Шилейки, «Объятие» (*The Embrace*, 1999) Ирены Мачюлите-Гилфорд, «Рожденная быть свободной» (*Born for Freedom*, 2008) Лины Жилените, «Белое поле, черная овца» (*White Field, Black Sheep*, 2010) Дайвы Маркялис, «Заблудшие птицы» (*Lost Birds*, 2015) Бируте Путрюс.

Как пример литературы иного типа, создаваемой в Америке авторами литовского происхождения, стоит назвать детективную серию Джо Дереске «Мисс Жукас» (*Miss Zukas*, 1994), поэтический сборник Лины Рамоны Виткаускас «Неоновое свидание» (*A Neon Tryst*, 2013), роман Сильвии Фоти (*Skullduggery*, 2002), серию фантастических романов Альгиса Будриса «Лукавая луна» (*Rouge Moon*, 1960, etc.) и др., эссе «Прочь из сада» Джозелин Барткявичюс, поэтические тексты и эссе Раймондаса Филипо (Филипавичюса), Дали Янавичюте и др. авторов, создаваемую Юлией Шукис литературу памяти, свидетельств (*Silence Is Death. The Life and Work of Tahar Djaout*, 2007; *Epistolophilia: Writing the Life of Ona Simate*, 2012), романы Лаймы Винце (*Lenin's Head on a Platter. An American Student's Diary from the Final Years of the Soviet Union*, 2008; *This is not my skin*, 2017), Бируте Путрюс (*The Last Book Smuggler*, 2018). Книги многих из этих авторов попадают в рейтинги самых читаемых книг Северной Америки. К примеру, романы А. Шилейки включены в список 100 лучших канадских книг всех времен, фантастические романы А. Будриса номинированы на многие престижные литературные премии США и т. д. Следует обратить внимание на то, что английские тексты, создаваемые авторами литовского происхождения, издаются в Америке и их адресат — это прежде всего американский, а не литовский читатель.

3. «Выбираю язык творчества».

Внимание участников и посетителей Вильнюсской международной книжной ярмарки в 2017 г. было сосредоточено на знаках присутствия литовцев в мире. В дискуссии «Выбираю язык творчества», организованной в рамках этой ярмарки, приняли участие писатель Валдас Папиевис из Франции, эссеистка Даля Стапонкute с Кипра, литературовед профессор Виолетта Келертас и прозаик Бируте Путрис из США. Больше всего их волновал вопрос: на каком языке «думается», какой язык в творчестве является первым — родной литовский или «воспринятый», «взращенный». «Пишу по-литовски, но чувствую, что это не “cool”, когда говорю по-литовски — не могу высказать, выразить всех нюансов», — утверждает профессор В. Келертас, которую увезли в США в возрасте неполных двух лет. Она признается, что самое важное для нее сегодня — не обучить своих

внуков литовскому языку, а формировать их литовскую идентичность через укоренение в истории, понимание политики, через связь людей с тем, что пришлось пережить их родителям, бабушкам и дедушкам. «Литовская идентичность — это не только язык» [Gimbutaitė].

Возникает вопрос о месте англоязычной литературы: где оно — в литературном процессе и истории Литвы или в истории других стран? Хотя, например, романы-бестселлеры Антанаса Шилейки, Руты Шепетис уже вписаны в историю литовской литературы (не только в литературу США и Канады). Об изменении литературного ландшафта свидетельствует значительный массив писателей, создающих и публикующих книги в Америке. Как правило, это творческое наследие авторов, покинувших Литву после Второй мировой войны. Им на смену пришло младшее поколение тех, кто родился уже в Америке, чьим родным языком стал английский, а литовский для них — это язык их предков, но не их самих.

Для авторов, писавших и / или пишущих в рамках диаспоры, точкой отсчета стала трехчленная структура: *земля, язык, история*. Человек, оказавшийся в пространстве другой культуры, в обществе с другим историческим опытом словно раздваивается. В его сознании кристаллизуется внутренняя коллизия между *Я—бывший* и *Я—уже другой*. По утверждениям исследователей эмигрантской идентичности, проблема «двух личностей в одном человеке» зарождается с первого дня эмиграции, влияя на структуру человеческой психики, ее социальный и культурный опыт. Адаптироваться в стране, давшей им приют, разным людям удастся по-разному. Одни могут использовать в своей творческой деятельности сокровищницу родного языка. Другие по разным причинам отказываются от него в пользу другого языка. Эти авторы закрывают дверь в прошлое, хотя не всегда могут от него освободиться. Они по-иному смотрят и на свою родную, покинутую землю (или землю предков). Для них представление о доме включает в себя «выкорчеванное место», поэтому дом создается, творится заново, но не столько как место, сколько как идея. В текстах некоторых авторов пространство родного дома, история своей страны, язык предков все еще остаются основными факторами идентичности, а тоска (ностальгия) (или демонстративное ее отрицание) — основной толчок, «двигатель» идентификации. Дайва Маркялис с книгой воспоминаний «Белое поле, черная овца» вписывается в круг авторов, создающих в Америке тексты мемуарного характера. «Я росла в литовском квартале Цицери в Иллинойсе, по-литовски разговаривала с родителями, посещала субботнюю литовскую школу и скаутский лагерь. Молилась тоже по-литовски. Если бы тогда, когда я училась в 6-ом классе средней школы, кто-нибудь спросил меня, кто я по национальности, я бы, нисколько не сомневаясь, ответила: “Стопроцентная литовка”. Когда я пошла в гимназию, то поняла, что это счастье — родиться в процветающей стране, в которой ува-

жают свободу слова. Я почувствовала себя не только литовкой, но и американкой. Я принадлежу двум культурам. Благодаря своему литовскому происхождению, я пристально слежу за глобальной политикой, пытаюсь сравнивать разные политические системы. Интерес к поэзии и искусству объясняется пережитым в юности соприкосновением с литовской поэзией и искусством. Люблю литовскую еду, даже зная, что она не очень полезна для крови и сосудов. Однако не меньше люблю и американскую культуру, она более открыта для разных типов мышления, более склонна к авантюрам и более оптимистична» [Markelis].

Роман Бируте Путрюс «Заблудшие птицы» словно соткан из подобных житейских историй литовцев, покинувших родину после Второй мировой войны. Эта книга была представлена на Вильнюсской книжной ярмарке в 2017 г. На вопрос, что вдохновило ее на создание романа, автор ответила: «Мне стало очень грустно. Я вспомнила самые разные вещи из своего детства, своей жизни в парке Маркетт и поняла, что должна написать об этом роман. Писала так, чтобы его могли читать и американцы. Чтобы они могли понять, что пришлось пережить нашим соотечественникам, приехавшим в чужую страну» [Petrauskienė].

Роман «Поиски луны в сахаре» (*Finding the Moon in Sugar*, 2009), созданный писателем младшего поколения Каролисом Гинтарасом Жукаускасом, пишущим под псевдонимом Гинт Арас, попал в список лучших книг 2009 г., изданных малыми издательствами США. Следующий его роман «Фуга» увидел свет в 2016 г.

В основе первого романа «Поиски луны в сахаре» — история необразованного жителя чикагского предместья, которого поиски любовницы неожиданно приводят в Вильнюс. Герой второго — чикагский скульптор, обвиненный в убийстве своей матери, этнической литовки. Отвечая на вопрос о своей литовской идентичности, автор сказал: «Если бы литовская идентичность не была для меня важна, по-литовски я бы не говорил, в Литву не приезжал, детей литовскому языку не обучал. Но в своей литовской идентичности я не выделяю такие составляющие. Я родился в Америке, жил в Австрии, работал в Канаде и на Кубе, закончил университет в Нью-Йорке. Моя жена — украинка. Я не выделяю себя из окружающего мира, исходя из своей литовской идентичности. Она дает мне возможность пообщаться с людьми, которые бы в других условиях были для меня недоступны. В этом ее истинная ценность» [Antanavičius].

И все же как ответить на вопрос о месте текстов литовско-американских авторов, т. е. текстов, которые актуализируют противоречия двух культур, двух пространств, двух языков, а зачастую и травму, порожденную двойной идентичностью. Литературе какой страны принадлежат произведения, в которых авторы — этнические литовцы (свое происхождение они все время подчеркивают, от него не отказываются, не отрекаются),

чтобы выразить свою идентичность и отношения с Другим, прибегают к жанру фантастики, иронической стилистике, создают комические ситуации или детективную игру, вступают в гротескно трансформированные отношения с постсоветским пространством и национальной идентичностью? В какую — литовскую или американскую — традицию вписываются эти тексты, в которых почти не осталось никаких проявлений литовскости, кроме имен и фамилий самих авторов и / или главных героев или места действия (Литва)? Где место такой литературы? Наверное, где-то между Литвой и Америкой. А может, все же больше *там*, чем *здесь*?

4. «Литва разбредается по миру».

Американская мечта, стремление начать новую жизнь за Атлантическим океаном остаются важными и для писателей, пишущих в Литве. Например, в романе Бируте Йонушайте «Танго белых молний» (*Baltų užtrauktukų tango*, 2009) эмигрантский опыт изображается через судьбы нескольких героев. Их истории (подчеркивается, что у них есть реальная основа) сплетаются в один общий нарратив, где правду фактов трансформирует фикция.

Главный персонаж романа — Лайма — современная образованная женщина нашего времени, которую приглашают для чтения лекций в США, в Питсбург. Опыт Лаймы в «стране мечты» дополняют опять-таки настоящие, реальные письма Марии, переживания других женщин в Америке. Б. Йонушайте тему эмиграции раскрывает именно на женском опыте, одновременно отыскивая и общий экзистенциальный знаменатель, делая воображаемый мир более конкретным за счет своих личных подлинных воспоминаний о путешествиях в США и Канаду. Таким образом, роман становится полифоническим, многоголосым, а его по-своему как бы скрепляет печатью, подтверждает документированная часть книги — разговоры и воспоминания реальных эмигрантов. В ткань романа, в историю Лаймы, которую мы все же читаем как фикцию, вплетены и вырезки из печати. Критики упоминают, что эта книга, «<...> словно реалити-шоу, действующие лица которого стараются в трудных условиях создать свои человеческие роли, защитить ценность личности...» [Tamošaitis].

В романе Б. Йонушайте исчезающая, рассеивающаяся тень родной страны, родного края выражается в драматических женских судьбах. Традиционно женщина является стабилизирующим культуру, защищающим ее этническое своеобразие фактором, но сегодня, по словам рецензента книги доцента Регимантаса Тамошайтиса, «Литва разбредается по миру как раз больше всего через женщин, для которых на родине словно больше нет места. Отправляясь по миру за деньгами (чего же еще там хотеть?), с собой они забирают культурную память, этническое мировоззрение, опыт старой деревни — как последнюю опору личности. Однако это этническое своеобразие, эта “литовскость” в мире космополитичного капитала стано-

вится очень эфемерной, ее поддерживает только субъективное воображение эмигранта. Скажем даже, чем человеку хуже на чужбине, тем он более “литовский”. “Литовскость” по другую сторону границ этнической Литвы не более чем феноменология субъективной чувствительности, своеобразные очки души, защищающие душу ищущего счастья человека от яркого блеска коммерческого мира» [Tamošaitis].

Страна Америка отличается тем, что в нее попадают навсегда. По словам одного из персонажей книги, «здесь есть выражение: из Америки как с кладбища: никто не возвращается». Однако из простора родной мысли протагонистка романа так и не сумела вырваться.

В романе Б. Йонушайте аксиологические аспекты национальной идентичности неизбежно связаны с открытиями женской идентичности. Одна ночь в аэропорту Портланда, проведенная с почти мистическим мужчиной из ледяных краев — Карлосом Каем, — меняет всю жизнь Лаймы. Вернувшись в Литву, в Вильнюс, она оставляет мужа Ромаса, в одиночку решается растить плод той знаменательной ночи — сына Кая. Когда сын подрос, она вновь возвращается в Соединенные Штаты Америки. Там встречает американца Ричарда, создает новую семью и может радоваться прелестям американской жизни. Сын становится студентом престижного американского университета, но ввязывается в драку, и его осуждают на 18 лет тюрьмы за участие в убийстве.

Сильный мужчина, раскрывающий Лайму как женщину, — не литовец, а мистический испанец, скиталец с особенной душой, встреченный в аэропорту, — Карлос Кай. Ричард — дитя итальянки и литовца, своеобразный культурный гибрид, словно синтетический мужчина.

Выводы. Роман Э. Синклера остается важнейшим контекстным произведением литовско-американских авторов не только в тематическом, но и в жанровом, а также в стилистическом отношении. Англоязычных авторов отличает документальность повествования, реалистичность стиля, наличие автобиографического сегмента. Литература, создаваемая англоязычными этническими литовцами, демонстрирует новый сдвиг: снижение роли языка, на котором создавалась (и создается, конечно) литература. Вместе с тем эта литература, которая читается и осмысливается в англоязычных странах, малоизвестна или совсем неизвестна в Литве именно по причине языкового барьера. Романы, создаваемые авторами литовского происхождения на английском языке, издаются в Америке, и их адресат — это прежде всего американский, а не литовский читатель.

Найти и снова определить свой центр для эмигранта обозначает существенный выбор. Современная литовская эмигрантская литература свидетельствует о том, что этот центр еще не найден и не определен. Оставлены своя страна, дом, ставшие уже чужими, однако домом не становится и чужой край, он не одомашнивается. Поэтому зачастую немного

романтизированная идиллия эмигранта сменяется нотой жалобы, недовольства, разочарования. Миф о хорошей жизни рушится как в своей, так и в чужой стране.

Суть эмигрантской идентичности — расстаться с прошлым и установить и создать новое *Я*. Не рассчитавшись с прошлым, невозможно стать, быть кем-то другим. Так в современной эмигрантской (создаваемой женщинами) литературе пытаются это делать. Вопрос, осложняющий проблему идентификации, — какое *Я* хотят видеть, какое новое, другое *Я* хотят создать. Таким образом, на смену писателям, для которых основой традиционной национальной структуры ценностей был родной язык, приходят пишущие **не** на литовском (чаще всего на английском), и другой язык открывает для них новые культурные возможности.

Перевод Ольги Качеревской

Литература

Бурдые П. Социология социального пространства. Институт экспериментальной социологии, Москва / Общая редакция перевода с французского Н. А. Шматко. Санкт-Петербург: Издательство «АЛТЕЙЯ», 2007. 149 с. URL: http://socioline.ru/files/5/39/sociologiya_socialnogo_prostranstva.pdf.

Эйдинтас А. Литовская эмиграция в страны Северной и Южной Америки в 1868—1940 гг. Вильнюс: Мокслас, 1989. 217 с.

Antanavičius U. Lietuvių kilmės JAV rašytojas: lietuviai Čikagoje gyvena kaip amerikiečiai, tik klausosi M. Mikutavičiaus // 15min.lt. 2016. gegužės 7 URL: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/lietuvium-kilmes-jav-rasytojas-lietuviai-cikagoje-gyvena-kaip-amerikieciai-tik-klausosim-mikutaviciaus-286-620139>.

Budrys A. Rouge Moon. New York: Avon Books (NY), 1960. 188 p.

Dereske J. Miss Zukas and the Library Murders (Miss Zukas #1). New York: Avon, 1994. 218 p.

Foti S. Skuldugery. Missoula: Creative Arts Book, 2002. 239 p.

Giddens A. Modernybė ir asmens tapatumas: asmuo ir visuomenė vėlyvosios modernybės amžiuje / iš anglų kalbos vertė Vytautas Radžvilas. Vilnius: Pradai, 2000. 315 p.

Gimbutaitė M. Kaip kūrybos kalbą renkasi užsienyje gyvenantys autoriai // 15min.lt. 2017. vasario 23 URL: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/kaip-kurybos-kalba-renkasi-uzsienyje-gyvenantys-lietuvium-autoriai-286-759498>.

Gint Aras. Finding the Moon in Sugar. Boston: Infinity Publishing, 2009. 260 p.

Jackevičius M. Knyga, pakeitusi JAV: apie vargstančius lietuvius ir dešras su žiurkiena. Pokalbis U. A. Sinklerio romano "Džiunglės" tyrinėtoju, Iliojaus universiteto Slavų ir baltų kalbų ir literatūros departamento profesoriumi Giedriumi Subačiumi URL: <https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/knyga-pakeitusi-jav-apie-vargstancius-lietuvius-ir-desras-su-ziurkiena.d?id=59442873>.

Jonuškaitė B. Baltų užtrauktukų tango. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. 286 p.

Mačiulytė-Guilford I. The Embrace. Montreal: Guernica Editions, 1999. 150 p.

Markelis D. Interview: Daiva Markelis on memoir // Draft. 2010. № 4. October 8 URL: <https://richardgilbert.wordpress.com/2010/10/08/interview-daiva-markelis-on-memoir/>.

Markelis D. White Field, Black Sheep. Chicago: University of Chicago Press, 2010. 216 p.

Musteikis A. Lietuviškieji "Džiunglių" herojai // Aidai. 1955. Nr. 8. P. 332–382 URL: http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5919:li&catid=363:8-spalis&Itemid=412.

Petrauskienė V. Knygą apie DP rašė amerikiečiams // Pasaulio lietuvis. 2017 URL: <http://pasauliolietuvis.lt/knyga-apie-dp-rase-amerikieciams/>.

Putrius B. Lost Birds. USA: Birchwood Press, 2015. 288 p.

Putrius B. The Last Book Smuggler. USA: Birchwood Press, 2018. 370 p.

Rūta A. Pirmieji svetur. Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje, 1984. 378 p.

Sinclair U. Džiunglės. Vilnius: Aukso žuvis, 2012. 448 p.

Sinclair U. The Autobiography of Upton Sinclair. Harcourt, Brace, & World, 1962. 342 p.

Sukys J. Epistolophilia: Writing the Life of Ona Simaite. Lincoln: University of Nebraska Press; First Edition (US) First Printing edition (March 1, 2012), 2012. 240 p.

Sukys J. Silence Is Death. The Life and Work of Tahar Djaout. Lincoln: University of Nebraska Press, 2017. 202 p.

Šidlauskas M. Kur šiandien yra lietuvių literatūra? // bernardinai.lt. 2014. rugsėjo 8 URL: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-08-marijus-sidlauskas-kur-yra-lietuviu-literatura/121593>.

Šileika A. Buying on the Time. Erin: The Porcupine's Quill, 1997. 232 p.

Tamošaitis R. Išėjusios laimės ieškoti // Metai. 2009. Nr. 12 URL: <http://www.tekstai.lt/rss/570-2009-nr-12-gruodis/5866-regimantas-tamosaitis-isejusios-laims-ieskoti-birute-jonuskaite-baltu-uztrauktuku-tango>.

Truska L. Emigracija iš Lietuvos 1868–1914 metais. Lietuvos TSR MA darbai, serija A, 1(10). Vilnius: Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961. P. 71–85.

Vincė L. Lenin's Head on a Platter. An American Student's Diary from the Final Years of the Soviet Union. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. 186 p.

Vincė L. This is not my skin. New York: Create Space Independent Publishing Platform, 2017. 432 p.

Vitkauskas L. R. A Neon Tryst. Bristol: Shearsman Books, 2013. 84 p.

Žilionytė L. Born for Freedom. Bloomington: AuthorHouse, 2008. 636 p.

References

Burd'e P. Sociologija social'nogo prostranstva. Institut eksperimental'noj sociologii, Moskva / Obsshaya redakciya perevoda s francuzskogo N. A. Shmatko. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo "ALETEJYA", 2007. 149 s. URL: http://socio-line.ru/files/5/39/sociologija_socialnogo_prostranstva.pdf.

Edintas A. Litovskaya emigracija v strany Severnoj i Yuzhnoj Ameriki v 1868–1940 gg. Vil'nus: Moklas, 1989. 217 s.

Antanavičius U. Lietuvių kilmės JAV rašytojas: lietuviai Čikagoje gyvena kaip amerikiečiai, tik klausosi M. Mikutavičiaus // 15min.lt. 2016. gegužės 7 URL: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/lietuviu-kilmes-jav-rasytojas-lietuviai-cikagoje-gyvena-kaip-amerikieciai-tik-klausosi-m-mikutavicius-286-620139>.

Budrys A. Rouge Moon. New York: Avon Books (NY), 1960. 188 p.

Dereske J. Miss Zukas and the Library Murders (Miss Zukas #1). New York: Avon, 1994. 218 p.

Foti S. Skullduggery. Missoula: Creative Arts Book, 2002. 239 p.

Giddens A. Modernybė ir asmens tapatumas: asmuo ir visuomenė vėlyvosios modernybės amžiuje / iš anglų kalbos vertė Vytautas Radžvilas. Vilnius: Pradai, 2000. 315 p.

Gimbutaitė M. Kaip kūrybos kalbą renkasi užsienyje gyvenantys autoriai // 15min.lt. 2017. vasario 23 URL: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/kaip-kurybos-kalba-renkasi-uzsienyje-gyvenantys-lietuviu-autoriai-286-759498>.

Gint Aras. Finding the Moon in Sugar. Boston: Infinity Publishing, 2009. 260 p.

Jackevičius M. Knyga, pakeitusi JAV: apie vargstančius lietuvius ir dešras su žiurkiena. Pokalbis U. A. Sinklerio romano "Džiunglės" tyrinėtoju, Ilinojaus universiteto Slavų ir baltų kalbų ir literatūros departamento profesoriumi Giedriumi Subačiumi URL: <https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/knyga-pakeitusi-jav-apie-vargstancius-lietuvius-ir-desras-su-ziurkiena.d?id=59442873>.

Jonuškaitė B. Baltų užtrauktukų tango. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. 286 p.

Mačiulytė-Guilford I. The Embrace. Montreal: Guernica Editions, 1999. 150 p.

Markelis D. Interview: Daiva Markelis on memoir // Draft. 2010. № 4. October 8 URL: <https://richardgilbert.wordpress.com/2010/10/08/interview-daiva-markelis-on-memoir/>.

Markelis D. White Field, Black Sheep. Chicago: University of Chicago Press, 2010. 216 p.

Musteikis A. Lietuviškieji “Džiunglių” herojai // Aidai. 1955. Nr. 8. P. 332–382 URL: http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5919:li&catid=363:8-spalis&Itemid=412.

Petrauskienė V. Knygą apie DP rašė amerikiečiams // Pasaulio lietuvis. 2017 URL: <http://pasauliolietuvis.lt/knyga-apie-dp-rase-amerikieciams/>.

Putrius B. Lost Birds. USA: Birchwood Press, 2015. 288 p.

Putrius B. The Last Book Smuggler. USA: Birchwood Press, 2018. 370 p.

Rūta A. Pirmieji svetur. Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje, 1984. 378 p.

Sinclair U. Džiunglės. Vilnius: Aukso žuvys, 2012. 448 p.

Sinclair U. The Autobiography of Upton Sinclair. Harcourt, Brace, & World, 1962. 342 p.

Sukys J. Epistolophilia: Writing the Life of Ona Simaite. Lincoln: University of Nebraska Press; First Edition (US) First Printing edition (March 1, 2012), 2012. 240 p.

Sukys J. Silence Is Death. The Life and Work of Tahar Djaout. Lincoln: University of Nebraska Press, 2017. 202 p.

Šidlauskas M. Kur šiandien yra lietuvių literatūra? // bernardinai.lt. 2014. rugsėjo 8 URL: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-08-marijus-sidlauskas-kur-yra-lietuviu-literatura/121593>.

Šileika A. Buying on the Time. Erin: The Porcupine’s Quill, 1997. 232 p.

Tamošaitis R. Išėjusios laimės ieškoti // Metai. 2009. Nr. 12 URL: <http://www.tekstai.lt/rss/570-2009-nr-12-gruodis/5866-regimantas-tamosaitis-isejusios-laims-ieskoti-birute-jonuskaite-baltu-uztrauktuku-tango>.

Truska L. Emigracija iš Lietuvos 1868–1914 metais. Lietuvos TSR MA darbai, serija A, 1(10). Vilnius: Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961. P. 71–85.

Vincė L. Lenin’s Head on a Platter. An American Student’s Diary from the Final Years of the Soviet Union. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. 186 p.

Vincė L. This is not my skin. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 432 p.

Vitkauskas L. R. A Neon Tryst. Bristol: Shearsman Books, 2013. 84 p.

Žilionytė L. Born for Freedom. Bloomington: AuthorHouse, 2008. 636 p.

Сведения об авторе: Жидроне Колевинскене; доктор гуманитарных наук (PhD); доцент; Университет Vytautas Magnus (Литва), доцент Образовательной академии, руководитель группы филологических программ; ORCID 0000-0002-4252-1731; zydronė.kolevinskiene@vdu.lt; сфера научных интересов: анализ текста, современная литература, женская литература, литература диаспоры, литературная компаративистика.

The author's profile: Žydronė Kolevinskiene; PhD (Humanities, Philology); Associate Professor; Vytautas Magnus University (Lithuania); Associate Professor at the Academy of Education, Head of the Philological Programs group; ORCID 0000-0002-4252-1731; zydronė.kolevinskiene@vdu.lt; research interests: text analysis, contemporary literature, women's literature, literature of diaspora, comparative literary studies.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

УДК 821.161.1“18”

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.05

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА В ДРАМАТУРГИИ И. С. ТУРГЕНЕВА

FOLK PROVERBS, SAYINGS AND SOME OTHER GENRES OF FOLKLORE IN I. S. TURGENEV'S DRAMATURGY

Сейран Акопович Джанумов

**Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

Seyran Akopovich Dzhanumov

**Moscow City University,
Moscow, Russia**

Аннотация

Цель статьи — выявление роли и значения народных пословиц и поговорок, а также некоторых других жанров русского фольклора (песен, быличек) в драматургии И. С. Тургенева, т. е. там, где ранее эта проблема не привлекала внимания исследователей.

Из всего проанализированного материала можно сделать вывод, что пословицы и поговорки (реже — песни и былички) являются элементами стиля драматургии Тургенева. Принципы использования фольклора в различных пьесах Тургенева не одинаковы. Иногда пословицы и поговорки привлекаются для характеристики ситуации, воссоздания местного колорита, для раскрытия личности и психологии того или иного персонажа, особенностей его речи. Порой автор пьес стремится расцветить реплики персонажей, обильно используя малые жанры фольклора, а иногда народные песни и былички. В некоторых комедиях пословицы и поговорки оттеняют и усиливают основную мысль произведения, естественно и ненавязчиво вплетаются в речь персонажей.

Ключевые слова: драматургия И. С. Тургенева, пословицы и поговорки, песни и былички, стиль, принципы использования фольклора.

Abstract

The purpose of the article is to reveal the role and significance of folk proverbs and sayings, as well as of some other genres of Russian folklore (songs, memorates) in I. S. Turgenev's dramaturgy, that is, where earlier this problem did not attract the attention of researchers.

Quite a lot of proverbs and sayings in one of Turgenev's most famous plays — a comedy in five acts *A Month in the Village* (1850), where action takes place in a noble manor. And although in the center of the dramatic conflict of the play is a commoner, a student Belyaev (it is worth mentioning that this play was originally called *Student*), but there are no proverbs and sayings in any of his cues. But other characters in the play quite often use them in their speech. It is, first of all, Rakitin, who loves his friend's wife, Natalya Petrovna, a wife of a wealthy landlord Islaev. In every action of comedy *A Month in the country* in the cues of certain characters the author aptly uses folk proverbs and sayings. And not only proverbs and sayings, but also folk songs.

Summing up the works reviewed in our article, we can conclude that proverbs and sayings (less often — songs and memorates) are elements of Turgenev's dramatic style. The principles of using folklore in various Turgenev's plays are not the same. Sometimes proverbs and sayings are used to describe the situation, recreate the local colour, to reveal the personality and psychology of a particular character, especially the characteristics of his (her) speech. Sometimes the author of the plays tends to embellish the replicas of the characters, using abundantly the small genres of folklore, and sometimes folk songs and memorates. In some comedies proverbs and sayings emphasize and reinforce the basic idea of the work, are naturally and unobtrusively intertwined in the speech of the characters.

In his dramaturgy Turgenev transforms in his own way, and sometimes reinterprets traditional folklore images and motifs, often paraphrases folk proverbs and sayings in accordance with the ideological conception of the work and its poetics. From the treasury of the people's speech Turgenev chooses words and expressions, phraseological phrases rich in semantic nuances, folklore comparisons that give the characters' cues a special mettle, brilliance and expressiveness. The creative development and use of different genres of Russian folklore in Turgenev's plays testifies to the excellent knowledge of the traditions of oral folklore by the author, and, possibly, the folklore collections of his and the previous time, which was even more evident in the *Notes of the Hunter*.

Key words: I. S. Turgenev's dramaturgy, proverbs and sayings, songs and memorates, style, the principles of using folklore, characteristics of speech.

Введение. Цель статьи — выявление роли и значения народных пословиц и поговорок, а также некоторых других жанров русского фольк-

лора (песен, быличек) в драматургии И. С. Тургенева, т. е. там, где ранее эта проблема не привлекала внимания исследователей. Тема «И. С. Тургенев и фольклор» не новая в литературоведении и фольклористике, хотя, на наш взгляд, все еще недостаточно полно и всесторонне исследованная. После статей М. К. Азадовского [Азадовский: 395–437], Ф. Я. Приймы [Прийма: 366–383] новых и заметных работ по указанной выше проблеме не появлялось. Правда, в 2001 г. в Иванове была защищена кандидатская диссертация В. В. Ильиной «Принципы фольклоризма в поэтике И. С. Тургенева», но там речь идет больше о таких вопросах, как «Хронотоп русской культуры в “Записках охотника” И. С. Тургенева», «Становление “русской формы” рассказа в русской литературе XIX века», «Проблема становления жанра социально-универсального романа в творчестве И. С. Тургенева. “Дым” как роман-испытание», «“Таинственные повести”»: проблема реализации архетипа в структуре фантастического — интерес к мифологической прозе» (мы воспроизводим формулировки названий глав и отдельных параграфов указанной диссертации), т. е., по существу, о вопросах, опосредованно связанных с фольклоризмом писателя.

Ставя перед собой цель — «<...> показать, как менялась жанровая система И. С. Тургенева в результате творческой эволюции и “опозиционного” отношения к фольклору, как в результате такого спора-диалога шло формирование его эстетического идеала», автор диссертации во введении полемизирует с известным фольклористом Н. И. Савушкиной: «Так, например, Н. И. Савушкиной принадлежит подробное описание форм так называемого “открытого” фольклоризма: стилизация, прямое цитирование, использование сюжетов и образов фольклора. Однако в ходе острых дискуссий о роли и значении фольклора в развитии литературы сами авторы понимают необходимость углубления понятия фольклоризма» [Ильина: 1], — и вслед за А. А. Гореловым считает, что выявление «цитат», «стилизаций» отходит в прошлое [Ильина: 2].

Но нам представляется, что, прежде чем перейти «<...> к углубленному исследованию сложных видов взаимосвязи фольклора и литературы <...>» [Ильина: 2–3], необходимо все-таки накопить конкретный и ранее не изученный материал в области т. н. «открытого» фольклоризма: прямого цитирования, раскрытия художественных функций тех или иных жанров фольклора в творчестве писателя. А потом уже переходить к «<...> анализу сознательного и бессознательного использования писателем фольклорной поэтики, вплоть до самых незаметных и опосредованных форм» [Ильина: 3].

Методология. Проблема творческих взаимосвязей литературы и фольклора стала объектом специального научного рассмотрения во многих мо-

нографиях и статьях, учебных пособиях. У истоков изучения данной проблемы стоял М. К. Азадовский. Уже в своей ранней книге «Литература и фольклор. Очерки и этюды» (Л., 1938) он указывал, что ряд важнейших историко-литературных проблем не может быть разрешен без обращения к фольклорному материалу. В книге М. К. Азадовского «Статьи о литературе и фольклоре», вышедшей в свет в 1960 г., уже после смерти ученого, проблеме фольклоризма русских писателей был посвящен целый ряд статей.

Особенно большой вклад в разработку интересующей нас проблемы за последние полвека внесло четырехтомное фундаментальное исследование Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, в котором эти взаимоотношения прослеживаются на протяжении XI–XIX вв.: «Русская литература и фольклор (XI–XVIII вв.)» (Л., 1970), «Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.)» (Л., 1976), «Русская литература и фольклор (вторая половина XIX в.)» (Л., 1982), «Русская литература и фольклор (конец XIX в.)» (Л., 1987). В этих четырех сборниках удачно синтезированы историко-литературный и фольклористический аспекты изучения проблемы, показано многообразие форм использования народнопоэтических традиций в творчестве отдельных писателей, раскрыты роль и значение фольклора в становлении и развитии русской литературы. Именно работы М. К. Азадовского, а также авторов указанного четырехтомного исследования определили теоретические основания данной статьи.

Основная часть. Иногда пословица (как это потом будет не раз в творчестве А. Н. Островского) вынесена в заглавие пьесы Тургенева. Например, комедия в одном действии, написанная в 1847 г. и впервые опубликованная в № 11 журнала «Современник» за 1848 г., названа в форме пословицы: «Где тонко, там и рвется» [Тургенев 1979а: 73] (ср. у И. М. Снегирева: «Где тонко, там и рвется, а где худо, тут и порется» [Снегирев: 80]). И затем данная пословица еще раз прозвучит в концовке этой комедии в реплике одного из ее персонажей — Мухина — в качестве назидательной моральной сентенции, своеобразного нравоучения, заимствованного из народной мудрости: «М у х и н *(становясь на место m-lle Bienaïte, на ухо Горскому)*. Хорошо, брат, хорошо: не робеешь... а сознайся, где тонко, там и рвется» [Тургенев 1979а: 112].

Пословичное название комедии Тургенева всячески обыгрывалось в театральной и литературной критике, где наряду с положительной оценкой пьесы и признанием драматургического таланта ее автора иногда звучали и критические высказывания. Так, петербургский комический актер, водевилист и мемуарист П. А. Каратыгин свои впечатления от пьесы Тургенева отразил в довольно язвительной эпиграмме:

Тургенев хоть у нас и славу заслужил,
 На сцене же ему не слишком удастся!
 В комедии своей он так перетончил,
 Что скажешь нехотя: где тонко, там и рвется
 [цит. по: Тургенев 1979а: 579].

А Аполлон Григорьев в статье «И. С. Тургенев и его деятельность» (впервые: «Русское слово», 1859, № 5, отд. «Критика». С. 23–25) неудачу самой пьесы и ее постановки на петербургской и московской сценах объяснял подражанием автора комедии т. н. «драматическим пословицам» Альфреда де Мюссе: «Авторы всех подобных произведений стремились к *тонкости* (здесь и ниже курсив А. Григорьева. — С. Д.). Тонкость была повсюду: тонкость стана героинь, тонкость голландского белья, и т. д. — *тонкость*, одним словом, и притом такая, что стан, того и гляди, напомнит жердочку в народной песне: “Тонка-тонка — гнется, боюсь — переломится”» [Цит. по: Тургенев 1979а: 580].

Размышляя об идейно-художественной функции пословицы «Где тонко, там и рвется» в пьесе Тургенева, Л. М. Лотман раскрывает причины ее использования: «Пословица, которой озаглавлена комедия, содержит, помимо своего прямого смысла — иронии, направленной на преувеличение значения утонченной, элитарной культуры, дополнительный смысл насмешки над самой формой пьесы-пословицы, которая разрушается при вторжении самой небольшой дозы подлинного, жизненного драматизма» [Лотман: 503].

Пословицы и поговорки иногда звучат в этой комедии Тургенева и в репликах других персонажей: Евгения Андреевича Горского, влюбленного в Веру Николаевну, 19-летнюю дочь помещицы Либановой, но так и не решившегося сделать этой девушке предложение (неслучайно Горский сравнивает себя с героем «Женитьбы» Н. В. Гоголя — Подколесиным): «Жениться? Нет, я не женюсь, что там не говорите, особенно так, *из-под ножа* (здесь и ниже курсив наш. — С. Д.). <...> Может быть, мне же лучше будет, если она выйдет замуж за... (Горский не договаривает, за кого, но мы догадываемся, что он имеет в виду Владимира Станицына, что и происходит в финале пьесы. — С. Д.). Ну, нет, это пустяки... Мне тогда *не видать ее, как своих ушей*...» [Тургенев 1979а: 96].

В конце пьесы Вера говорит про своего жениха Станицына, подчеркивая его простодушие и открытость: «У него что на сердце, то и на языке» [Тургенев 1979а: 109] (перефразируя пословицу: «Что на уме, то и на языке» [Снегирев: 284]).

В главе VIII «Роль фольклора в развитии русской драмы» коллективной монографии «Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.)» Л. В. Черных замечает по поводу рассматриваемой комедии: «Пословица

в заглавии пьесы также подчинена характеристике героя — “тонкого человека”. Получив “щелчок” от девушки, с которой он намеревался вести “тонкую” игру, Горский старается утешиться мефистофельской ролью, испытывает эту роль на своем сопернике (Владимире Станицыне. — С. Д.)» [Черных: 441].

Немало пословиц и поговорок содержится и в других пьесах Тургенева. Так, в одноактной комедии «Неосторожность» (1843), несмотря на ее испанский колорит (в первоначальной, но затем исключенной при подготовке пьесы к печати ремарке было: «Действие происходит в Испании, в XVIII веке»), лишь раз встречается русская пословица. Один из персонажей пьесы, Дон Пабло, тайно влюбленный в жену своего друга донью Долорес, упрекая ее мужа дона Бальтазара в трусости, перефразирует известную пословицу: «Чужими руками жар загребать так покойно, так удобно! а? дружище?» [Тургенев 1979а: 35] (ср. у В. И. Даля: «Легко чужими руками жар загребать» [Пословицы: 610]).

Появление русской пословицы в пьесе из испанской жизни неслучайно. Л. М. Лотман так объясняет связь этого «драматического очерка» Тургенева с натуральной школой: «Несмотря на то, что Тургенев изображает Испанию и нравы его героев не похожи на нравы современных русских людей, изучение и изображение которых натуральная школа считала своей главной задачей, пьеса Тургенева связана с этим литературным течением» [Лотман: 487].

Нам представляется, что введение народной пословицы в одну из реплик испанского дворянина дона Пабло способствует не только раскрытию лицемерного поведения этого персонажа, но и психологии ревнивого и трусливого мужа доньи Долорес, вольно или невольно ставшей жертвой прихотей и эгоистических интересов волокиты дона Рафаэля и всех остальных «влюбленных» в нее героев пьесы, для которых донья Долорес — только объект удовлетворения их низменных страстей.

Еще одна русская пословица встречается в небольшой пьесе Тургенева «Безденежье» с подзаголовком: «Сцены из петербургской жизни молодого дворянина» (1845), местами напоминающей гоголевского «Ревизора», особенно при изображении ее главного героя Тимофея Жизикова, которого осаждают кредиторы: русский купец, немец-сапожник, француз-художник и др. Так же, как и у Хлестакова, в Тимофее Жизикове обнаруживается смесь отчаяния от отсутствия денег и бахвальства, презрения ко всем тем, которым он сильно задолжал. Откровенная неприязнь Жизикова ко всему отечественному, в том числе и к русским мебельщикам, особенно сильно проявляется в следующей реплике: «Вперед буду все мёбели (даже в произношении этого слова на французский манер видна претензия Жизикова на светскость и образованность. — С. Д.) брать у Гамбса. Терпеть не могу русской работы. Уж эти мне козлиные бороды! Дешево

да гнило» [Тургенев 1979а: 54] (ср. у И. М. Снегирева: «Дешево да гнило, дорого да мило» [Снегирев: 92]). Одна первая часть данной пословицы вкупе со всеми остальными презрительными репликами этого персонажа прекрасно характеризует амбициозность, спесь промотавшегося дворянского щеголя и вертопраха.

Следующая пьеса Тургенева, где пословица встречается только один раз, это комедия «Нахлебник» (1848) (впервые опубликовано под заглавием «Чужой хлеб»: Современник, 1857. С. 81–133). Это первоначальное название пьесы могло быть навеяно фрагментом из «Пиковой Дамы» А. С. Пушкина: «Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца...» [Пушкин: 233]. Но, возможно, это первоначальное название пьесы восходит к народным пословицам: «Чужой хлеб петухом в горле запоем (поет)» [Снегирев: 287]; «Чужой хлеб горек. Чужим кусом подавишься», «Чужой хлеб рот дерет. Чужой кус в рот нейдет» [Пословицы: 616]).

В первом действии пьесы главный персонаж Василий Семенович Кузовкин (обозначенный в списке действующих лиц как «дворянин, проживающий на хлебах у Елецких»), беззащитное и униженное существо, играющее роль шута среди соседских помещиков, невольно проговаривается, заявляет о своих отцовских правах на Ольгу Петровну Елецкую, выдает ее тайну рождения. Но, осознав, что он наделал, и боясь причинить вред своей незаконной дочери, во втором действии пьесы, оставшись один, с испугом произносит пословицу: «Язык мой — враг мой» [Тургенев 1979а: 166] (ср. у И. М. Снегирева: «Язык враг, прежде ума глаголет»; «Язык лепечет, а голова не ведает»; «Язык наш враг наш» [Снегирев: 294], у В. И. Даля: «Язык болтает, а голова не знает»; «Язык наперед ума рышет» [Пословицы: 410]).

В комедии Тургенева «Холостяк» (1849) пословицами и поговорками пересыпана живая и образная речь ее главного героя — мелкого петербургского чиновника, коллежского ассессора Михайлы Ивановича Мошкина, который в перечне действующих лиц охарактеризован автором как «живой, хлопотливый, добродушный старик», хотя прямо перед этой фразой указан его не такой уж преклонный возраст: «50 лет» [Тургенев 1979а: 174]. Рассказывая историю «простой русской девушки» Марьи Васильевны Беловой, сироты, проживающей у Мошкина, Михайло Иванович как бы невзначай упоминает, что у тетки Маши — Екатерины Савишны Пряжкиной «гроша нет за душой медного» [Тургенев 1979а: 181] (ср. у В. И. Даля: «Гроша нет за душой...», «Ни ломаного гроша. Ни слепой полушки» [Пословицы: 89]). Он же при внезапном появлении Маши произносит поговорку: «А! легка на помине!..» [Тургенев 1979а: 183].

Когда Мошкину кажется, что жених Маши Петр Ильич Вилицкий (охарактеризованный в списке действующих лиц как «нерешительный,

слабый, самолюбивый человек») в какой-то момент раздумал жениться на сироте, но потом одумался, решился (как мы узнаем из дальнейшего хода пьесы, предполагаемая свадьба расчетливого Вилицкого с Машей все-таки не состоится), Михайло Иванович к месту вспоминает народную пословицу (правда, произносит ее в усеченной форме): «Ну, конечно, Петруша, конечно... Кто прошлое помянет, тому, ты знаешь...» [Тургенев 1979а: 220] (Мошкин не договаривает вторую половину пословицы, которая хорошо известна и так: «...тому глаз вон») (ср. у И. М. Снегирева: «Кто старое помянет, тому глаз вон» [Снегирев: 146]).

В том же диалоге с Вилицким Мошкин в качестве своеобразного морального наставления использует еще одну пословицу: «Ведь век вместе прожить — не поле перейти» [Тургенев 1979а: 221] (ср. у И. М. Снегирева: «Век прожить, не поле перейти» [Снегирев: 76]. Кстати, в сборнике Снегирева приводится и много других вариантов второй половины, продолжения этой пословицы: «не море переплыть, не торбу сшить, не лапоть сплести, не рукой махнуть» [Снегирев: 492]).

Особенно много пословиц и поговорок встречается в речи персонажей «Холостяка» в третьем действии комедии. Так, Филипп Егорович Шпундик (которого автор пьесы в перечне действующих лиц представляет следующим образом: «помещик, 45 лет. С претензией на образованность» [Тургенев 1979а: 174]) настороженно и с опаской отзывается о петербургских нравах и людях, употребляя расхожую поговорку: «<...> а только с вами держи ухо востро <...>» [Тургенев 1979а: 225].

Другой персонаж комедии, тетка Маши — Пряжкина — почти в каждой реплике украшает свою речь образными выражениями, пословицами и поговорками, причем всегда приводит их к месту, в соответствии с определенной ситуацией: «А я всегда говорила: не быть в этой свадьбе проку, ох, не быть проку, ох, не быть...»; «а свои вот в грош меня теперь не ставят» [Тургенев 1979а: 232]; «Денег у них (в семье ее покойной дочери. — С. Д.) не было: конечно, это неприятно; но бедность не порок» [Тургенев 1979а: 233] (ср. у И. М. Снегирева: «Бедность не грех, а приводит в посмеях», «Бедность не порок» [Снегирев: 57]); «На грех мастера нет, батюшка Филипп Егорыч... <...> У меня в предмете был человек, то есть я вам скажу, просто первый сорт — что в рот, то спасибо <...> Да что! Теперь всё это в воду кануло» [Тургенев 1979а: 235] (ср. у И. М. Снегирева: «На грех мастера нет»; «Что в рот, то спасибо» [Снегирев: 170; 283]; у М. И. Михельсона: «(словно) в воду кануть (бесследно исчезнуть)» [Михельсон: 145].

Не уступает Пряжкиной в народном красноречии и Мошкин: «Эх, Катерина Савишна! Надоели вы мне пуше горькой редьки» [Тургенев 1979а: 237]; «<...> а у меня голова кругом идет» [Тургенев 1979а: 238]; «И как это я, право, вдруг так, с бухта-барахты» [Тургенев 1979а: 242]; «Или нет! Нет! Как бы не сглазить...» [Тургенев 1979а: 252].

Даже обычно немногословная Маша нет-нет да и вспомнит к месту ту или иную пословицу и поговорку: «Все скажут: <...> Она ведь воспитанница, приемыш: даром хлеб ест <...> Даровой хлеб, звать вкусен» [Тургенев 1979а: 245] (ср. у В. И. Даля: «Свой хлеб приедчив. Чужой ломоть лаком»; «Даровое лычко краше купленного ремешка» [Пословицы: 614]); «У меня голова кругом идет» [Тургенев 1979а: 249].

В комедии «Завтрак у предводителя» (1849), в центре которой спор между помещиками о размежевании угодий, пословиц и поговорок почти нет, но есть фразеологические сращения, созданные автором пьесы по образцу малых жанров фольклора («Трава везде расти может») [Тургенев 1979а: 277], а также очень популярный и часто встречающийся просторечный фразеологизм. Один из персонажей комедии — отставной поручик Алупкин, когда упрямство бестолковой помещицы Кауровой не позволяет так или иначе разрешить конфликт, иронически подытоживает: «Как говорится, ни тпру ни ну!» [Тургенев 1979а: 277] (ср. у М. И. Михельсона: «Ни тпру, ни ну (иноск.) ни так, ни этак — ничего не действует, — ни с места» [Михельсон: 699]; у И. М. Снегирева: «Ни шатко, ни валко, ни на сторону» [Снегирев: 199]).

Довольно много пословиц и поговорок в одной из самых известных пьес Тургенева — комедии в пяти актах «Месяц в деревне» (1850), действие которой происходит в дворянской усадьбе. И хотя в центре драматического конфликта пьесы поставлен разночинец, студент Беляев (показательно, что эта пьеса Тургенева первоначально называлась «Студент»), но ни в одной из его реплик пословицы и поговорки не встречаются. Зато другие персонажи пьесы довольно часто используют их в своей речи. Это прежде всего Ракитин, влюбленный в жену своего друга, богатого помещика Ислаева — Наталью Петровну. Уже в первом действии комедии Ракитин в диалоге с Натальей Петровной перефразирует часто употребляемую пословицу: «Чужая душа — темный лес» [Тургенев 1979а: 293] (ср. у В. И. Даля: «Чужая душа — загадка. Чужая душа — потемки»; «В чужую душу не залезешь. Чужая душа — дремучий бор» [Пословицы: 616]).

Далее в том же диалоге из уст Ракитина невольно вырывается еще одна поговорка, обращенная к Наталье Петровне, которая флиртует с ним, то приближая, то отдаляя его от себя: «Р а к и т и н. Наталья Петровна, вы играете со мной, как кошка с мышью... Но мышь не жалуется. Н а т а л ь я П е т р о в н а. О, бедный мышонок!» [Тургенев 1979а: 293–294] (ср. у М. И. Михельсона: «Играть, как кошка с мышью» [Михельсон: 358]). Впоследствии в повести «Первая любовь» (1860) Тургенев еще раз использует эту полюбившуюся ему поговорку, воссоздавая психологию и взаимоотношения центральных персонажей — Володи и Зинаиды, очень напоминающие поведение Натальи Петровны с Ракитиным: «А Зинаида играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной — и я волно-

вался и таял, то она вдруг меня отталкивала — и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее» [Тургенев 1981: 329].

В действии втором «Месяца в деревне» доктор Шпигельский советует Большинцову, сватающемуся за воспитанницу Натальи Петровны — Верочку, которая на 31 год моложе его: «Смотрите же! Не ударьте лицом в грязь» [Тургенев 1979а: 326] (ср. у И. М. Снегирева: «Ударил лицом своим в грязь, хоть и князь» [Снегирев: 259]). В том же диалоге Большинцов, не зная, как начать разговор с Верочкой, просит совета более опытного в обращении «с женским полом» Шпигельского: «Говорят, в этих делах лиха беда начать, так нельзя ли того-с, мне для вступления в разговор — словечко, что ли, сообщить...» [Тургенев 1979а: 328] (ср. у В. И. Даля: «Лиха беда начало. Лиха беда почин»; «Доброе начало — полдела откачало. Доброе начало — половина дела» [Пословицы: 495]).

В действии третьем Наталья Петровна, влюбленная в Беляева, несколько лицемеря, проявляет напускное беспокойство за судьбу не искушенной в жизни и в любви Верочки. Она говорит Беляеву: «Но вы понимаете, что моя обязанность была предупредить вас. Играть огнем всё-таки опасно...» [Тургенев 1979а: 355] (ср. у В. И. Даля: «Со мной (С ним), как с огнем играть»; «Не шути с огнем, обожжешься. Не топора бойся, а огня» [Пословицы: 670]).

В действии четвертом Шпигельский, разговаривая с компаньонкой Лизаветой Богдановной о Ракитине, который впал в уныние, потерял надежду завоевать расположение Натальи Петровны, насмешливо произносит: «И Ракитин, чай, нос на квинту повесил?», на что Лизавета Богдановна также отвечает, используя известный и часто употребляемый (в том числе и у Тургенева) фразеологизм: «Да, он сегодня тоже как будто не в своей тарелке» [Тургенев 1979а: 360] (в комедии «Где тонко, там и рвется» Горский приводит иной вариант данного фразеологизма: «И точно, да здравствует насмешливость, веселость и злость! Вот я опять в своей тарелке» [Тургенев 1979а: 111]).

В том же диалоге Шпигельский, в обычной своей иронической манере делая предложение Лизавете Богдановне, перефразирует пословицу: «Вы, в девицах будучи, маленько окисли, да ведь это не беда. У хорошего мужа жена что мягкий воск» [Тургенев 1979а: 361] (ср. у В. И. Даля: «У милостивого мужа всегда жена досужа» [Пословицы: 369]).

В действии пятом мать Ислаева Анна Семеновна, предупреждая своего сына, что Наталья Петровна может изменить ему с Ракитиным, и видя тщетность своих намеков, произносит поговорку: «Я тебя предупредила, долг исполнила — а теперь — как воды в рот набрала» [Тургенев 1979а: 379] (ср. у В. И. Даля: «Молчит, как стена (как пень, как воды в рот набрал)» [Пословицы: 515]). В той же сцене, продолжая разговор с сыном, Анна Семеновна, понимая, что своими предостережениями она так ничего

и не добила, в сердцах употребляет еще одну поговорку: «Ну — молчу, молчу! Да и где мне, старухе? Чай, из ума выжила!» [Тургенев 1979а: 380] (ср. у В. И. Даля: «Из ума выжил. Он ум свой прожил» [Пословицы: 438]).

В том же пятом действии после разговора с Ракитиным Ислаев, удивившись, что все его подозрения безосновательны, припоминает подходящую к ситуации пословицу: «Камень у меня ты снял с сердца...» [Тургенев 1979а: 383] (ср. у В. И. Даля: «Камень от сердца отвалился» [Пословицы: 154]). А в конце пятого действия, все-таки до конца не доверяя Ракитину, Ислаев вспоминает другую пословицу: «Не ожидал, брат. Словно буря в ясный день. Ну, перемелется... мука будет» [Тургенев 1979а: 394–395] (ср. у В. И. Даля: «Не тужи: перемелется — все мука будет» [Пословицы: 153]). И, наконец, в финале пьесы, узнав, что учитель его сына Коли, студент Беляев, проводя только месяц в его поместье, также неожиданно покидает его дом, и до конца не понимая, в чем причина этого неожиданного отъезда, Ислаев в смятении произносит: «Я? Я ничего не понимаю. У меня голова кругом идет» [Тургенев 1979а: 396] (вспомним одну из финальных реплик Маши в комедии «Холостяк»: «У меня голова кругом идет» [Тургенев 1979а: 249]).

Таким образом, в каждом действии комедии «Месяц в деревне» в репликах тех или иных персонажей употребляются к месту народные пословицы и поговорки. И не только пословицы и поговорки, но и народные песни. Так, в действии втором комедии молодая служанка Катя, также влюбленная в Беляева, исполняет довольно большой отрывок песни: «Не огонь горит, не смола кипит, / А кипит-горит ретиво сердце...» [Тургенев 1979а: 311]. И когда Беляев ей подпевает: «А кипит-горит по красной девице...», Катя, *краснея* (авторская ремарка. — С. Д.), замечает: «У нас она не так поется» [Тургенев 1979а: 311]. Но художественные функции народных песен в драматургии Тургенева остаются за рамками нашего исследования. Тем не менее трудно согласиться с суждением Л. В. Черных в указанной выше главе коллективной монографии: «Еще дальше от народного творчества стоят психологические драмы “Холостяк” и “Месяц в деревне”. Видимая связь с народным театром, с фольклором, имевшая место в “Безденежье” и “Завтраке у предводителя”, здесь обрывается» [Черных: 441]. Думается, что представленный в нашей статье материал опровергает эту точку зрения.

В комедии «Провинциалка» (1850) пословица используется только один раз, но зато в один из решающих моментов действия. Дарья Ивановна Ступендьева, мечтающая переехать из уездного города в Петербург и найти там выгодное место для своего мужа — уездного чиновника, готовится к решающему разговору с влиятельным графом Любиным, при помощи которого и надеется реализовать свой план. В то же время, досадуя на себя, что она вынуждена ради этой цели кокетничать с графом («<...>

а он меня знал двенадцать лет тому назад, волочился за мною...»), Дарья Ивановна произносит следующую реплику: «Неужели это я так холодно, так спокойно обдумываю, что мне должно делать? *Нужда всему научит и от многого отучит* (курсив наш. — С. Д.)» [Тургенев 1979а: 412] (ср. варианты этой пословицы в сборнике И. М. Снегирева: «Нужда научит Богу молиться»; «Нужда острит разум»; «Нужда смекает делом» [Снегирев: 200], в сборнике В. И. Даля: «Нужда научит кузнеца сапоги тачать»; «Нужда научит горшки узнавать (*или*: обжигать)» [Пословицы: 93]).

Правда, Аполлон Григорьев был не совсем доволен сценами «объяснения Дарьи Ивановны с графом», хотя и признавал, что они «принадлежат к лучшим местам комедии». В своей рецензии на «Провинциалку» Тургенева (журнал «Москвитянин», 1851, № 5. С. 71) Аполлон Григорьев писал: «Мы должны сказать, что и эти сцены, несмотря на свое достоинство, принадлежат к фальшивому роду. Они как будто написаны на тему: хитрость женщины или что-нибудь другое — одним словом, совершенно однородны с теми *пословицами в действии* (курсив Аполлона Григорьева. — С. Д.), которые так легко пишутся французами» [Цит. по: Тургенев 1979а: 671].

Несколько пословиц и поговорок, а также фрагментов народных песен и быличек мы находим в сцене «Разговор на большой дороге» (1850), посвященной знаменитому московскому актеру П. М. Садовскому. Так, в ответ на реплику своего барина Михрюткина («Ты сердисься на меня?») кучер Ефрем говорит: «Господин, например, гневаться изволит. Так что ж? — *Где гнев, там и милость* (здесь и ниже курсив наш. — С. Д.)» [Тургенев 1979а: 450] (ср. у И. М. Снегирева: «Где гнев, тут и милость» [Снегирев: 77], у В. И. Даля: «У часу гнев, у часу милость» [Пословицы: 129]).

Продолжая беседу с Михрюткиным, Ефрем, всячески показывая, что он не сердится на своего господина за его бесконечные попреки, делает это при помощи пословиц и поговорок: «*За всяким толчком, не токмя что за побранкой — не угоняешься*. Вы сами знаете: *быль, что смола, небыль, что вода*» [Тургенев 1979а: 450] (ср. у В. И. Даля: «Не за всяким тычком гонись»; «На каждый час побранки не напасешься»; «Быль — что смола, а небыль — что вода» [Пословицы: 263, 760, 186]).

Когда у Михрюткина заходит с Ефремом разговор о жене своего кучера и барин хвалит ее («Я, с своей стороны, ею доволен. Она скотница хорошая»), Ефрем осторожно отвечает, используя известную пословицу: «Недаром в пословице говорится: не верь коню в поле — а жене в доме» [Тургенев 1979а: 457] (ср. у В. И. Даля варианты этой пословицы, отражающие домостроевское отношение мужа к жене: «Не верь коню в поле (в холе), а жене в воле (в доме)»; «Не верь жене в подворье, а коню в дороге»; «Воля и добрую жену портит» [Пословицы: 373]).

А немного выше, не советуя своему барину производить невыгодный обмен лошадьми при продаже «коренной», Ефрем вспоминает к месту по-

словицу: «Эдак менять нехорошо. Надо без придачи менять — ухо на ухо» [Тургенев 1979а: 446] (ср. у В. И. Даля: «Менять ухо на ухо. Рыло на рыло. Баш на баш» [Пословицы: 535]).

Довольно выразительна и красочна речь не только у кучера, но и у барина. Раздраженный неудачной поездкой в город и недовольный своими слугами, Михрюткин им выговаривает и сетует на судьбу, пересыпая свою речь пословицами и поговорками: «Вы все меня за грош готовы продать — ей-ей! <...> Скоро, скоро, сложу я свою головушку. <...> Уж я себя знаю; знаю я свое счастье; выеденного яйца оно не стоит, мое счастье-то» [Тургенев 1979а: 448, 451] (ср. у В. И. Даля: «Продал душу ни за овсяный блин»; «Наши барыши — одни медные гроши» [Пословицы: 180, 528]; «Сложить голову; — головушку; — буйную головушку» [Пословицы: 287]; «Не стоит ни деньги; ни гроша; ни копейки; ни полушки; ни шелега; не стоит выеденного яйца» [Пословицы: 534]).

Большое место в рассматриваемой пьесе Тургенева занимает сон Ефрема, рассказанный им Михрюткину, о русалке, его былички о других мифологических персонажах русского фольклора: домовом, «марухах». И когда Михрюткин спрашивает его: «Марухи? Это что еще такое?», Ефрем ему со знанием дела и в полной уверенности в их существовании разъясняет: «А вы не знаете? Старые такие, маленькие бабы, по ночам на печках сидят, пряжу прядут, и всё эдак подпрыгивают да шепчут» [Тургенев 1979а: 455].

Не менее колоритно описывает он русалку и домового. Вот как Ефрем передает свой сон о русалке, которая во сне представляется ему в образе собственной жены: «Гляжу я на нее, а у ней глаза так и светятся, зеленые такие, как у кошки, не смейся этак, жена, говорю я ей, — этак смеяться грех. Не смейся, — уважь меня. — Какая, говорит, я тебе жена — я русалка. Вот постой, я тебя съем. Да как разинет рот, — а у ней во рту зубов-то, зубов — как у щуки...» [Тургенев 1979а: 454].

Так же, как и в «марух», Михрюткин не верит и в домовых: «Вот вздор какой! Будто есть домовые?», на что Ефрем рассказывает ему довольно большую быличку о встрече ключницы в предбаннике с домовым: «Что вы думаете? Входит она в предбанник, а в предбаннике-то темно, протягивает руку и вдруг чувствует — кто-то стоит. Она шупает: овчина, да такая густая, прегустая. <...> М и х р ю т к и н. Ну, так мужик какой-нибудь зашел. Е ф р е м. Мужик? А зачем мужик станет тулуп шерстью кверху надевать. Мужик этого не сделает. <...> Говорит, она, старуха-то: с нами крестная сила! Кто это? Ей не отвечают, она опять: да кто ж это такое? А тот-то как забормочет вдруг по-медвежьему <...> М и х р ю т к и н. Так кто ж это, по-твоему был? Е ф р е м. Известно кто: домовый. Он воду любит» [Тургенев 1979а: 454–455].

Такое описание домового вполне согласуется с его обликом, представленным в русском фольклоре. Вот как об этом пишет известный отечественный этнограф Д. К. Зеленин в своей книге «Восточнославянская этнография»: «Севернорусские сказания рисуют домового маленьким, покрытым шерстью человеком, который однажды, при особых обстоятельствах, замерз» [Зеленин: 413]. Тогда понятно, почему в быличке Ефрема домовый не только покрыт шерстью, но и оказался в бане, хотя, как об этом пишет в своей книге Д. К. Зеленин, «<...> само место обитания домового, чаще всего под печкой <...>» [Зеленин: 412].

И заканчивается эта наполненная мотивами и образами русского фольклора пьеса Тургенева тоже очень показательно: исполнением русской народной песни «В темном лесе», которую запекает сам барин — Михрюткин, заметно повеселевший по мере приближения его тарантаса к родному дому: «Эх, ребята, послушайте-ка... Что унывать? Ну-ка: “В темном лесе”. (*Запекает*)» [Тургенев 1979а: 458]. А слуги его дружно подхватывают: «В темном лесе, / В темном лесе — / В темном...» [Тургенев 1979а: 458].

И далее Тургенев со знанием дела и очень верно в этнографическом отношении описывает процесс исполнения персонажами пьесы этой широко известной лирической игровой песни:

«М и х р ю т к и н. Ты высоко забираешь, Ефрем, ты не дьячок, что ты голосом виляешь-то?

Е ф р е м (*откашливаясь*). А вот сейчас лучше пойдет.

М и х р ю т к и н (*тоненьким голоском*).

Да в залесье...

Е ф р е м и С е л и в ё р с т.

Да в залесье...

М и х р ю т к и н (*кашляя*).

Распашу я... распашу я...

Е ф р е м. Эх, вы, миленькие!

Распашу я... Распашу я...

С е л и в ё р с т. Распашу я <...> (*Слышен один высочайший фальцет Ефрема, который поет:*)

И па... шин... нику...

И па... шин... нику...

(*Тарантас въезжает в березовую рощу.*)» [Тургенев 1979а: 458–459].

Показательно, что отдельные художественные детали в передаче автором пьесы исполнения этой народной песни перекликаются с описанием характера исполнения рядчиком «веселой, плясовой песни» «Распашу я, молода-моладенька...» в рассказе Тургенева из «Записок охотника» — «Певцы», написанном, как и сцена «Разговор на большой дороге», в том

же 1850 г. (еще совпадение: действие того и другого произведения происходит в Орловской губернии): «Итак, рядчик запел... *высочайшим фальцетом*. <...> он играл и *выял* этим голосом... <...> Обалдуй с Моргачом начали вполголоса *подхватывать*, подтягивать, покрикивать: “Лихо!.. *Забирай*, шельмец!..”» [Тургенев 1979в: 219] (нами курсивом выделены те места из рассказа «Певцы», которые слово в слово совпадают со сценой «Разговор на большой дороге»).

Сами же приведенные в указанной сцене отрывки песни «В темном лесе...» очень точно воспроизводят начало этой популярной народной песни, записанной известным фольклористом А. М. Новиковой в 1920-е гг. в Тульской области, т. е. по соседству с Орловской областью:

В темном лесе, в темном лесе,
В темном лесе, в темном лесе,
За лесью, за лесью,

Распашу ль я, распашу ль я,
Распашу ль я, распашу ль я
Пашенку, пашенку

[Русские народные песни: 269].

И это еще раз свидетельствует о том, что, по-видимому, Тургенев слышал эту песню в живом исполнении.

Несмотря на отрицательное в целом суждение о «Разговоре на большой дороге» рецензента «Библиотеки для чтения» (скорее всего самого издателя журнала О. И. Сенковского), все же в рецензии отмечалось, что «<...> оригинальность его («Разговора...». — С. Д.) состоит в нескольких провинциальных словах и народном рассказе» [Цит. по: Тургенев 1979а: 679].

В последнем драматическом произведении Тургенева — сцене «Вечер в Сорренте» (1852) — пословица встречается всего один раз, в реплике одного из ее персонажей — Сергея Платоновича Авакова. Несмотря на то, что ему всего 45 лет, он считает себя довольно старым. Вместе с тем он влюблен в молодую вдову Надежду Павловну Елецкую, которая хотя и кокетничает с ним, но до поры до времени держит его на расстоянии. Сюжетная коллизия этой одноактной комедии напоминает пьесу «Месяц в деревне», что отметил Л. П. Гроссман в своей книге «Театр Тургенева» (Пг., 1924): «Даже некоторые имена действующих лиц напоминают написанную за два года перед тем большую драму: Надежда Павловна здесь соответствует Наталье Петровне, Бельский — Беляеву» [Цит. по: Тургенев 1979а: 684].

Так вот, в самом начале пьесы саратовский помещик Аваков, скупающий по своему поместью, но вынужденный, уступая прихотям На-

дежды Павловны, колесить вместе с ней по всей Европе, наедине с самим собой произносит с досадой: «Устал я, признаться сказать, устал тащиться по трактирам... старые кости мыкать. Ведь третий год... Вот уж точно можно сказать, *седина в голову, а бес в ребро*... (курсив наш. — С. Д.)» [Тургенев 1979а: 463] (ср. у В. И. Даля: «Седина в голову (*или*: в бороду), а бес в ребро»; «Старого черта да подпер бес. На седину бес падок» [Пословицы: 355]).

Выводы. Из всего проанализированного материала можно сделать вывод, что пословицы и поговорки (реже — песни и былички) являются элементами стиля драматургии Тургенева. Принципы использования фольклора в различных пьесах Тургенева не одинаковы. Иногда пословицы и поговорки привлекаются для характеристики ситуации, воссоздания местного колорита, для раскрытия личности и психологии того или иного персонажа, особенностей его речи. Порой автор пьес стремится расцветить реплики персонажей, обильно используя малые жанры фольклора, а иногда народные песни и былички. В некоторых комедиях пословицы и поговорки оттеняют и усиливают основную мысль произведения, естественно и ненавязчиво вплетаются в речь персонажей.

В своей драматургии Тургенев по-своему трансформирует, а иногда и переосмысливает традиционные фольклорные образы и мотивы, часто перефразирует народные пословицы и поговорки в соответствии с идейным замыслом произведения и его поэтикой. Тургенев выбирает из сокровищницы народной речи слова и выражения, фразеологические обороты, богатые смысловыми оттенками, фольклорные сравнения, которые придают репликам персонажей особую меткость, красочность и выразительность. Творческое освоение и использование разных жанров русского фольклора в пьесах Тургенева свидетельствует о прекрасном знании их автором традиций устного народного творчества и, возможно, фольклорных сборников своего и предшествующего времени, что в еще большей степени проявилось в «Записках охотника».

Литература

Азадовский М. К. «Певцы» И. С. Тургенева // Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. Москва — Ленинград: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 395—437.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К. Д. Цивинной; примеч. Т. А. Бернштам, Т. В. Станюкович и К. В. Чистова; послесловие К. В. Чистова. Москва: Наука, 1991. 511 с.

Ильина В. В. Принципы фольклоризма в поэтике И. С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Иваново, 2001. 181 с.

Лотман Л. М. Драматургия И. С. Тургенева и натуральная школа 1840-х годов // История русской драматургии: XVII — первая половина XIX века. Ленинград: Наука, 1982. С. 474—513.

Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. Т. 1. Москва: ТЕРРА, 1994. 792 с.

Пословицы русского народа. Сборник В. И. Даля. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 991 с.

Прийма Ф. Я. И. С. Тургенев («Записки охотника») // Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Ленинград: Наука, 1976. С. 366—383.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 8: Романы и повести. Путешествия. [Б. м.]: Изд-во АН СССР, 1948. 495 с.

Русские народные песни / Вступительная статья, составление и примечания А. М. Новиковой. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 736 с.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи / Издание подготовил Е. А. Костюхин. Москва: Индрик, 1999. 624 с.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 2: Сцены и комедии. 1843—1852. Москва: Наука, 1979. 706 с.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 3: Записки охотника. 1847—1874. Москва: Наука, 1979. 528 с.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 6: Дворянское гнездо. Накануне. Первая любовь. 1858—1860. Москва: Наука, 1981. 496 с.

Черных Л. В. Роль фольклора в развитии русской драмы // Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Ленинград: Наука, 1976. С. 407—446.

References

Azadovskij M. K. “Pevcy” I. S. Turgeneva // Azadovskij M. K. Stat’i o literature i fol’klore. Moskva — Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’sтво khudozhestvennoj literatury, 1960. S. 395—437.

Zelenin D. K. Vostochnoslavjanskaya etnografiya / Per. s nem. K. D. Civiноj; primech. T. A. Bernshtam, T. V. Sanyukovich i K. V. Chistova; posleslovie K. V. Chistova. Moskva: Nauka, 1991. 511 s.

Irina V. V. Principy fol’klorizma v poetike I. S. Turgeneva: Dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.01. Ivanovo, 2001. 181 s.

Lotman L. M. Dramaturgiya I. S. Turgeneva i natural'naya shkola 1840-kh godov // *Istoriya russkoj dramaturgii: XVII — pervaya polovina XIX veka.* Leningrad: Nauka, 1982. S. 474–513.

Mikhel'son M. I. Russkaya mysl' i rech': Svoyo i chuzhoe: Opyt russkoj frazeologii: Sbornik obraznykh slov i inoskazanij: V 2 t. T. 1. Moskva: TERRA, 1994. 792 s.

Poslovicy russkogo naroda. Sbornik V. I. Dalya. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1957. 991 s.

Prijma F. Ya. I. S. Turgenev ("Zapiski okhotnika") // *Russkaya literatura i fol'klor (pervaya polovina XIX v.).* Leningrad: Nauka, 1976. S. 366–383.

Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochinenij: V 16 t. T. 8: Romany i povesti. Puteshestviya. [B. m.]: Izd-vo AN SSSR, 1948. 495 s.

Russkie narodnye pesni / Vstupitel'naya stat'ya, sostavlenie i primechaniya A. M. Novikovej. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1957. 736 s.

Snegiryov I. M. Russkie narodnye poslovicy i pritchi / Izdanie podgotovil E. A. Kostyukhin. Moskva: Indrik, 1999. 624 s.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 2: Sceny i komedii. 1843–1852. Moskva: Nauka, 1979. 706 s.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 3: Zapiski okhotnika. 1847–1874. Moskva: Nauka, 1979. 528 s.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 6: Dvoryanskoe gnezdo. Nakanune. Pervaya lyubov'. 1858–1860. Moskva: Nauka, 1981. 496 s.

Chernykh L. V. Rol' fol'klora v razvitii russkoj dramy // *Russkaya literatura i fol'klor (pervaya polovina XIX v.).* Leningrad: Nauka, 1976. S. 407–446.

Сведения об авторе: Сейран Акопович Джанумов; заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; доктор филологических наук; профессор; Московский городской педагогический университет; профессор кафедры русской литературы института гуманитарных наук; ORCID 0000-0003-0847-5484; djanumovSA@mail.ru; сфера научных интересов: история русской литературы XVIII–XIX вв., фольклористика, литературно-фольклорные связи.

The author's profile: Seyran Akopovich Dzhanumov; Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation; Doctor of Philology; Professor; Moscow City University; Professor at the Department.

МЕЛАНΙΑ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ИМЯ И ОБРАЗ

MELANIA OF RUSSIAN LITERATURE: NAME AND IMAGE

Антон Андреевич Аникин
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина,
Москва, Россия

Anton Andreevich Anikin
Russian State University named after A. N. Kosygin,
Moscow, Russia

Аннотация

Предложен в развитии литературы аспект восприятия через обращение к личным именам персонажей. Разобраны различные стилистические решения за счет обращения к внутренней форме имени, а также насыщения ее новыми значениями. В центре исследования сравнительно редкое для русской культуры имя Мелания, судьба которого прослеживается в литературе XVIII–XX вв. Даны обобщающие выводы об эволюции имени в литературе и относительной самостоятельности этого процесса.

Ключевые слова: имя, Мелания, внутренняя форма, внешняя форма, эволюция.

Abstract

The article offers an original aspect of perception in the development of literature through the reference to the characters' personal names. Authors do not normally make up names, but use the ones that already exist. The name has already some meaning, which can be restored with the help of etymology, as well as from the previous experience of using it both in art and history, or in everyday life. This combination of the author's imagination and the life of the name is an interesting phenomenon that can be studied as a reflection of the author's style, and as a more original observation — the life of the name in the history of literature, and its own evolution. We have proposed and tested the hypothesis that such development has its own internal logic. The article analyzes various stylistic solutions by referring to the internal form of the name, as well as filling it with new meanings. The study focuses on the name Melania, which is relatively rare

for Russian culture and can be traced to the literature of 18th–20th centuries. This name offers some advantages in conducting the study, since it has not been used much in literature and has retained its original flair. The name with Greek roots comes from folk culture. It acquired symbolic meaning thanks to the story of St. Melania of Rome (5th century CE). It became a baptismal name, and later penetrated into the Western and Russian literature, mainly through hagiographies about St. Melania, written by the authors Gerontius and St. Demetrius of Rostov. The study presents almost all known, though rare cases of using the name Melania in Russian literature — from satirical attacks against Western and later Russian sentimentalism (d'Arnot — Prince Shakhovskoy), to the depiction of Russian national characters by Leo Tolstoy and A. N. Ostrovsky. Vladimir Dal and Nikolay Leskov used the folk variants of the name in their works. Finally, we look at the examples of using the name Melania in the 20th century: Maxim Gorky strongly dislikes this name when depicts one of his characters, a hypocrite whom he hates. The development evolves in opposites: idolizing — ridiculing, positive — negative context, popularity — oblivion — revival, etc. Margaret Mitchell's novel "Gone with the Wind" played a significant role in bringing positive attitude to the name Melania. The results of the observations lead to the general theoretical conclusions regarding the evolution of the name in literature and its relative independence.

Key words: name, Melania, inner form, outer form, evolution.

Введение. Целью работы является анализ закономерностей в употреблении личных имен у литературных героев. **Материалом** исследования является русская литература с экскурсами в фольклорное творчество и европейскую культуру.

Методология. Используется методология сравнительно-исторического литературоведения в сочетании с методикой потебнианской школы в представлении о внутренней и внешней форме слова, а также русская традиция именологии, такие фундаментальные опыты, как «Имена» П. А. Флоренского, «Философия имени» А. Ф. Лосева.

Литература пестрит именами, редко встречаются одинаковые имена, и, кажется, выбор имени связан только с авторским замыслом. Но попробуем разобраться, не живут ли имена своей собственной жизнью, воплощая в разных текстах некую линию развития имени: вот как живет, допустим, Евгений («Онегин», «Медный всадник», Базаров и др.), Ольга («Онегин», «Обломов», «Попрыгунья» и другие произведения)...

Мы же возьмем не такое распространенное, обыденное имя — Мелания!

Не так уж наглядны примеры в мировой литературе — что сразу приходит на ум? Да, пожалуй, легко всплывает героиня М. Митчелл, подруга Скарлетт из «Унесенных ветром», а что же еще?

Основная часть. История имени всегда уходит в глубокую древность. Собственно, имя уже обладает своей художественностью, это непременно образ, это поэзия со своим обязательным атрибутом — внутренней формой (термин А. А. Потебни, широко разработанный современным филологом Ю. И. Минераловым [Потебня: 22]). Можно заметить, что чем более распространено имя, тем его внутренняя форма становится менее значимой, другое дело — сравнительно редкие имена, в них история более жива, ближе путь к предыстории имени.

Такова и Мелания: греческий корень означает «темная», на греческом имя — *Μέλαινα*, а ближайшее однокоренное слово в русском — *меланхолия* (черная желчь). Имя вовсе не имеет какого-то мрачного отпечатка, достаточно привести в пример жизнерадостную жену 45-го президента США Дональда Трампа, бывшую фотомодель с совершенно лучезарной внешностью, славянку по происхождению.

Внутреннюю форму определяют известные носительницы имени, и у истоков — св. Мелания Римлянка, персонаж начальных веков христианства (ок. 383–439 гг. н. э.). В православной церкви память 13 января н. ст., 31 декабря ст. ст. Есть сравнительно недавно, в конце XIX в., открытое древнее жизнеописание Геронтия середины V в., прежде источником было жизнеописание Симеона Метафраста (ок. 900–960 гг. н. э.), а также — в авторстве русского св. Димитрия Ростовского (1651–1709): Житие преподобныя матере нашей Мелании Римляныни, по изданию 1764 года, Киево-Печерская лавра. В данных памятниках отмечается высокое происхождение из семьи римской знати, необычайное богатство, уступающее лишь императорам, поразительная красота, вера в Христа, ради которой Мелания отказывается от имений, жертвует бедным и монастырям, отстраняется обоюдно с мужем от телесной близости, основывает монастыри, проповедует, совершает чудеса исцеления.

Таков первоисточник образа Мелании в литературе, однако это не является чисто художественным вымыслом, в основе лежит предание, подлинная биография. Для литературного контекста этот образ является архетипом, с которым соотносится любое дальнейшее обращение к этому имени, даже если позднейшие образы развертываются в противоположную сторону (как у М. Горького) или внешне нейтральны к исходному (как у В. М. Шукшина).

Имя Мелания получило широкое распространение у разных христианских народов, если в Европе и Америке это имя вполне обыденно, то в России оно не так часто встречалось и приобрело несколько простонародный оттенок с использованием этимологически неверной, но более ясной формы *Маланья*, со славянским корнем «малый», без исконного греческого значения. Собственно, можно часто встретить обыгрывание этой двойственности в имени: *Мелания* или *Маланья* как строгое и бла-

городное наименование и наименование просторечное (ниже разберем примеры).

Приход Мелании в русскую литературу явился достаточно поздним и связан с переводом французской небольшой повести «Люси и Мелани» в 1782 г., автор — Бакюлар д'Арно (1718–1805). В русском переводе заглавие еще выразительнее: «Люция и Мелания, или Две великодушные сестры». Повесть не отличается художественным совершенством, громоздка, шаблонна, как и большинство явлений сентиментализма: «Мелани пленяла, не прилагая к тому усилий; все поступки ее озарены были приятной кротостью, и посему она влекла к себе не столь красотой, сколь добрыми чувствами... Обе женщины являли собой пример самого редкого и возвышенного благородства» [Арно]... Но все же в этом шаблоне заложен определенный алгоритм, отразившийся вплоть до «Унесенных ветром», впрочем, как и любовные коллизии *Люси — Мелани-д'Этиваль* и *Скарлетт — Мелани-Эшли*. В свою очередь, в повести д'Арно есть и переклички с житием Мелании Римлянки: необыкновенная страсть переходит в монашеский обет безбрачия и, конечно, все умирают... Нет никакой нужды более обращаться к тексту XVIII столетия, он отжил свое.

Оставим в стороне присутствие имени в русском фольклоре, это ряд сказок и поговорок: это иная тема, здесь не отчетливы временные координаты текста. Отметим сборник сказок В. И. Даля под названием «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским» (1832), где есть «Привередница»: «Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое — дочка Малашечка да сынок Ивашечка. Малашечке было годков десяток или поболее, а Ивашечке всего пошел третий» [Даль]. Сказка поучительная, но едва ли здесь есть связь с внутренней формой имени, как и в пословицах из знаменитого сборника того же В. И. Даля (1853–1862), скорее, здесь имя отражает лишь внешнюю форму, мелодику или рифму, а присуще чаще всего лишь вздорному персонажу: «Охала Маланья, что уехал Ананья»; «Судила Маланья на Юрьев день, по ком справлять протори»; «Какова Маланья, таково ей и поминанье»; «Сряжается что Маланья на свадьбу». А вот положительный пример: «В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнет для запаса вперед» [Пословицы: 147, 897, 772, 588, 508].

Имя в фольклоре обычно звучит как *Маланья*, что объяснялось выше.

Такая двойственность отразилась и в самом раннем литературном использовании имени — в комедии А. А. Шаховского «Новый Стерн» (1805), этой едкой пародии на сентиментализм: «Вчера Маланья, трогательная пастушка, гнала добреньких коров, романических овечек, сытеньких сви-

нок гибкою хворостинкою в скромный скотный двор. Она пела: По горам, по горам! Голос ее раздавался в душах наших». Сентиментальный путешественник граф Пронский требует, чтоб эту добродетельную крестьянку именовали без всякой народной этимологии: «Мелани, а не Маланья! Послушай, если ты еще осмелишься огрубить слух мой, я, для чести литературы и сентиментализма, дам тебе почувствовать силу руки моей», — обращается он к своему слуге: «Какая грубость! какое невежество! можно ли так портить самые интересные имена? Это только терпимо у нас!» [Шаховской: 115].

Нечто подобное есть и у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине»: «Звала Полиною Прасковью...», — наша Маланья же в сюжете Шаховского пародирует и «Бедную Лизу» (1792) Н. М. Карамзина, оставаясь героиней чистой, христолюбивой, простосердечной, но и вполне ироничной, как положено в комедии: «Добрая женщина, ты меня трогаешь! — Что ты, барин, перекрестись, я до тебя и не дотронулась». Здесь не забыто толкование имени Мелания по святцам, но и вероятен выпад против повести д'Арно.

Итак, в русской литературе имя Мелания встречается редко. Есть пара заметных Маланий у А. Н. Островского — «Не все коту масленица» (1871) и «Трудовой хлеб» (1874), это все кухарки при господах, причем в комедии 1874 г. хозяин зовет Маланью *Аглаей*, ради высокого слога. Эти героини второстепенные, олицетворяют простодушие, незлобивость, услужливость, при этом создают ироническую атмосферу. Едва ли Островский видит в имени что-либо иное, нежели выражение простонародного положительного, но незначительного типа. Негативный простонародный образ Маланьи, сожительницы хозяина кабака, создан мельком в очерках Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866), к чему мы вернемся.

Несколько более ранним, чем у Островского, явлением, но весьма важным стало обращение к имени Мелания у Л. Н. Толстого, здесь можно отметить авторскую тенденцию и симпатию. Глеб Успенский начинал свое творчество в журнале «Ясная Поляна», но переключка меж двух Маланий едва ли вероятна.

Самая знаменитая героиня, которую можно числить среди любимых у Толстого в «Войне и мире», — это девочка Малаша, присутствующая невольно на совещании в Филях, третий том, часть третья (1866–1867): «Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе» [Толстой 1951a: 280]. Малаша не только вызывает симпатию у Кутузова в столь напряженной сцене, т. е. сильно располагает к себе, а за этим стоит глубокая душа, но и внимательно следит за всем, наделена живым умом и чувством, автор отчасти дает сцену ее глазами: «Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед

ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между “дедушкой” и “длиннополым”, как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки» [Толстой 1951а: 282] — так Мелания проявляет веру в истину, открытую и младенцу.

Более ранним у Толстого было использование имени в произведениях 1862 г., опубликованных лишь посмертно: «Идиллия», «Тихон и Маланья», так что в великий роман имя пришло уже привычным для художественного мира писателя.

Маланья в этих набросках сельской идиллии выписана с любованием своей героиней — красавицы, умницы, способной на труд и веселье: «Баба-то твоя молодая день-деньской замучается, а домой идет, хоровод ведет, песенница такая стала, где и спрашивать с нее, человек молодой, куражный; а народ хвалит, очень к работе ловка, и худого сказать нечего» [Толстой 1951б: 355]. Да, Мелания Римлянка не славилась весельем, но отличалась остротой ума, речи, всегда была любима народом.

Замужество своей героини Толстой рисует как бы в противоположность житию святой: это полнота брачных отношений, верность супругов, радость. Зеркальность в развитии образов подразумевает сознательную авторскую переключку: если святая, познав брак, уходит от телесного супружества, то Маланья наоборот, будучи выданной замуж в 14 лет («Вовсе ребенок несмысленной была»), три года не любила мужа — «жили по-Божьему и исправно, так и не принуждали молодайку ни к работе, ни что» [Толстой 1951б: 347], — пишет Толстой, рисуя полноту и праведность жизни, опровергая монашеский путь, но оставляя за своей Меланией укоренившийся положительный и жизнестроительный облик.

Симпатия к имени сохранилась у Толстого и в дальнейшем, можно говорить об авторской привязанности к именам: автор не нарушает логику имени, верен однажды принятому смыслу, сохраняет тем самым внутреннюю форму имени. Трудно представить, чтобы раз выбранное имя превратилось в свою противоположность, и так у каждого автора.

К имени Мелания Толстой вернется в позднем своем произведении, тоже народной стилистики — «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (1885). В этом тексте сестра играет малозаметную роль, смиренно трудится, живет подобно монашенке, а в финале сказки, после всяких перипетий борьбы с дьяволом и победы над ним, утверждается простой закон для целого царства, закон, открытый Маланьей: «Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей, и руки чистые, гладкие, и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола.

А Иванова жена ему и говорит:

— Не взыщи, господин чистый, золовка у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот, дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется» [Толстой 1982: 338].

Так Лев Толстой сохранил верность имени Мелания на протяжении десятилетий творчества, и борьба с дьяволом отнюдь не такой наивный мотив, чтобы и здесь не увидеть переключки с житием святой!

Имя Мелания бытовало и в дворянском сословии, такова героиня И. С. Тургенева в повести «Старые портреты» (1881), где героиня «<...> первой слыла красавицей по Москве, la Venus de Moscou» [Тургенев: 338]: следует история замужества, давнего покровительства со стороны графа Алексея Орлова, жизни в богатом, но далеком от столичной жизни имении, которая схожа с гоголевской повестью «Старосветские помещики». Тургенев относит рождение своей героини ко второй половине XVIII в. и вполне правдоподобно использует имя *Малания*, но и с соответствующим эпохе оттенком западного сентиментализма: «Алексис, ты должен лучше меня знать. — Будь покойна, Мелани!» (супруга героини зовут так же, как и графа Орлова, а год ее рождения вырисовывается как 1774-й) [Тургенев: 340].

С житием святой судьба этой тургеневской девушки никак не переключается, но героиня сугубо добродетельна, щедра, супруг еще подчеркивает, «<...> будто она очень остра на язык <...>», что косвенно можно связать с житием святой, но повествователь дает и определение «<...> была глупа, что называется, до святости» [Тургенев: 339]. Заметим, что имя осмыслено автором и во внутренней форме: в рассказе встречается слово «меланхолия» [Тургенев: 341].

Сильная фольклорная и литературная традиция отразилась и в сказке Н. С. Лескова «Маланья — голова баранья» (1888—1899). Это история о праведнице, которую в людях почитали глупой (в духе и предыдущей сказки Л. Н. Толстого), но в конце все ее достоинство оценено сполна: «Маланья осталась жить и все живет, как прежде жила, и все то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто звал ее “Маланьей — головой бараньей”, и сама она это имя позабыла» — имя теперь ей стало «Любовь» [Лесков]. Сказка насыщена именно христианскими обращениями и вполне переключается с житием святой.

Так к началу XX в. сложилась достаточно определенная традиция использования имени в исключительно позитивном, возрождающем внутреннюю форму имени контексте: внутренняя форма определяется не столько корневой этимологией, сколько опытом употребления имени и его авторитетным первоисточником.

В революционные годы традиция разрушается, что сказалось и на судьбе имени: ярким примером здесь будет А. М. Горький с его нигилистическим отношением к русскому прошлому.

Едва ли не самый омерзительный не только у Горького, но и во всей мировой литературе женский образ носит имя Мелания в пьесах 1932—1933 гг. «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие». Это игуменья, настоятельница монастыря, что уже указывает, что автор подбирал имя со знанием дела и с ненавистью: игуменья лжива, жадна, жестока, невежественна, ханжа в каждом своем слове — вот как отразилась здесь св. Мелания, тоже настоятельница: «И — на кой дьявол нужна вам эта... волчиха, игуменья? Она вас по щекам хлещет, а вы служите ей, как собачка... на задних лапках. Она — купчиха, дисконтёрша, ростовщица... вообще — гадина!» [Горький: 99].

На знание внутренней формы имени указывает не только чин, но и обыгрывание этимологии: почтительно игуменью зовут *Меланией*, а Булычев, да и Достигаев в первой пьесе, подчеркнуто именуют *Маланья*, протонародно.

Ненависть Горького к им же созданной героине не знает границ, нарастают пороки: игуменья оказывается и любовницей Булычева, и обличается в содомии: «Поезжай в свою берлогу с девчонками, клирошниками лизаться! Глафира — блудодейка, а ты? Ты кто?», — указывает Егор [Горький: 35].

В стилистике Горького привычны оскорбительные клички, Меланию бранят «воронной полоротой», «собакой», медведицей, а особенно — волчихой: «Старая собака! Волчиха! Волчиха-а...» [Горький: 105].

При всем буйстве авторских чувств, антихристианском пафосе, игуменья Мелания — не только один из самых отвратительных, но и один из самых слабых, грубо сделанных образов в литературе. Неудача М. Горького может быть связана именно с нарушением внутренней формы имени, авторским произволом.

Предположим, что на восприятие имени у позднего М. Горького могло повлиять выдвижение на заметный план «Растеряевой улицы» — театральной постановки Малого театра в 1929 г., текст М. Нарокова на основе очерков Г. И. Успенского. Здесь мелкий персонаж стал значительно ярче, особенно в исполнении В. Н. Пашенной. Это было событие в культурной среде, вот как об этом пишет знаток русского театра С. Н. Дурылин: «Все: и “психология” этой “девицы из Каширы”, падкой на мужскую ласку и на сладкое ничегонеделанье, и цветистость ее речи без мысли, и ее жизненная походка, самоуверенно-хищная и вместе ленивая, с томной “развальцей”, — все было дано Пашенной уже в этой одной фразе “И чего это я такая нежная?”» [Дурылин: 291].

М. Горький довел до предела снижение имени Мелания.

Кажется, после М. Горького имя Мелания в русской литературе перестало появляться — не мудрено, внутренняя форма имени получила такое ущемление... В некоторых произведениях писателей почвенной ори-

ентации Мелания/Маланья встречается, это обычно простонародный, душевный образ, как в «Сельских жителях» В. М. Шукшина между прочим: «Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная» [Шукшин: 91]. Едва ли имя здесь раскрывает свою историю, только народный колорит.

В зарубежной литературе имя Мелания более распространено, как и в самой жизни. Настоящим триумфом имени стал роман М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936), в России книга была переведена лишь в середине 1980-х, издавалась миллионными тиражами, была чрезвычайно популярна. Так имя Мелания оказалось реабилитированным, несмотря на очевидные художественные слабости романа, заставляющие вспомнить давнюю сентиментальную повесть: «За эти искренние и непосредственные порывы ее великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней» [Митчелл: 185]. Мелани Уилкс/Гамильтон, конечно, не достигает святости Мелании Римлянки, но является образцом христианского служения людям, пусть и с непременными ошибками и грехами, вплоть до убийства ради спасения. Впрочем, история Мелани и Скарлетт настолько общеизвестна, что не стоит вдаваться в пересказ.

Книга М. Митчелл, пусть и с запозданием, сыграла большую роль не только в восприятии американской литературы русским читателем, но и в судьбе имени.

В современной России родители нередко стали давать своим дочерям имя Мелания, руководствуясь лишь им ведомыми соображениями. Думается, что литература сыграла здесь заметную роль.

Выводы. История имени в искусстве является не только самостоятельным аспектом изучения, но и самостоятельным эволюционным процессом: зарождение имени, становление традиции, разрушение традиции, восстановление, переосмысление, забвение.

Имя может входить в культурный контекст вопреки художественной ценности произведения или героя-носителя; даже не становясь нарицательным, имя реализует свою внутреннюю форму как самодостаточная образная единица, выходя из родивших его текстов для самостоятельного бытования. Так, многие произведения с именем Мелания не обладают значительными художественными достоинствами, но их «результатом» стало закрепление имени в культурной традиции, включая и переключки между текстами исключительно благодаря связующему их имени, а не тематике или жанрам. Имя живет своей жизнью.

Этимология имени не всегда играет значительную роль — важнейшее влияние на внутреннюю форму имени оказывает его авторитетный реальный носитель, а также авторитетные литературные герои. Так, значение имени «темная» (с греч.) ощутимо крайне редко, зато указания на ключевые черты св. Мелании вполне узнаваемы даже без специального упоминания.

нения, аллюзии. В нашем случае ключевую роль играют уходящие в глубь веков жития Мелании Римлянки и святцы (тексты Геронтия, Симеона Метафраста, Димитрия Ростовского).

Взаимодействуют историческая традиция, фольклорное творчество и актуальное бытование имени в социуме. Имя Мелания характерно для народного быта и фольклора, что отразилось в ряде авторских сказок или переложений (В. И. Даль, Н. С. Лесков).

Авторское отношение к имени передает мировоззрение и дух времени, а также индивидуальные вкусы творца. Так, в восприятии имени Мелания преобладает ориентация на житие святой, но вдруг у М. Горького это приобретает резко негативные, оскорбительные черты. У писателей «почвенного» направления имя овеяно любовью, отмечена особая «привязанность» к имени Мелания у великого Льва Толстого.

Встречается забвение или обеднение внутренней формы имени, а также доминирование формы внешней (звучание, ритм). В пословицах или текстах советской эпохи (В. П. Астафьев, В. М. Шукшин) аллюзия на житие святой не присутствует, реализуется простонародный оттенок имени, а также его мелодика, включая рифму (Маланья — олады и др.).

История имени отражает процесс взаимодействия культур народов, объединенных общими, иногда отдаленными историческими корнями. Так, Мелания вошла в русский контекст как пародия на французский сентиментализм, а была «актуализирована» в позднейшие времена благодаря роману американской писательницы.

Мелания — прекрасное и своеобразное имя со своей судьбой, отразившей историю европейской и — шире — христианской в своих истоках культуры. В современной русской культуре имя стало даже популярным, что связано не с детальным знанием его истории, а со сложившимся благодаря, в т. ч. литературе, некоему «образу имени». Появился в XXI в. и бульварный роман «Мелания» (автор С. Согрин, классификация «18+») как явление массовой квази-культуры.

Литература

Бакюлар д'Арно. Люси и Мелани URL: <https://www.litmir.me/br/?b=571172&p=94>.

Горький А. М. Егор Булычев и другие; Достигаев и другие // Горький А. М. Полное собрание сочинений: В 25 т. Т. 19. Москва: Наука, 1973. С. 5–127.

Даль В. И. Привередница URL: <http://www.skazayka.ru/priverednitsa/>.

Дурылин С. Н. Вера Николаевна Пашенная // Дурылин С. Н. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Москва: Издательство журнала «Москва», 2014. С. 270–300.

Лесков Н. С. Маланья — голова баранья URL: http://dugward.ru/library/leskov/leskov_malanya.html.

Минералов Ю. И. Введение в славянскую филологию. Москва: Высшая школа, 2009. 320 с.

Митчелл М. Унесенные ветром. Баку: Язычи, 1991. Т. 1. 608 с. Т. 2. 592 с.

Пословицы русского народа. Сборник В. И. Даля. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 992 с.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. 344 с.

Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. Книга вторая. Издание Киево-Печерской лавры, 1764 URL: <https://dimitryrostovsky.ru/creations/zhitija-svjatyh-kniga-vtoraja-dekabr-janvar-fevral/>.

Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 3 // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 14 т. Т. 6. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1951. С. 5–406.

Толстой Л. Н. Идиллия; Тихон и Маланья // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 14 т. Т. 3. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1951. С. 347–365.

Толстой Л. Н. Сказка об Иване-дураке... // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 10. Москва: Художественная литература, 1982. С. 316–341.

Тургенев И. С. Старые портреты // Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1956. С. 326–348.

Шаховской А. А. Новый Стерн // Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Ленинград: Советский писатель, 1961. С. 105–182.

Шукин В. М. Сельские жители // Шукшин В. М. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. Москва: Молодая гвардия, 1985. С. 90–98.

References

Bakyular d'Arno. Lyusi i Melani URL: <https://www.litmir.me/br/?b=571172&p=94>.

Gor'kij A. M. Egor Bulychyov i drugie; Dostigaev i drugie // Gor'kij A. M. Полное собрание сочинений: В 25 т. Т. 19. Москва: Nauka, 1973. С. 5–127.

Dal' V. I. Priverednicza URL: <http://www.skazayka.ru/priverednitsa/>.

Durylin S. N. Vera Nikolaevna Pashennaya // Durylin S. N. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Москва: Izdatel'stvo zhurnala "Moskva", 2014. С. 270–300.

Leskov N. S. Malan'ya — golova baran'ya URL: http://dugward.ru/library/leskov/leskov_malanya.html.

Mineralov Yu. I. Vvedenie v slavyanskuyu filologiyu. Moskva: Vysshaya shkola, 2009. 320 s.

Mitchell M. Unesennye vetrom. Baku: Yazychi, 1991. T. 1. 608 s. T. 2. 592 s.

Poslovicy russkogo naroda. Sbornik V. I. Dalya. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1957. 992 s.

Potebnya A. A. Teoreticheskaya poetika. Moskva: Vysshaya shkola, 1990. 344 s.

Svt. Dimitrij Rostovskij. Zhitiya svyatykh. Kniga vtoraya. Izd. Kievo-Pechorskoj lavry, 1764 URL: <https://dimitryrostovsky.ru/creations/zhitija-svyatyyh-kniga-vtoraja-dekabr-janvar-fevral/>.

Tolstoj L. N. Vojna i mir. T. 3 // Tolstoj L. N. Sobranie sochinenij: V 14 t. T. 6. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1951. S. 5–406.

Tolstoj L. N. Idilliya; Tikhon i Malan'ya // Tolstoj L. N. Sobranie sochinenij: V 14 t. T. 3. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1951. S. 347–365.

Tolstoj L. N. Skazka ob Ivane-durake... // Tolstoj L. N. Sobranie sochinenij: V 22 t. T. 10. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1982. S. 316–341.

Turgenev I. S. Starye portrety // Turgenev I. S. Sobranie sochinenij: V 12 t. T. 8. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1956. S. 326–348.

Shakhovskoj A. A. Novyj Stern // Shakhovskoj A. A. Komedii. Poemy. Leningrad: Sovetskij pisatel', 1961. S. 105–182.

Shukshin V. M. Sel'skie zhiteli // Shukshin V. M. Sobranie sochinenij: V 3 t. T. 2. Moskva: Molodaya gvardiya, 1985. S. 90–98.

Сведения об авторе: Антон Андреевич Аникин; кандидат филологических наук; доцент; Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина; доцент кафедры русского языка; ORCID 0000-0003-0103-8089; aanikin@rambler.ru; сфера научных интересов: история, теория, преподавание литературы.

The author's profile: Anton Andreevich Anikin; Candidate of Philology; Associate Professor; Russian State University named after A. N. Kosygin; Associate Professor at the Russian Language Department; ORCID 0000-0003-0103-8089; aanikin@rambler.ru; research interests: history, theory, methods of teaching literature.

**ЭМИГРАЦИЯ VS СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ**

**EMIGRATION VS SOVIET LITERATURE:
A DIALOGUE IN THE CONTEXT
OF INTELLECTUAL HISTORY OF RUSSIA**

Нина Осиповна Осипова
Вятский государственный университет,
Киров, Россия

Nina Osipovna Osipova
Vyatka State University,
Kirov, Russia

Аннотация

В статье рассматриваются основные тенденции оценки советской культуры и литературы критикой русского зарубежья 1920–1930-х гг. В основу предложенного историко-культурного подхода положен принцип диалогичности, который базировался на основных доминантах национальной модели культуры: литературоцентризме, дуальных моделях ментальности, представлении о единстве и целостности русской культуры, опоре на традицию русской интеллектуальной истории XIX в.

Ключевые слова: диалог культур, бинарные модели культуры, советская литература, критика русской эмиграции.

Abstract

The paper examines the main trends in the evaluation of Soviet culture and literature by the Russian émigré critics of 1920–1930's. The author applies a historical and cultural approach based on the principle of dialogism, which in its turn rests on the main Russian culture dominants: literature centrism, dual model of mentality, unity and integrity of Russian culture, and Russian intellectual tradition of the 19th century.

The émigrés' reflection on Soviet literature is analyzed in terms of identity search and deep genetic essence of Russian culture and its system of values.

The dialogue was mainly evolving in the sphere of literary criticism and journalism. We traced the connection between émigré and Russian

democratic criticism of the 19th century (Herzen, Saltykov-Shchedrin, etc.), which is particularly reflected in the dispute in the journals of the 19th and early 20th centuries. The excerpts from various critical articles and reviews of this period demonstrate the common approach of their authors to the analysis of literary phenomena. Having studied the articles from émigré and Soviet newspapers and journals (A. Bem, G. Adamovich, R. Gul, F. Stepun, J. Sazonova, etc.) the author comes to a conclusion that the Russian literature and the Russian criticism on both sides of the border though opposing and polemical, in fact show historical integrity and mutual attraction. One of the factors determining these reciprocally exclusive trends in the criticism of Soviet literature is the development of relativism, which overall characterizes Western European mindset.

The analysis of the publications in the journals *Sovremennye Zapisky* (*The Modern Notes*), *Russkie Zapisky* (*The Russian Notes*), and *Tchisla* (*The Numbers*) demonstrates that traditional emigration model “one’s own — alien” was gradually transforming into “one’s own — another”. There is a tendency to understand, and sometimes justify the Soviet art. Special attention is paid to the articles with serious analysis of Soviet literature, its topics, poetics, and genres. The traditional standpoint of the émigrés has evolved from ideological labeling to serious and thoughtful analysis, thus developing scientific criteria in further deep analysis of Russian and Soviet literature by G. Nivat, M. Aucouturier, J.-C. Lanne, N. Struve, V. Losskaya, C. Clarke, J. Soumela, S. Gartsiano, etc.

Key words: the dialogue of cultures, binary models of culture, Soviet literature, the Russian émigrés criticism.

Введение. Удерживая в поле внимания обозначенный в названии статьи вектор исследования и предложив характеристику основных дискурсов, связанных с рефлексией советской литературы русской эмиграцией, мы сочли возможным поразмышлять над этими проблемами в контексте генезиса их философских и историко-культурных основ. Можно выделить по крайней мере три важных категории в смысловом поле данного феномена, с которыми связана формулировка темы: «диалог», «национальная идентичность», «русская интеллектуальная история».

Актуальность и новизна предложенного подхода определяются ракурсом исследования — вектор литературной критики русского зарубежья вписан в пространство русской интеллектуальной истории, что позволяет установить связь с традицией литературно-критической мысли XIX в.

Методология. В обозначенном контексте представляется значимой метафора «корни и крона», репрезентирующая сразу два полюса проблемы (как системную дихотомию явления и как соотнесенность понятий «источник — следствие»). Эта метафора неоднократно встречается в разных вариациях, начиная с Гиппократов, сравнивающего болезнь с деревом, у ко-

торого есть корни — причина любой болезни, и крона — ее следствие). Этот образ в очерке о С. Волконском («Кедр») использовала М. Цветаева, которой близка мысль А. Белого, подчеркивавшего, что «акт революции двойствен; он — насильствен, он — свободен; он есть смерть старых форм; он — рождение новых; но эти два проявления — две ветви единого корня <...>» [Белый: 301]. Заметное место эта метафора занимает и в исследованиях исторических (в том числе и историко-культурных) процессов, когда речь идет об их генетической природе.

Методологическое основание концепции базируется на теории дуальных структур и бинарных моделей культуры (Вяч. Вс. Иванов, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), теорию диалогизма М. М. Бахтина и «диалогического персонализма» М. Бубера), семиотику зеркальности и зеркальных систем в культуре (Л. Н. Столович).

В связи с этим проблему рефлексии эмиграцией советской литературы и Советского Союза необходимо рассматривать в двойном аспекте: как проблему поиска собственной идентичности и как проблему, восходящую к глубинной генетической сути русской культуры, языка и в конечном итоге той системы ценностей, которая связана с аксиологическими основами. Об этом, собственно, размышляла и вся русская литература, пытаясь заглянуть в тайну русской души. При этом вопрос об идентичности (кто мы? где наши истоки?) остро стоял как в среде эмиграции, так и в метрополии, потому что идентичность придает жизни человека осознанный и предсказуемый характер (не случайно эта проблема волновала всех историков и философов русской эмиграции — Г. Вернадского, Г. Федотова, Н. Бердяева и др.): почему Россия «самая безгосударственная и самая анархическая страна в мире» и одновременно «самая государственная и самая бюрократическая»? [Бердяев: 4, 6]. Эти противоречия новой русской литературы в ее отношении к обществу и строю пытались осмыслить эмигрантская критика, отмечая одновременное стремление к противоборству с властью и попытки вписаться в новую власть (в этой связи Г. Струве упоминает творчество наиболее заметных советских писателей [Струве 1996]). Историко-философские работы вышеназванных представителей русской эмиграции являются отправной точкой для методологической базы исследования. Кроме того, в работах современных отечественных и зарубежных историков культуры [Кондаков 2003; Кондаков 2008] и эмигрантологии [Коростелев; Сорокина; Нива], освещающих особенности функционирования двух ветвей русской культуры XX в., рассматриваются сложные процессы их взаимодействия.

Основная часть. В острый период культурного раскола (что характерно для всех переходных эпох) определяться с идентичностью возможно только находясь в контексте диалога, причем обе ветви культуры воспринимали

провокационную напряженность этого диалога, отличавшегося болезненностью, непримиримостью, гипертрофированностью, предельной экспрессией. В то же время культурной основой этого диалога был эффект зеркальности: «Что мы хотим увидеть и что мы видим, смотрясь в зеркало? Другого? Или самих себя? Или себя как другого? Или себя как Чужого? Или Чужого как себя?». Вечный вопрос пушкинской сказки: «Я ль на свете всех милее?» — приобрел поистине онтологический смысл.

При всей жесткости и непримиримости оценок эмиграция и метрополия пристально всматривались друг в друга — эти две ветви одного корня и одной культуры, разделенные революцией и гражданской войной на ценности прошлого и ценности будущего.

Философское «ядро» подобного отражения очертил в своем позднем эссе «Человек у зеркала» М. Бахтин, связав его с «диалогической моделью ближнего»: в зеркале личность воспринимает не себя, а тот образ, который она хочет продемонстрировать другому. В этом плане *Другой* — это внутренняя икона *Я*, а в ситуации кризисных и переходных эпох феномен *Другой* трансформируется в феномен *Чужой*. В человеке перехода обострено стремление к идентичности (через всматривание в себя), отсюда и проблема зеркала как собственного бытия: оно себя фиксирует через неравность себе и «невозможно отличить — я ли это или мой минотавр, мой подпольный человек, мой черный человек» [Бахтин: 240]. Подобное стремление к взаимоупору антиномичных явлений, по мнению С. Аверинцева, — это наследие Византии, ставшее органичной чертой российской культуры, придающей ей в то же время целостность: «Вообще говоря, всякая культура живет сбалансированным противоборством противоположностей... Чем выделяется ранневизантийская культура, так это тем, что в ее кругу крайности особенно контрастны, а их приведение к единству особенно парадоксально» [Аверинцев: 239].

Не случайно в откликах эмиграции на советскую литературу нередко обращение к метафоре «зеркала»: «<...> все эти рассказы и очерки <...> для зарубежного читателя — зеркало, отражающее далекую Россию. Пусть зеркало отражает ее тускло или извращенно, пусть эти зарисовки бледны или лживы — зарубежный читатель жадно в них вглядывается. Занятие это порою мучительно...» [Цетлин: 483].

Оппозиция «свой — чужой» в системе самоидентификации русской эмиграции.

На первом этапе русская эмиграция идентифицировала через советскую литературу себя, а не другого, накладывала стереотип своего опыта на другого (чужого), вместо понимания этого другого. Этот эффект Ж. Делез назвал (правда, совсем в другом контексте и по другому поводу) «симулякром понимания», когда в стремлении «<...> объяснять, развивать мир, выраженный другим, ради участия в нем либо его опровержения (я разво-

речаваю испуганное лицо другого, я развиваю его в страшный мир, чья реальность меня поражает, или чью ирреальность я выявляю)» [Делез: 315]. Трагический раскол российской цивилизационной идентичности на Россию советскую и Россию зарубежную имел характер в большей степени социокультурного и геокультурного сдвига, а не сущностного. Этот процесс и обусловил мучительные метания русской эмиграции между разрывом с метрополией и стремлением к сохранению единства. Еще Г. Флоровский писал в свое время, что «завязка русской трагедии сосредоточена именно в факте культурного расщепления народа» [Флоровский: 270], а Г. Федотов, характеризуя парадоксальное восприятие *русскости* в эмигрантской среде, применил к русской ментальности метафору «двоецентрия», «двух-желткового яйца», «эллипса с двумя разнозаряженными центрами» [Федотов: 173]. Примечательно в связи с этим и вынесенное в качестве метафоры в заголовок книги Р. Гуля полузабытое слово «одвуконь», имеющее такой же смысл [Гуль 1973].

Наиболее последовательно бинарная логика русского национального сознания реализовалась в таком «метаисторическом свойстве русской культуры, как литературоцентризм, — упорном тяготении культуры в целом к литературно-словесным формам саморепрезентации» [Кондаков 2008: 5]. Примечательна в связи с этим фраза Бунина о том, что в нынешней ситуации виноват «литературный подход к жизни», который «отравил нас» [Бунин: 119]. О литературоцентризме как доминанте культурного сознания писал в связи с полемикой и Ф. Степун, подчеркивавший, что именно в пространстве литературы «<...> разрешались и социальные, и политические, и моральные, и даже религиозные вопросы. Она была одновременно и предпарламентом, и как бы церковью русской интеллигенции» [Степун 2002: 264]. В то же время автор предупреждает, что нельзя призывать эмиграцию, «<...> самую судьбою поставленную на страже духовной свободы творчества, к политизации искусства, ради борьбы с большевиками <...>» [Степун 2002а: 246–247].

В диалоге эмиграции с советской культурой последняя воспринималась сквозь призму образа Чужого. Основным пространством этого непростого диалога стали литературная критика и публицистика, и в попытке понимания и преодоления антиномии «свой — чужой» формировалась ситуация «взаимоупора». Не принимая «Совдепию» с ее большевистским режимом и геноцидом собственного народа, эмиграция столь же неистово не приняла и ее культуру. Правда, в пространстве сознания эмиграции советская литература, начиная примерно со второй половины 1930-х гг., раздвоилась на две «ветви» — собственно «советскую» (постреволюционную) и тоталитарно-государственную, литературу «лозунга-пароля». Весь драматизм этого понимания опять-таки формируется бинарностью русской культуры, в основе которой лежит дуальное сознание и дуальные структуры (при-

чем без переходной зоны), которые создавали баланс разнонаправленных векторов культурно-исторического развития, или целостность антиномии. И, как это следует из исторического опыта, в эпоху исторических сдвигов бинарная логика оказалась более выраженной. Это отчетливо продемонстрировала ситуация притяжения — отталкивания даже на уровне равновеликих по силе и мощи художественных систем — М. Цветаевой и В. Маяковского (см.: [Полежаева]).

Возвращаясь к метафоре «корни и крона», следует подчеркнуть, что подобный тип противостояния и неприятия двух литератур (эмиграции и метрополии) восходит к традиции, в которой литературно-эстетические тенденции всегда переходили в идеологические или сопровождались ими... Еще в XIX в. П. Вяземский говорил, что литература превращается в средство и орудие, роль которого играют литературная критика и публицистика. По аналогии с известной фразой, ошибочно приписываемой Достоевскому, «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» о русской литературной критике XX в. можно сказать: «вся она вышла из критики XIX в.», которая всегда была в России гораздо большим, чем разговор о литературе.

Уже русская демократическая критика (Белинский, Чернышевский, Добролюбов) балансировала на грани идейного деспотизма и духовной диктатуры (пусть даже с самыми высокими и благими целями). В связи с неразвитостью парламентаризма, легальных политических сообществ свобода слова в России всегда понималась как «свобода печати», а острые идеологические и политические проблемы переносились на страницы литературных произведений или оформлялись в жанрах эссе, «писем к другу», «писем к читателю» и др. Все это провоцировало непримиримость оценок, когда вопрос о художественности сопровождался нападками на представителей эстетической критики и «теории чистого искусства» (классический пример — обличительные статьи в «Современнике»), а размышления о литературе неизменно перерастали в идеологические дискуссии (как, например, в журнальной полемике о творчестве Достоевского, Тургенева, Чернышевского).

Одновременно свойственные отношению к литературе острота и резкость полемического «задора» критики «извне» и «изнутри» свидетельствуют о непримиримости сторон. Так, Н. Щедрин (Н. Е. Салтыков-Щедрин) отзываясь о статье Ф. М. Достоевского «Щедродаров, или Раскол в нигилистах»: «<...> я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи <...>» [Щедрин: 245]. В другом публицистическом выпаде в адрес Достоевского он выражается еще резче: «<...> все ваше русское есть не более как арбузные корки, выкинутые вам покойною “Русскою беседой” за ненадобностью <...> в нас только и есть русского, что “Мертвый дом” <...>» [Щедрин: 245, 236].

В течение всего столетия литература была ареной напряженной идеологической борьбы. Уже с момента создания первого цензурного Устава в 1804 г., являясь практически единственным рупором общественного мнения в стране, печать становилась огромной общественной силой. Цензурные условия стимулировали мощную идеологизацию любой дискуссии, даже самой невинной, которая обретала политизированную направленность. Политизированная литература, политизированная критика, дискуссии между сторонниками и противниками чистого искусства, сторонниками и противниками реформ. «Общество <...> кажется утомленным свободой прежде, чем даже успело её получить. Оно опасается крайностей свободы, не успев насладиться ею», — это Герцен [Герцен 1962: 474]. Но не политикой была обусловлена приведенная мысль — статья А. Герцена называлась «Новая фаза в русской литературе» и представляла литературный обзор. А в одном из писем Н. Огареву он наделяет роман Н. Чернышевского «Что делать?» следующей характеристикой: «форма скверная, язык отвратительный» [Герцен 1962: 538]. Несомненный литературоцентризм свидетельствует о двойном видении: критерием оценки литературных произведений становилось их отношение к решению острых вопросов, а критерием оценки исторической ситуации — характер ее преломления в литературе: «Литература у народа, не имеющего политической свободы, — продолжает Герцен, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести» [Герцен 1937: 391].

Пример тому — издававшиеся Герценом в эмиграции «Колокол» и «Поллярная звезда», издания, которые положили начало «вольной» русской прессе, формировали демократические идеалы международной политики, европейской культуры, боролись со славянофильством, цензурными репрессиями, развивали сатирическую и обличительную публицистику. И уже к концу XIX в. за рубежом функционировало несколько десятков эмигрантских периодических изданий — от либеральных до анархистских и монархических («Стрела», «Свободное слово», «Благонамеренный» в Берлине, «Будущность» в Лейпциге и Париже, «Правдивый» в Лейпциге, «Листок», «Европеец» и многие другие). По данным «Сводного каталога русской нелегальной и запрещенной печати XIX века» только во второй половине XIX в. за границей выходило более 60 наименований русской периодики [Сводный каталог 1982].

И это естественно — ведь по разным подсчетам с 1828 по 1915 г. из России выехало более 4,5 млн человек, т. е. интеллектуальная жизнь России еще задолго до 1917 г. развивалась на двух пространствах, сохраняя в то же время тенденцию к целостности. Культурная и политическая элита русской эмиграции, будучи оппозиционно настроенной по отношению к установившемуся в государстве режиму, всегда полагала, что имеет

право влиять на судьбу исторической родины и ее культуру. Эти задачи обусловили вектор диалога двух ветвей русской культуры, принцип «зеркальности» этого диалога — тексты эмигрантской литературной критики получали мгновенную рефлексию в русской легальной прессе, часто перепечатывались и рецензировались в России (пример этому — полемика М. Каткова и А. Герцена в «Современной летописи», «Русском вестнике»). При этом русская литературная и политическая эмиграция XIX в., вступая в полемику и резко отзываясь о тенденциозной направленности русской литературы, не переставала идентифицировать себя с русской культурой и русским обществом. Будучи символом свободы и вольномыслия, она одновременно выступала в качестве хранителя вечных ценностей, видя в этом свою миссию, которую они и передали в наследство своим последователям.

В этом контексте можно объяснить широкое распространение самых разных подходов к отечественной истории и культуре — от либеральных («Освобождение» П. Милюкова, Париж, 1902–1905) до анархистских («Анархист», Париж, 1907–1910).

Сложившаяся в русской журнальной полемике традиция, связанная с потребностью через оценку литературных произведений откликаться на самые злободневные вопросы современности, воздействовать на мировоззрение читателей, в известной степени оказала влияние на оценку советской литературы эмиграцией и эмигрантской литературы советской критикой.

Не случайно В. Руднев, публикуя в 66-м номере «Современных записок» (1938) письма А. Герцена к дочери, предваряет их предисловием, в котором подчеркивает, что трагическая и одинокая фигура Герцена воспринимается в смысловом поле эмигрантского сознания в качестве символа — его идеи, его издательский опыт, опыт общения с российскими корреспондентами, критический пафос его публикаций, острота полемического пафоса воспринимались эмиграцией как неотъемлемые качества вольной русской прессы.

Анализ этих сложных процессов свидетельствует о том, что постреволюционный диалог двух ветвей русской эмиграции лишь отразил, как в зеркале, типичную для русской литературы остроту борьбы, в ходе которой писатели воспринимались в качестве идейных вождей. Раскол нации после Октября обусловил повышение уровня политизации и тенденциозности литературы и литературной критики как в пространстве эмиграции, так и в метрополии, что заметно по содержанию и направленности многих литературно-художественных журналов, выходящих по разные стороны границы: публицистические статьи, обзоры литературных новинок, рецензии, художественные произведения разных жанров, публикация корреспонденций из России.

Ярким примером может служить творческое наследие таких многогранных и талантливых авторов, как Р. Гуль, М. Слоним, которые наряду с серьезными литературно-критическими и литературоведческими трудами одновременно были авторами социокультурных и политологических трудов. В частности, М. Слониму принадлежат не только такие работы, как «Портреты советских писателей», «Советская литература» (в соавторстве с Д. Риви), множество переводов западной классики, но и такого рода произведения, как «Большевизм с точки зрения русского», «Русские предтечи большевизма», «От Петра Великого до Ленина: история русской общественной мысли» и др.

Еще одним доказательством может служить небольшая выборка из фрагментов литературно-критических статей и рецензий, относящихся к XIX и XX вв., в которой отчетливо прослеживается общность подхода к анализу литературных явлений, стилевые переключки, демонстрирующие власть сложившейся традиции (таблица 1).

Таблица 1

<p>А. Бем: «Литература в России переживает исключительно трудное время. Бороться приходится уже не только за содержание произведения, но и за его форму <...>. Насилие над содержанием литературы ужасно, но не смертельно. Но насилие над формой, как это ни странно, для литературы еще страшнее. Ибо расторгается самая ткань литературы. И следить, как запретная литературная форма пробивается сквозь насильно ей навязанные тиски, необычайно мучительно...» [Бем 1933: 463–464].</p>	<p>А. И. Герцен: «Нельзя не протестовать против ужасных дел и ужасных слов, нельзя отойти от беснующихся сил, от бесчеловечной бойни и еще больше от бесчеловечных рукоплесканий. Может, нам придется вовсе сложить руки, умереть в своем а'parte прежде, чем этот чад образованной России пройдёт...» [Герцен 1962: 415].</p>
<p>Г. Адамович: «Донкихотство, обращенное на ветряные мельницы, может быть привлекательно, донкихотство кровавое отвратительно, как бы ни было романтично <...>. Советская литература не оборвалась, а выдохлась. В последние годы она еще продолжала по инерции воевать с призраками — пока не увидела, что дело становится не только устарелым, но и опасным» («Памяти советской литературы» [Адамович 1937: 207].</p>	<p>А. И. Герцен: «Ни одного дарования не принёс с собой этот кровавый прибой, эти свинцовые, чёрные волны. <...> В России нет больше книг; газеты все поглотили» [Герцен 1962: 580].</p>

<p>Г. Адамович: «Свободы не прибавилось, свобода исчезла окончательно. Ослабление надзора и цензуры не могло дать ничего хорошего при наличии незыблемого государственного символа веры, который <...> с каждым годом становился все более двусмысленным или, правильнее сказать безмысленным» [Адамович 1938: 180].</p>	<p>А. И. Герцен: «И. Тургенев вдохновляется страстями и становится человеком политики, пишет тенденциозные романы. Его герои превратились из живых людей в носителей мысли <...>» [Герцен 1962: 528].</p>
<p>Ф. А. Степун: «Но в том-то и значение советской литературы, связанное не с ее талантливостью, а с ее тематической обреченностью, что она призывает ко второму взгляду, которому в масштабе событий, в их ритмах и скоростях вскрывается страшный смысл совершающегося: смысл взрыва всех смыслов, смысл выхода русской жизни за пределы самой себя, смысл неосмысливаемости всего происходящего гибели буржуазного строя и насаждением коммунистического [Степун 2002а: 281].</p>	<p>А. И. Герцен: «Какая-то тревога проникает в душу <...>. Целый мир разлагается и перестраивается...» [Герцен 1962: 580]. И далее: «Но какое состояние, какая пропасть между нашими новыми стремлениями <...> и призраками патриотизма XVII века с его проповедью истребления, крови и виселиц, поддержанной большинством» [Герцен 1962: 518–519].</p>

Даже самый беглый взгляд на характер литературно-критического диалога в отношениях эмиграции и СССР свидетельствует о том, что его основные характеристики органично вписываются в модель полемики в журналах XIX — начала XX вв., наследуя уже сложившиеся за предшествующий период традиции русских эмигрантских изданий, представлявших разнообразный спектр оппозиционной мысли России за границей.

Своеобразным «промежуточным» звеном, являющимся ярким образцом синтеза литературной и общественно-критической сферы, можно считать недолго выходивший журнал «Красное знамя» (1906) под редакцией А. Амфитеатрова. Антимонархическая направленность журнала, его борьба за гласность, мощная литературная основа (публикации произведений Горького, Бальмонта, Волошина, Вас. Немировича-Данченко), обзоры и рецензии вырабатывали особый тип литературной критики, проникнутой полемическим запалом по отношению к выходящим в России произведениям «социально-актуального толка». Во многих отношениях «Красное знамя» может быть сравнимо с «Современными записками» по формату, стилю, пафосу, литературоцентристской направленности с той лишь разницей, что «Записки» выходили в кардинально иной исторической ситуации.

Между тем расслоение критической мысли постреволюционной эмиграции XX в. в оценках советской литературы вовсе не означало наличия «<...> двух разных систем смысловых структур и ценностей русской культуры <...>» [Кондаков 2003: 361–362]. Вполне очевидно, что «мессианский миф», с которым связывали мировоззрение русской эмиграции, на самом деле складывался уже с первых шагов вольной русской прессы за границей. Напомним, что уже с момента введения цензурного Устава 1804 г., а особенно цензурного законодательства 1862 г. велась борьба с оппозиционной периодикой через поддержку проправительственных изданий и проправительственной литературной критики, что во многом и отражало системность «дихотомической» модели культуры в литературной борьбе. Поэтому, как представляется, не случись революции и эмиграции, картина литературной полемики разворачивалась бы внутри России точно в таком же «изводе», и, таким образом, как это ни парадоксально, через резкую полемику с советской литературой и идеологией эмигрантская мысль, будучи вторым «ядром» дихотомии, обретала искомую целостность с родной культурой, ощущая себя ее неотъемлемой частью. Через оценку советских писателей эмиграция не только всматривалась в то новое, что складывалось в России, но и считала своим долгом влиять на своих соотечественников; отсюда и свойственный эмигрантской критике характер историзма (русская культура была по природе своей культурой *исторической*), которому зачастую приносился в жертву эстетический фактор — то, что Л. Геллер обозначил (правда, по другому поводу) как «ритуализация критического акта» [Геллер: 442].

Показательно в этом отношении печально известное эссе советского критика Анат. Дивильковского, опубликованное в журнале «Печать и революция» (1926, № 6–7). Критик, с пафосом обрушиваясь на «Современные записки» и сравнивая этот журнал с «Волей России», применяет к их анализу критерий в духе ортодоксального деления по политическому признаку. Автор не выбирает выражений при характеристике «Современных записок», который, по его мнению, представляет «коллекцию язв», и обвиняет его в «исторической лжи», «балаганности», «большевикоедстве» [Дивильковский: 9–27.].

Примечательна также реакция советской критики на выход первого номера «Верст-I». А. Воронский в журнале «Прожектор» (1926, № 18), с удовлетворением констатируя интерес эмиграции к советской литературе, тем не менее считает «Версты» изданием «сомнительным», «благие пожелания и намерения» которого «<...> не только не могут принести пользы, но могут оказаться прямо вредными, содействуя росту сменовеховских, узко-националистических настроений среди колеблющейся части наших писателей» [Воронский: 19]. С другой стороны, размышления о художественности в эмигрантской критике тоже вводятся в идеоло-

гический контекст, а литературная критика смыкается с публицистикой. В частности, Ю. Фельзен в «Числах» в оценке «Тихого Дона» М. Шолохова подчеркивает «мертвость большевистски благонамеренных типов» и «жизненность, любовное изображение “типов контрреволюционных”, а также “вялость” всего “неказачьего”» [Фельзен: 240]. Ю. Мандельштам в рецензии на литературный раздел «Красной Нови» в том же номере «Чисел» говорит о «социальном задании» и штампах, бездарности большинства поэтов, случайности поэтической образности, неудачах Л. Леонова, П. Павленко и одновременно эмоционально спорит с советским критиком М. Добрыниным по поводу обвинения К. Федина в «мещанстве» в духе вульгарно-социологического канона [Мандельштам: 220]. М. Цетлин, рецензируя советскую «Красную Новь» и комментируя либеральный курс журнала, отраженный в его художественном отделе, с одной стороны, отмечает «более или менее талантливую бытовую беллетристику», с другой — не отходит от традиционной идеологемы: «<...> мы должны, оставаясь твердыми в своем, хорошо знать чужое и враждебное, чтобы когда-нибудь, на еще неведомых путях, его победить» [Цетлин: 483].

Как явствует приведенный анализ специфики культурного диалога, советская культура и культура эмиграции оставались литературоцентричными, и это во многом сближало обе ветви и определяло вектор их оценок. Их сближали также такие явления, как идея мессианства, построение утопических (или антиутопических) моделей, тяга к мифотворчеству (пассеистической направленности у эмигрантов, футурологической — у советских авторов), высокая степень графоманства... И в СССР, и в русском зарубежье были просоветски и антисоветски настроенные писатели и критики. Так, И. Ильин резко высказывался об Ахматовой, находя в ее строчках элемент «развязности», а Маяковского называл «одним из безобразнейших хулиганов-рифмачей», «бесстыдным орангутангом», «<...> гнусные строчки которого вызывали в нас стыд и отвращение» [Ильин]. П. Муратов, обладающий определенной лояльностью, тонким художественным чутьем и интуицией, также нелицеприятен и категоричен в оценках: «Проза революционной России нисколько в общем не революционна, а или болезненно упадочна <...> или упряма в своем консерватизме <...> Передовой в смысле искусства или новаторской она не является ни в какой степени и ни в какой мере...» [Муратов: 246].

Формирование культурной модели релятивизма в границах оппозиции «свой — другой».

Размежевавшись по разные стороны границы, русская литература и литературная критика, концентрируя в себе высокую степень полемического огня и противостояния, в реальности демонстрировали как раз историческую цельность и взаимное тяготение. Это очень хорошо понимали некоторые представители эмигрантской критики: в частности, в «Русских

записках» Г. Адамович иронически заметил по этому поводу: «Можно было бы написать стройную с виду историю советской литературы: в первом случае это была бы история сотрудничества, история процветания всякого рода литературных ростков под благодетельным руководством сверху... Во втором — история борьбы и сопротивления» [Адамович 1938: 176–177]. Но эту формулу можно отнести и к эмигрантской литературе, где тоже сформировались противоположные точки зрения на советскую литературу и, соответственно, на значимость эмигрантской, хотя и там и там, по аргументированному наблюдению Е. Эткинда, поэзия (и не только поэзия) отличалась выраженной политизированностью [Эткинд: 9–30].

В то же время эмигрантская критика не учитывала вполне объективного фактора — социокультурную ситуацию и формирующуюся как на Западе, так и в Советском Союзе и набирающую силу массовую культуру. Стремительное развитие культуры массового спроса в России и на Западе, сопряженное с политизированной почвой, еще более отодвигало читающую публику от эстетических запросов. Не случайно Троцкий утверждал, что толстые журналы были «<...> лабораториями, в которых вырабатывались идейные течения: отсюда они получали свое общественное движение» [Троцкий: 3]. А в русской интеллектуальной истории они укрепили деление общественной мысли на либеральную и консервативную (реакционную), каждая из которых высказывалась не только по политическим проблемам, но и по литературным... Это обстоятельство способствовало тенденциям к сравнениям и параллелям, связанным с XIX в., как, например, у Р. Гуля. Характеризуя структуру подавления литературного творчества в Советском Союзе (Главлит, Культпроп, Литконтроль ОГПУ), автор сравнивает ее с состоянием цензуры в дореволюционной России, отмечая при этом, что в царской России уже происходило превращение цензуры «<...> из органа предварительного просмотра всего предполагаемого к печати материала в карающий орган надзора за уже вышедшими изданиями» [Гуль 1938: 439]. Однако государственный аппарат СССР довел наметившуюся тенденцию (которую Гуль называет «кустарной») до крайности, о чем свидетельствуют карательная система и судьбы писателей в Советском Союзе.

Со временем устоявшаяся в эмиграции модель оппозиции «свой — чужой» постепенно трансформируется в оппозицию «свой — другой» и выражается в стремлении понять (а в каких-то аспектах и *оправдать*) советское искусство. Как представляется, одним из факторов, определивших появление подобных взаимоисключающих тенденций в оценке советской литературы эмиграцией, стало формирование культурной модели релятивизма, характерной в целом для западноевропейского сознания.

Так, П. Н. Милюков уже в 1930 г. на литературном вечере в честь журнала «Числа» поставил в вину части литераторов эмиграции то, что они

в отличие от литературы в России слишком оторваны от жизни. Заслуживает внимания и суждение В. Ходасевича, который в статье «Литература в изгнании» (1933) говорил о том, что «обе половины русской литературы ещё живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме и по причинам, но одинаковым по последствиям» [Ходасевич: 466].

Подтверждением может также служить и литературно-критический цикл «Письма о литературе» в «Молве» А. Бема (1932), упрекавшего эмигрантскую критику в «жеваном языке», отсутствии остроты, «сонности» мысли. В своем пассаже из фрагмента «Магический реализм» автор вступает в полемику с С. Шаршуном по поводу его термина «магический реализм», который тот применяет к эмигрантской литературе, и при этом высказывает мысль о том, что в отличие от эмигрантской литературы советская литература опирается на современность и реальную жизнь: «Ни магии, ни мистики здесь нет. <...> литература советская всегда чем-то задевает, как-то волнует, а даже очень литературно высокие достижения эмигрантской литературы оставляют холодными, не трогают» [Бем 1932: 2]. Г. Адамович, говоря о К. Вагинове, находит в советской литературе «остро враждебную беллетристику», в то же время удивляющую «неподдельной, глубокой взволнованностью» [Адамович 1923: 2]. А в обзоре 1938 г. Г. Адамович даже называет советский период русской литературы «страдальческим», проявляя лояльность к творчеству Ю. Германа и Л. Леонова [Адамович 1938: 240–259].

Попытку достаточно сложного восприятия советской литературы представляет и статья Ф. Степуна «Советская и эмигрантская литература 1920-х годов». Возлагая на эмиграцию вину за ситуацию в России («погубили старую Россию, не плакать же о большевистской <...>») и разделяя «советскую литературу» и «советский строй» (по его мнению, это «непримиримые враги»), автор призывает к необходимости учитывать реалии культурной жизни России. Он критически высказывался о тех эмигрантах, которые считали, что в Советской России все делается «<...> во вред России и во славу большевиков, и лишь то, что делается или даже не делается в эмиграции, делается во славу России и на смерть большевикам <...> Причем в качестве России утверждается ее прошлое, эмигрировавшее на Запад; настоящего же в России пока нет, так как им завладели большевики» [Степун 1962: 199].

Исследуя причины ненависти эмиграции к России, Ф. Степун приходит к выводу, что беженцы, как и сами большевики, с одинаковой силой отвергают нынешнюю настоящую Россию, одни — во имя прошлого, другие — во имя утопических идей будущего. Между тем настоящая Россия — это синтез прошлого и будущего. Принципиально важен для автора тезис, что «<...> советская литература вырабатывается отнюдь не в идеологических лабораториях коммунизма, а вопреки ему и в обличении его орга-

нически вырастает из того опыта развала, распада, страдания и безумия, в котором крутится сейчас Россия» [Степун 2002: 285].

М. Слоним в полемике с З. Гиппиус признается, что, «как ни была бледна русская литература за пережитые шесть лет, все новое, значительное, интересное, что она дала, пришло из России, а не из-за границы» [Слоним: 57].

С ослаблением резкого полемического запала подобных суждений становилось все больше. Пример тому — Г. Струве, который в известном исследовании «Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917–1953» (1971) достаточно убедительно выделяет на фоне политизации литературного дела, жесткого контроля со стороны партийных и карательных органов действительно оригинальные произведения, заслуживающие внимания западного читателя в силу свежести и оригинальности видения. Обращение к творчеству советских писателей приводило Г. Струве к мысли, что советский период в литературном отношении не был пустым, он ввел в мировую литературу немало блестящих художников слова, произведений, которые отличались оригинальностью стиля, свежестью взгляда и поэтому, несомненно, заслуживали быть переведенными и читаемыми за рубежом. В то же время Г. Струве отказывал Советской России в «большой литературе» (в системном плане), которая не может сформироваться в условиях подавления свободы [Струве 1971]. Об этом, кстати, в свое время писал и Герцен в статье «Новая фаза русской литературы», где утверждал, что русская литература гибнет, захлебнувшись в «кровавом прибое» террора... [Герцен 1937: 417–441] Эта идея оказалась востребованной таким идейным течением пореволюционной эмиграции, как евразийство. Уже в первом евразийском сборнике «Исход к Востоку» (1921) авторы многократно цитировали Герцена, а Г. Флоровский посвятил ему свою магистерскую диссертацию. Во многом не без влияния евразийства, идеи которого были глубоко укоренены в русской национальной традиции, литературная критика эмиграции оценивала советскую литературу сквозь призму «пассионарности» русской культуры, о чем в процессе интерпретации и оценки русской классики размышлял в свое время и А. Герцен, наделяя ее особым свойством в сравнении с западноевропейской литературой: «Литература у народа, политической свободы не имеющего, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести» [Герцен 1937: 391].

В контексте новой художественно-эстетической стратегии конца 1930-х гг. может быть осмыслена полемика (как прямая, так и косвенная) вокруг советской литературы в периодике эмиграции второй половины 1930-х гг. В кругу этой полемики заслуживает внимания диалог Г. Адамовича на страницах «Русских записок» [Адамович 1937: 207–210] и Е. Кусковой в «Последних новостях» [Кускова: 2–3].

Эмоциональный пафос Г. Адамовича на тему «поминок по советской литературе» отражал рефлексию эмиграции на «духовный перелом» как знак тоталитарной эпохи. Двадцатые годы автор характеризует как «страдающий и духовно-серьезный период русского творчества», несмотря на бедность и наивность приемов, торопливость и грубость, придавленность «творческой личности». Однако это и было тем, что называлось «советской литературой», у истоков которой стояла поэма А. Блока «Двенадцать». При этом под советской литературой Г. Адамович понимал только литературу революционного периода, насыщенного энтузиазмом, искренностью писателей в порыве создания новых форм творчества, что не встречало запретов «сверху» и не подвергалось регламентации, как это случилось позже.

Е. Кускова в ответной реплике не столько полемизирует (в прямом смысле) с Г. Адамовичем, сколько пытается обозначить еще одну важную основу формирования литературного сознания советского писателя — социально-историческую, в границах которой просматриваются более отдаленные факторы: в частности, она упоминает народническую художественную литературу как «памятник» разночинной интеллигенции, которая, имея богатый опыт понимания крестьянства, не сформировала, однако, опыта общения с пролетариатом. Основной вывод автора заключался в том, что «<...> диалектический материализм, примитивно понимаемый, и погубил духовную культуру пролетариата и связавшей себя с ним интеллигенции» [Кускова: 2], что, в свою очередь, объясняется «ложно-марксистским» презрением к роли таких «вторичных факторов», как политика, духовная жизнь, психология, право и т. д., а также апологетикой «первичного фактора» — экономики. В качестве аргументации Е. Кускова приводит опубликованное в «Социалистическом вестнике» (1937, № 2) письмо Энгельса к Блоху (1890), где адресант признается в односторонности марксизма по отношению к признанию первичности экономического фактора. Этот фактор, по мнению Е. Кусковой, оказал решающее влияние на развитие вульгарного социологизма в русской литературе: «<...> чугуны и стальные гиганты, заводы и фабрики <...> и тут же — человек с чугунными мозгами и стальным сердцем, непроницаемый ни для каких идей и ни для каких чувств и восприятий» [Кускова: 2].

Но уже спустя год Г. Адамович в большом обзоре «Литература в СССР» в рамках серьезного аналитического обзора, оставаясь в русле собственной концепции, если и не смещает акценты, то по крайней мере учитывает множественность факторов развития литературного процесса в СССР и, что особенно важно в данном контексте, делает это уже с позиций целостности русской литературы (возможно, под влиянием прошедшего годом ранее пушкинского юбилея с его мощным общекультурным и историческим резонансом) [Адамович 1938]. Учитывая, что к названной статье

Адамовича достаточно часто обращаются исследователи его литературно-критического творчества, обратим внимание только на одно обстоятельство: говоря об окончательном уничтожении свободы в СССР, критик предостерегает эмиграцию от «обычных и стереотипных эмигрантских сарказмов» [Адамович 1937: 184], потому что у миллионов безграмотных людей, «вовлеченных в культурную жизнь революцией», уровень художественных требований таких художников, как, например, Шостакович и Пастернак, вызывает раздражение и непонимание. На этой волне понятия «народность» и «простота» стали метафорой «испорченного» вкуса. И здесь Г. Адамович в какой-то степени перекликается с Е. Кусковой в понимании истоков «бесплодия провиденциального класса».

В огромном мире откликов, рецензий и эссе, посвященных советской литературе, пожалуй, наибольшую ценность для филолога представляют исследования, в которых предпринимается попытка серьезного анализа произведений советской литературы, ее проблематики и поэтики, жанра. В сравнении с гораздо более поздними монографиями и статьями, исследующими советскую литературу как художественный текст, «первая» эмиграция сохраняла в подходе к советской литературе элемент публицистичности и тенденциозности (на фоне обстоятельных и глубоких интерпретаций русской классики К. Мочульского, М. Алданова, К. Зайцева и др.). Вместе с тем в материалах Ф. Степуна, М. Слонима, П. Муратова мы отмечаем не только «обзорноориентированный» подход, но и попытку проникнуть в специфику жанрово-стилевых доминант произведений советских авторов.

В контексте обозначенной темы обращает на себя внимание достаточно обстоятельное (несмотря на обзорный характер) исследование Ю. Сазоновой (Слонимской) [Сазонова: 493–506]. С учетом времени написания статьи, выбора ее проблематики, методологии анализа она и сегодня воспринимается как серьезный опыт проникновения в поэтику текста. Блестящий режиссер-кукольник, театровед, литературный критик, Ю. Сазонова оставила интересное творческое наследие, которое еще ждет своего исследователя.

Анализируя концепцию смерти в творчестве таких писателей, как А. Фадеев, Л. Фибих, М. Казаков, М. Алексеев, Б. Лавренев, Е. Полонский, М. Слонимский, В. Катаев, автор касается экзистенциальной сущности танатологических мотивов, проявляющейся в гипертрофированно-натуралистической образности, гиперболизации, «реалистического бреда» экспрессионистических деталей, подсознательных страхах, переходящих в чувство кошмара, которое владеет современным русским писателем. Представляя обстоятельный анализ рассказа Л. Фибиха «Колосья в крови» из сборника «Апельсиновые гетры» (1927), Ю. Сазонова отмечает ряд стиливых тенденций, свойственных новому типу художе-

ственного письма (характерного, например, и для других советских писателей): в частности, в сцене убийства читатель не видит ни убивающего, ни убиваемого, а лишь подробности, «сгущающие впечатление убийства» (например, превращение живой руки в мертвую) [Сазонова: 496]. В анализе другого рассказа («Святыни») автор подчеркивает использование принципа монтажной поэтики в описании событий. Кроме того, интерпретация рассказов представлена в ракурсе режиссерского видения и наделена элементами режиссерской экспликации отдельных сцен, их художественного решения. В глубоком осмыслении поставленных писателями проблем Ю. Сазонова обнаруживает современную трансформацию идеи «права убивать», продолжающей традицию русской классики (Л. Толстой, Ф. Достоевский). В качестве подтверждения приводится цитата из романа В. Кина «По ту сторону», где герой-коммунист говорит: «Красные убивали белых, белые убивали красных, и все это было необычайно просто», — а когда он прочитал «Преступление и наказание», то, «дочитав до конца, удивился — столько разговоров только из-за одной старухи!» [Сазонова: 499].

И здесь следует обратить внимание на глубокий анализ Ю. Сазоновой рассказов М. Казакова «Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы» и «Мещанин Адамейко», связанных общей проблематикой. «Веселое убийство» попугая («Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы») и убийство старухи («Мещанин Адамейко») — это события одного ряда. Второй из рассказов рассматривается в поле культурного диалога с Ф. Достоевским. Для нашего разговора об идентичности это обстоятельство чрезвычайно важно, потому что писатель, с одной стороны, сознательно подражая Достоевскому в «теоретическом» осмыслении экзистенциальной ситуации и стиливой манере, в то же время размышляет об эпохе, в которой «право убивать» было столь же естественным и благородным во имя революции делом, когда «разрезаны все логические и моральные нити, связывавшие воедино элементы человеческого существования. И они рассыпались отдельными непонятными клочьями, как разрозненное вакханками тело», потому что «через кровь чью-то справедливости искать нельзя», — цитирует писателя Ю. Сазонова [Сазонова: 503]. Не случайны, по наблюдениям исследовательницы, антропонимические сближения с героями Достоевского: так, Ардальон Порфильевич Адамейко, наделенный чертами Смердякова, содержит в своем имени аллюзии сразу на несколько «достоевских» имен, что само по себе символично, да еще с уменьшительно-презрительным «Адамейко» впридачу (как знак окончательного низвержения «сына человеческого»). При этом Ю. Сазонова отмечает не только органическую связь советского писателя с классической русской литературой, но и слышит в произведениях «воплъ автора о спасении». Кроме диалога с Достоевским, критик рассматривает особенности «гоголевского текста»

русской литературы — в синтезе натуралистического гротеска с мистикой, с одной стороны, и неправдоподобием, сопряженным с «бредовой убедительностью» «реалистического кошмара», — с другой: «русскому человеку, когда пьян, совсем нельзя петь. После песни ему всегда хочется смерти» [Цит. по: Сазонова: 502].

Выводы. Как следует из приведенного материала, сложность и многообразие интерпретаций советской литературы русской эмиграцией были обусловлены множеством факторов, среди которых одним из главных был исторический фактор, определивший дихотомию «свое — чужое» в установлении национально-культурной идентичности, объединяющей обе ветви русской литературы. Как явствует из содержания литературно-критических и литературоведческих статей в эмигрантских изданиях в их сопоставлении с русской классической традицией, позиция эмиграции претерпевала определенную эволюцию — от «навешивания» идеологических ярлыков до серьезного и вдумчивого анализа. Этому в том числе способствовало и внимательное обращение к русской литературно-критической мысли и публицистике. Во многом именно постоктябрьская эмигрантская критика определила интерес к советской культуре и выработала научно-исследовательские критерии последующего серьезного анализа русской и советской литературы в работах В. Левина, Ж. Нива, М. Окутюрье, Ж.-К. Ланна, Г. Струве, Е. Эткинда, В. Лосской, К. Кларк, Ю. Соумела и др.

Литература

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва: Наука, 1977. 476 с.

Адамович Г. Литература в СССР // Русские записки. 1938. № 7. С. 240—259.

Адамович Г. Памяти советской литературы // Русские записки. 1937. № 2. С. 206—214.

Адамович Г. Поэты в Петербурге // Звено. 1923. 10 сентября. № 32. С. 2.
Бахтин М. Человек у зеркала // Бахтин М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. Москва: Азбука, 2000. С. 240—241.

Белый А. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994. 528 с.

Бем А. Виктор Шкловский: поиски оптимизма // Современные записки. 1933. № 52. С. 462—464.

Бем А. Письма о литературе: Магический реализм // Молва. 1932. 2 октября.

Бердяев Н. Душа России // Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. Москва, 1918. С. 1—29.

Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. Москва: Советский писатель, 1990. 414 с.

Воронский А. Версты полосатые // Прожектор. 1926. № 18. С. 18–19.

Геллер Л. Эстетические категории и их место в соцреализме ждановской эпохи // Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. Москва: Академический проект, 2000. С. 434–447.

Герцен А. И. Избранные произведения. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1937. 398 с.

Герцен А. И. О литературе. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1962. 647 с.

Гуль Р. Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк: Мост, 1973. 322 с.

Гуль Р. Цензура и писатель в СССР // Современные записки. 1938. № 66. С. 438–449.

Делёз Ж. Различие и повторение. Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 384 с.

Дивильковский А. Самочувствие эмиграции (Обзор второй – «Современные записки») // Печать и революция. 1926. № 8. С. 9–27.

Иванов Вяч. Вс. Дуальные структуры в антропологии. Москва: Изд-во РГГУ, 2008. 332 с.

Ильин И. Когда же возродится великая русская поэзия? // Критика русского зарубежья: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. Коростелева. Москва: Олимп, 2002 URL: https://imwerden.de/pdf/ilijn_russkaya_poeziya.pdf.

Кондаков И. По ту сторону слова (кризис литературоцентризма в России XX–XXI веков) // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 5–44.

Кондаков И. В. Культурология. История культуры России. Москва: Высшая школа, 2003. 615 с.

Коростелев О. А. От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать Русского зарубежья. Санкт-Петербург: Издательство им. Н. И. Новикова; Издательский дом «Галина скрипит», 2013. 492 с.

Кускова Ек. Вторичные факторы // Последние новости. 1937. 1 декабря.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1977. С. 3–36.

Мандельштам Ю. «Красная Новь» // Числа. 1930. № 1. С. 220.

Муратов П. Искусство прозы // Современные записки. 1926. № 29. С. 240–259.

Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. Москва: Высшая школа, 1999. 304 с.

Полежаева М. М. Художественные искания в русской поэзии первой трети XX века (М. Цветаева и В. Маяковский: Художественная космогония). Москва: Прометей, 2002. 308 с.

Сазонова Ю. Тема смерти в современной советской литературе // Современные записки. 1928. № 35. С. 493—506.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: В 3 ч. Ч. 2: Периодические издания. Москва: Гос. б-ка им. В. И. Ленина, 1982. 232 с.

Слоним М. Литературные отклики: Живая литература и мертвые критики // Воля России. 1924. № 4. С. 53—63.

Сорокина В. В. Литературная критика русского Берлина 20-х годов XX века. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 328 с.

Степун Ф. А. И. А. Бунин и русская литература // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1 / Сост. О. Коростелев. Москва: Аст-Олимп, 2002. С. 264—275.

Степун Ф. А. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1 / Сост. О. Коростелев. Москва: Аст-Олимп, 2002. С. 246—263.

Степун Ф. А. Советская и эмигрантская литература 20-х годов // Ф. Степун. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. 203 с.

Столович Л. Н. Зеркало как семиотическая, гносеологическая и аксиологическая модель // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 831. Тарту, 1988. С. 45—52.

Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд. Париж: YMCA-Press; Москва: Русский путь, 1996. 448 с.

Струве Г. Русская литература при Ленине и Сталине. 1917—1953 гг. // Грани. 1971. № 82. С. 218—222.

Троцкий Л. Судьба толстого журнала // Киевская мысль. 1914. 16 марта.

Федотов Г. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург: София, 1991. 216 с.

Фельзен Ю. М. Шолохов. «Тихий Дон» // Числа. 1930. № 1. С. 239—240.

Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном // На путях: Утверждение евразийцев. Кн. 2. Москва — Берлин: Геликон, 1922. С. 230—293.

Ходасевич В. Литература в изгнании // Колеблемый треножник. Москва: Советский писатель, 1991. С. 466—473.

Цетлин М. «Красная Новь». Журнал. Январь — май 1925 // Современные записки. 1925. № 25. С. 477—484.

Щедрин Н. О литературе. Москва: Художественная литература, 1952. 700 с.

Эткинд Е. Г. Русская литература как единый процесс // Одна или две русских литературы. Материалы международного симпозиума. Lausanne: Ed. L'Âgèd'Homme, 1981. С. 9–30.

References

Averincev S. S. Poetika rannevizantijskoj literatury. Moskva: Nauka, 1977. 476 s.

Adamovich G. Literatura v SSSR // Russkie zapiski. 1938. № 7. S. 240–259.

Adamovich G. Pamyati sovetskoj literatury // Russkie zapiski. 1937. № 2. S. 206–214.

Adamovich G. Poety v Peterburge // Zveno. 1923. 10 sentyabrya. № 32. S. 2.

Bakhtin M. Chelovek u zerkala // Bakhtin M. Avtor i geroj: k filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk. Moskva: Azbuka, 2000. S. 240–241.

Belyj A. Simvolizm kak miroponimanie. Moskva: Respublika, 1994. 528 s.

Bem A. Viktor Shklovskij: poiski optimizma // Sovremennye zapiski. 1933. № 52. S. 462–464.

Bem A. Pis'ma o literature: Magicheskij realizm // Molva. 1932. 2 oktyabrya.

Berdyayev N. Dusha Rossii // Sud'ba Rossii. Opyty po psikhologii vojny i nacional'nosti. Moskva, 1918. S. 1–29.

Bunin I. Okayannye dni. Vospominaniya. Stat'i. Moskva: Sovetskij pisatel', 1990. 414 s.

Voronskij A. Versty polosatye // Prozhektor. 1926. № 18. S. 18–19.

Geller L. Esteticheskie kategorii i ikh mesto v socrealizme zhdanovskoj epokhi // Soczrealisticheskij kanon / Red. Kh. Gyunter, E. Dobrenko. Moskva: Akademicheskij proekt, 2000. S. 434–447.

Gercen A. I. Izbrannye proizvedeniya. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1937. 398 s.

Gercen A. I. O literature. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1962. 647 s.

Gul' R. Odvukon': Sovetskaya i emigrantskaya literatura. N'yu-York: Most, 1973. 322 s.

Gul' R. Cenzura i pisatel' v SSSR // Sovremennye zapiski. 1938. № 66. S. 438–449.

Delyoz Zh. Razlichie i povtorenie. Sankt-Peterburg: TOO TK "Petropolis", 1998. 384 s.

Divil'kovskij A. Samochuvstvie emigracii (Obzor vtoroj — "Sovremennye zapiski") // Pechat' i revolyuciya. 1926. № 8. S. 9–27.

Ivanov Vyach. Vs. Dual'nye struktury v antropologii. Moskva: Izd-vo RGGU, 2008. 332 s.

Il'in I. Kogda zhe vozrolditsya velikaya russkaya poeziya? // Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 t. T. 1 / Pod red. O. Korosteleva. Moskva: Olimp, 2002
URL:http://imwerden.de/pdf/ilijn_russkaya_poeziya.pdf.

Kondakov I. Po tu storonu slova (krizis literaturocentrizma v Rossii XX–XXI vekov) // Voprosy literatury. 2008. № 5. S. 5–44.

Kondakov I. V. Kul'turologiya. Istoriya kul'tury Rossii. Moskva: Vysshaya shkola, 2003. 615 s.

Korostelev O. A. Ot Adamovicha do Czvetaevoj: Literatura, kritika, pechat' Russkogo zarubezh'ya. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo im. N. I. Novikova; Izdatel'skij dom "Galina skripsit", 2013. 492 s.

Kuskova Ek. Vtorichnye faktory // Poslednie novosti. 1937. 1 dekabrya.

Lotman Yu. M., Uspenskij B. A. Rol' dual'nykh modelej v dinamike russkoj kul'tury (do koncza XVIII veka) // Trudy po russkoj i slavyanskoj filologii XXVIII: Literaturovedenie. K 50-letiju professora Borisa Fedorovicha Egorova. Tartu: Izd-vo Tartuskogo un-ta, 1977. S. 3–36.

Mandel'shtam Yu. "Krasnaya Nov' " // Chisla. 1930. № 1. S. 220.

Murатов P. Iskusstvo prozy // Sovremennye zapiski. 1926. № 29. S. 240–259.

Niva Zh. Vozvrashhenie v Evropu. Stat'i o russkoj literature. Moskva: Vysshaya shkola, 1999. 304 s.

Polekhina M. M. Khudozhestvennye iskaniya v russkoj poezii pervoj treti XX veka (M. Czvetaeva i V. Mayakovskij: Khudozhestvennaya kosmogoniya. Moskva: Prometej, 2002. 308 s.

Sazonova Yu. Tema smerti v sovremennoj sovetsoj literature // Sovremennye zapiski. 1928. № 35. S. 493–506.

Svodnyj katalog russkoj nelegal'noj i zapreshhennoj pechati XIX veka: V 3 ch. Ch. 2: Periodicheskie izdaniya. Moskva: Gos. b-ka im. V. I. Lenina, 1982. 232 s.

Slonim M. Literaturnye otkliki: Zhivaya literatura i mertvye kritiki // Volya Rossii. 1924. № 4. S. 53–63.

Sorokina V. V. Literaturnaya kritika russkogo Berlina 20-kh godov XX veka. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 2010. 328 s.

Stepun F. A. I. A. Bunin i russkaya literatura // Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 ch. Ch. 1 / Sost. O. Korostelev. Moskva: Ast-Olimp, 2002. S. 264–275.

Stepun F. A. Porevolucionnoe soznanie i zadacha emigrantskoj literatury // Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 ch. Ch. 1 / Sost. O. Korostelev. Moskva: Ast-Olimp. S. 246–263.

Stepun F. A. Sovetskaya i emigrantskaya literatura 1920-kh godov // F. Stepun. Vstrechi. Myunkhen: Tovarishhestvo zarubezhnykh pisatelej, 1962. 203 s.

Stolovich L. N. Zerkalo kak semioticheskaya, gnoseologicheskaya i aksiologicheskaya model' // Uchenye zapiski Tartuskogo un-ta. Vyp. 831. Tartu, 1988. S. 45–52.

Struve G. Russkaya literatura v izgnanii. 3-e izd. Parizh: YMCA-Press; Moskva: Russkij put', 1996. 448 s.

Struve G. Russkaya literatura pri Lenine i Staline. 1917–1953 gg. // Grani. 1971. № 82. S. 218–222.

Troczkij L. Sud'ba tolstogo zhurnala // Kievskaya mysl'. 1914. 16 marta.

Fedotov G. Sud'ba i grekhi Rossii: Izbrannye stat'i po filosofii russkoj istorii i kul'tury: V 2 t. T. 1. Sankt-Peterburg: Sofiya, 1991. 216 s.

Fel'zen Yu. M. Sholokhov. "Tikhij Don" // Chisla. 1930. № 1. S. 239–240.

Florovskij G. V. O patriotizme pravednom i grekhovnom // Na putyakh: Ut-verzhenie evrazijcev. Kn. 2. Moskva — Berlin: Gelikon, 1922. S. 230–293.

Khodasevich V. F. Literatura v izgnanii // Koleblemyj trenochnik. Moskva: Sovetskij pisatel', 1991. S. 466–473.

Cetlin M. "Krasnaya Nov' ". Zhurnal. Yanvar' — maj 1925 // Sovremennye zapiski. № 25. S. 477–484.

Shhedrin N. O literature. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1952. 700 s.

Etkind E. G. Russkaya literatura kak edinyj process // Odnа ili dve russkikh literatury. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. Lausanne: Ed. L'Aged'Homme, 1981. S. 9–30.

Сведения об авторе: Нина Осиповна Осипова; доктор филологических наук; профессор; Вятский государственный университет, профессор кафедры культурологии; ORCID 0000-0002-9247-9279; nina.osipova@list.ru; сфера научных интересов: литература русской эмиграции, русская поэзия XX в.

The author's profile: Nina Osipovna Osipova; Doctor of Philology; Professor; Vyatka State University, Professor at the Department of Cultural Studies; ORCID 0000-0002-9247-9279; nina.osipova@list.ru; research interests: literature of Russian emigration, semiotics, Russian poetry of the 20th century.

МОТИВНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

УДК 821.161.1“18”

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.08

КОНФЛИКТ МУЗЫКИ И СЛОВА В «КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЕ»

THE CONFLICT OF MUSIC AND WORDS IN *THE KREUTZER SONATA*

Ангелика Молнар
Дебреценский университет, Дебрецен, Венгрия

Angelika Molnar
University of Debrecen, Debrecen, Hungary

Аннотация

В данной статье вопросы любви и ревности, тематизируемые в повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната», рассматриваются в свете соотношения «тона» и «поражения». Поэтический анализ текста совместно с интерпретацией смыслового содержания осуществляется сквозь призму разбора мотивного и фонического уровней, значения имен, вещей и поступков. Исходя из двойничества главного героя и его соперника, изучение повести затрагивает некоторые особенности соотношения музыки и слова.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, «Крейцера соната», музыка, слово, тон, поражение.

Abstract

In this work the issues of love and jealousy, raised in Leo Tolstoy's short story *The Kreutzer Sonata*, get their development through the light of the ratio of “tone” and “defeat”. The poetic text analysis, together with the interpretation of the semantic content, is carried out through the prism of parsing the motive and sonic structure, the meaning of the names, things and actions. On the basis of the double of the main character and his opponent, exploring the story expands to the peculiarities of the ratio of music and words.

On the one hand, Pozdnyshev's monologue consists of two parts: the theoretical justification of the reasons leading to the act of murder (schemes), and the

hero's family story as the duplication of real public life on the basis of common signs (story). On the other hand, the story consists of two languages' conflict: the hero's story of the search for the correct word and the tale — finding this word, which replaces the template stories, and forms a new story. So the event is complemented by the retold story, and the syuzhet is complemented by the story of narration. The creation of the story language serves to it, because the process of creating narrative about jealousy is associated with the change of sign systems. According to our analysis, jealousy controls the hero's consciousness that requires love, so as to be protected from the separation with his wife. The hero is in fear that after the collapse of their verbal communication, his wife finds common ground with another man through music. Thus the subject of our analysis is the motive of tone (music) and defeating (by words or swords) that deploy this theme. This is thematised through sound redemption not only in the narrative, but also formally: the narrative demonstrates what it says. In addition, the sonic connection sets a new implementation of the hero's image. For this reason, in this paper the images of rivals and wife are examined in linguopoetic terms. In the prose the sound contains the fugitive narrative in general. It contains sound or the sound deployment has the interpretation of the theme. Audio replays (see *tone* and *note*, *defeat* and *feud*, etc.) reorganise the narration. Parallels of sonic shells suggest that the semantic world of sound is richer, and therefore the history of the act contains many more meanings than its conceptual telling. That is the way of how poetic thinking can reveal what seemed to be hidden in the external world. Attempts to restore the history of the murder from hero's memory, require both deviations from the conceptual schemes and the unity of image, meaning and sound (see *names*). Tolstoy's text unites the sign and the meaning through the hero's story. Rethinking in the form of a story telling destroys the schematism built on the concepts of love, music and words. This article provides a representation of this textual activity also on the level of things.

Key words: L. N. Tolstoy, *The Kreutzer Sonata*, music, tone, word, defeat.

Введение. Целью статьи является изучение перехода от «музыкальной формы ревности» к генерированию нового слова с помощью переосмысления знаков, образов и мотивов.

Методология. В центре внимания исследователей произведений Л. Н. Толстого находилось рассмотрение различных вопросов, к которым интерес писателя не ослабевал в течение всей его жизни. Исследование повести «Крейцера соната» Л. Н. Толстого осуществляется в основном в соответствии с двумя подходами. Во-первых, рассматриваются проблематизация разных идеологем, в том числе т. н. полового вопроса, искусства, положения в обществе и т. п. [Аронсон; Котовская; Порудоминский] и нравственно-философские проблемы как таковые [Абросимова; Вино-

градов; Клеж]; во-вторых, анализируются поэтические особенности повести: композиционные, мотивные, метафорические или интертекстуальные [Бурмейстер; Гей; Мурзак]. В нашей статье мы проведем небольшой опыт совмещения этих аспектов. Поэтический текст объединяет знак и значение через историю героя, и поэтическое мышление, таким образом, может раскрыть то, что, казалось, было скрыто в повествовании. Следовательно, теоретические основания нашего исследования коренятся в дискурсивных и антропологических положениях, согласно которым в поэтическом тексте создается уникальная форма понимания.

Материал исследования. В пограничной ситуации главного героя после убийства (смерти) его собственной повествовательной деятельностью обозначается основная бытийная ситуация, в перспективе которой должен раскрыться неисчерпаемый смысл любви как уникального события жизни. Позднышев реорганизует свою память в пересказе истории, т. к. память может материализоваться только в нарративе, главным стимулом которого является слово (любовь — соната). Попытки восстановить память героя историю убийства требуют отклонения от понятийных схем на уровне предмета речи. Монолог Позднышева состоит из двух частей: теоретическое обоснование причин, приведших к поступку убийства, и семейная история героя как дубликация общественного мира на основе общих признаков действий. Пересказ этой истории ведет к переосмыслению мотивов убийства. Этому служит создаваемый язык рассказа, т. к. процесс образования нарратива о ревности связан со сменой знаковых систем. Таким образом, жизненный опыт Позднышева переставляется в мир поэтического слова и освобождается от языковых шаблонов. Произведение же состоит из конфликтов двух языков: история героя как поиски правильного слова, а повесть — нахождение этого слова. Это слово сменяет шаблонные истории и образует знак нерассказанной истории. Итак, событие дополняется историей пересказа, а сюжет — историей наррации.

Переосмысление в форме рассказа разрушает схематизм построенных концептов о любви и браке. Эта история содержит немотивированные с точки зрения сюжета элементы, связанные с музыкой и ревностью. В таких местах возникает необходимость поэтического дискурса, который вместо языковых шаблонов ставит метафоры и новые знаки, образующие новый предмет восприятия из собственной звуковой формы. Помимо того, что созвучие слов задает тему повести, ресемантизация в результате звукового повтора становится источником нового языка повести. Предпосылкой этого положения является единство поэтического слова как образа, понятия и звука, значения которого нет в словарях, но его смысл создается и манифестируется в поэтическом тексте. По этой причине мы и рассматриваем тематические мотивы тона и поражения в плане объ-

яснения знаков, обозначающих звуки. Звуковые повторы (см. *тон* и *нота*, *поражение* и *вражда* и т. д.) реорганизуют нарратив. Параллели звуковых оболочек позволяют утверждать, что смысловой мир звука богаче, следовательно и сама история поступка содержит гораздо больше смыслов, чем его понятийное оформление. Кроме того, фоническая связь присваивает и новую реализацию образу героя. По этой причине и рассматриваются нами образы соперников и жены в языковом плане. Приводится представление этой деятельности и на уровне имен, вещей и других мотивов музыки и слова.

Основная часть. Прочтение повести «Крейцера соната» убедительно подтверждает, что общая ревность становится причиной обострения чувства любви и убийства при первом конкретном случае ее возникновения. Настоящим мы обращаемся к этой конкретной истории, пересказ которой Позднышевым ведет к переосмыслению им своих теоретических положений. Здесь становится основной функция соотношения музыки и слова. Этот вопрос стал ключевым для многих исследователей повести Толстого, в частности для В. Ю. Наумовой, рассматривающей реализацию структуры сонаты Бетховена в повести Толстого [Наумова]. В отличие от В. Ю. Наумовой, мы фокусируем наше внимание на следующем. Герой охвачен страхом от того, что после краха их вербальной коммуникации жена находит общий язык с другим мужчиной посредством музыки. По этой причине и «не любовная» ревность управляет сознанием героя, которое требует любви, т. е. защищается от сознания разобщения, потери связи с женой. Итак, предметом нашего анализа являются мотивы тона (музыки) и поражения (слова или ножа), которые разворачивают данную тему.

Тон. После долгих обобщений герой наконец-то приступает к рассказу единичного случая, но даже название человека, которого Позднышев считает виновником своей трагедии, составляет для него трудность. В презентации речи говорящего намечаются признаки реки (см. этимологическую связь слов «река» и «речь»): он продолжал, «будто порвав то препятствие» [Толстой: 166]. Еще не назвав фамилию своего соперника, Позднышев уже характеризует ничтожность Трухачевского. Вопреки своему желанию не сказать что-то дурное о нем он все-таки разворачивает одно значение имени соперника (от «труха» + «скрипач»): «— Дрянной он был человек» [Толстой: 16]. Боязливых мужчин, «хлюпиков» обычно называют «трухляком», «мешком с соломой» или «курицей». Музыкант в самом деле ведет себя как трус, когда убегает от грозного мужа, бросая Лизу. Таким образом реализуются значения, скрытые в его фамилии. Итак, имя-слово содержит в себе историю понимания повести.

Говорить знакомому, но неприятному Трухачевскому вместо «ты» — «вы» означает для Позднышева держать его на расстоянии, несмотря

на то, что соперники являются также альтер-эго друг друга. Позднышев поэтому и ненавидит его и старается измениться, точнее сменить описание своего образа в воспоминании, подозревая то, что он сам был таким же раньше. В описании внешности соперника Позднышев также выражает свою неприязнь, подчеркивает в его поведении искусственность и установку на показ, «внешнюю веселость». Упоминанием яркой и модной одежды Трухачевского говорящий акцентирует новизну, действующую на женщин. Вещь, принадлежащая человеку, становится и предметным доказательством измены. Позднышев возвращается домой с выставки, на которой он смотрел объекты искусства, и его глаза становятся органами подозрения: он «заметил» модную шинель Трухачевского и «с необыкновенной внимательностью» рассмотрел его [Толстой: 173]. В этой связи отметим и положение героя относительно его общности со светскими мужчинами: «<...> наш брат все врет <...> и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит» [Толстой: 139]. Примечательно, что в его высказывании употребляется слово «тон» как в связи с музыкой, так и одеждой. К этой связи обращалась, изучая соотношение мотивов странного звука, железной дороги и музыки, Н. А. Переверзева [Переверзева: 31]. Однако она подвела данное соотношение под символическую оппозицию «Восток — Запад». Нас интересует другой аспект, также укрепляющий прочность смыслового эффекта такой реляции в повести.

Вырисовывается пошлая фигура музыканта, похожая на книжные образцы обольстителей: «Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, <...> прическа модная, лицо пошло-хорошенькое, <...> сложения слабого» [Толстой: 166]. Музыканту присваиваются и птичьи свойства, но отнюдь не в связи с игрой: «<...> он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил <...>» [Толстой: 172]. Говорящий упоминает и его «развитый зад». Эта деталь, кажущаяся немотивированной, имеет свою предпосылку. Позднышев уже выделил ее в связи с женщинами, которые выставляют эту часть тела на показ, как приманку. Здесь она тоже встраивается в ряд прельщающих и женственных качеств, кроме того, сравнение с готтентотами отсылает не только к образу дикарей (см. супруги как животные), но вдобавок еще к музыке, ибо, по мнению Позднышева, дикири считаются музыкальными.

Речевая характеристика Трухачевского — манера «про все говорить намеками и отрывками» [Толстой: 167] — тоже производит неприятное впечатление. В этом, пожалуй, также наблюдается нечто женственное и музыкальное. Однако наблюдается и сопоставление с рассказом Позднышева. Свои положения Позднышев высказывает, словно в тон поезда или музыки Бетховена, «все быстрее», «больше разгораясь». Повествователь в рамках повести определяет тон такой речи, как «неприлично горячий разговор»,

вызывающий в ответ только молчание и поиск адвокатом примирительной формы: «<...> бывают критические эпизоды <...>» [Толстой: 131]. Однако Позднышев представляет себя как того, с кем случился «<...> тот эпизод, что он жену убил <...>» [Толстой: 131]. Субъект речи выворачивает привычное значение слов и отождествляет их со смертью. И несмотря на то, что адвокат опять же пытается сгладить остроту и глубину тона и смысла темы («помилуйте»), они с дамой переходят в другой вагон. А Позднышев тоном все раздраженнее продолжает рассказывать свою историю.

Вернемся к ней. Поводом для частого посещения музыкантом жены Позднышева служит нехватка «нот, которые им были нужны» [Толстой: 172]. Трухачевский играет песни и сонатку Моцарта «превосходно», имея, как утверждает говорящий, «<...> в высшей степени то, что называется тоном» [Толстой: 172]. Дьенди Тэрен здесь усматривает анаграмму тона и ноты [Тéрен: 476]. Это знакосочетание однако повторяется и в слове «тонкий», обозначающем понимание музыки. Трухачевский — человек значительно ниже себя как «тонкого» музыканта, т. е. не соответствует себе: «<...> благородный вкус, совсем несвойственный его характеру» [Толстой: 172]. Позднышев противопоставляет свой вкус, с которым он устроил вечер, и безвкусицу наружности, одежды и поведения Трухачевского, снова употребляя слово «тон»: «<...> явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона» [Толстой: 178]. В этой оппозиции герой видит свое превосходство над музыкантом и успокаивается. Между тем признак его речи напоминает нечто позднышевское: Трухачевский «<...> на все отвечал поспешно <...>» [Толстой: 178].

В уезде Позднышев в вихре дел словно оживает. Однако «тон письма» жены, в котором она просто сообщает, что музыкант принес ей «обещанные ноты», кажется ему «натянутым» [Толстой: 181]. Легко заметить также ложь подозрений героя, особенно в сопоставлении с музыкальным мастерством Трухачевского. В зале звучит равномерное «*agreggio*» — дробленные аккорды, которые музыкант делал «<...> своими изогнутыми вверх большими белыми пальцами», а ревнующему Позднышеву слышится стучание будто металлического инструмента, способного действительно раздробить предметы: «Сердце вдруг сжалось, *остановилось* и *потом заколотило*, как *молотком*» [Толстой: 174]. В ресемiotизации наблюдается отказ от известных референтов и установка новых (пальцы как молоток, действие музыки). В этом параллелизме также можно обнаружить сходство образов, что неизбежно приводит к трагическому разрешению конфликта.

Обратимся к образу Позднышева. Имя *Василий* реализуется в знаковых сочетаниях, предмет которых направлен на утверждение бессилия героя и вмешательства некой внешней силы в его жизнь: «<...> *сила* против моей *воли* заставляла меня быть <...> *ласковым* с ним» [Толстой: 173]. Во время

рассказывания он удивляется, почему позволил своей жене сблизиться с музыкантом: «<...> странная, роковая сила влекла меня <...>» [Толстой: 170]. Значение имени «царственность» намечается и в поведении героя: «<...> чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его <...>» [Толстой: 173], однако во время убийства Позднышев все равно смешон, ибо без сапог, в чулках нападает на своего мнимого соперника. Итак, тематизация делает акцентированной связь между словом, именем и личностью, а повествование разворачивает семантический потенциал слова противоположным образом.

Виновником своего несчастья герой называет музыканта с его исполнительской способностью, в первую очередь «Крейцеровой сонаты» Бетховена. Наименование этой музыкальной композиции — *соната* — прямо созвучно словам, обозначающим образ героя: «вагон», «седой господин», «особняком», «не старый», «но с очевидно», «с необыкновенно», «остановка». Через звуковые повторы «соната» тематизируется не только на уровне повествования, но и формально: повествовательный текст и показывает то, о чем говорит. Эти слова определяют потенциальный круг значений, смысловой потенциал, который направляет к разворачиванию знакового корпуса. Представляя собой различные текстовые фигуры, они развивают ту же творческую проблему: связь музыки, поезда, героя и произведения (особо говорящий господин в вагоне поезда с остановками на станциях как соната). Итак, слово «соната» становится изоморфичным с текстом повести. Оно — уникальный символ, противоположный повседневному, обычным, в которые оно не вписывается. Оно не прямо связано и с действительной музыкальной композицией Бетховена, а становится модусом бытия, обозначающим уникальное вербальное произведение.

Итак, слово является более важным, чем реальная основа наименования повести. Музыка играет в повести роль, разворачиваемую из самого ее названия (о функции музыки см. также: [Мурзак]). Страшной теперь становится соната и музыка вообще, т. к. вместо возвышения она становится мелочным предлогом для ревности и, действуя «раздражающим душу образом» [Толстой: 179], ведет к «вражде», т. е. убийству. Слово же «крейцер» — если отвлечься от имени музыканта, которому Бетховен адресовал свою композицию — означает как мелкую монету, так и военный корабль. Позднышев под влиянием музыки приходит к мысли о необходимости поступка, приводящего к концу: она действует на него «ужасно», открывает в нем «новые чувства», радостное сознание. Герой даже не помнит, что еще исполняли его жена и музыкант, так сильно он поглощен впечатлением от сонаты, но и другую композицию считает обязательно страстной, т. е. возбуждающей: «<...> сыграли какую-то страстную вещицу <...>», «чувственную пьесу» [Толстой: 182].

Позже, однако, он вспоминает эту сцену и оценивает ее уже по-другому, как доказательство тайного общения жены с музыкантом. Позднышев так и отождествляет музыкальную игру с телесным актом в страхе от того, что на самом деле он остается только внешним наблюдателем, войером: «<...> между ними все совершилось в этот вечер?» [Толстой: 182]. Возникает вопрос: действительно только музыка или единство с ней героя ведет к пагубным последствиям?

Вспомним фразу тещи Позднышева: «*Моя Лиза без ума от музыки*» [Толстой: 141]. Звуковые повторы, выделенные нами курсивом, тематизируют взаимосвязь жены и музыки. В рассказе Позднышева эта фраза разворачивается, т. к. говорящий утверждает, что жена в самом деле «невменяема была» [Толстой: 166], т. е. хотела любви все равно с кем. Позднышев именно в страстности музыки видит причину того, что жена так сильно поддается ее влиянию. В таком ракурсе обращение жены к своей внешности ставится в один ряд с возобновлением ее игры на фортепиано. Это вызывает ревность героя, несмотря на то, что и на вечере его жена «<...> казалась заинтересованной только одной музыкой <...>» [Толстой: 172]. Предмет речи тещи же направлен на предложение дочери в качестве товара, но «без ума» остается жених, впоследствии муж, который полностью отдается музыке, музыкальной игре жены, и под ее влиянием в своем «безумии» он убивает жену.

Позднышев очень редко называет участников истории по их имени. И так же не из-за превращения им своей жены в жертву называет ее «бедной». Это определение укрепляет интертекстуальную связь с повестью Н. М. Карамзина, выстраиваемую через имя жены *Лиза*. По своему общественному положению она является соответствующей парой музыканту, чей отец — помещик — тоже разорился. Однако, с точки зрения Позднышева, это он должен быть покинутой и обманутой любимым человеком «бедной Лизой», которая вместо самоубийства совершает «безумный» поступок убийства. Герой опасается того, что Лиза находит общий язык любви с Трухачевским через музыку. Итак, причину ревности следует искать не столько в общественном порядке (тезисы Позднышева), сколько в различии вербального и музыкального слова. Приведем пример в связи с мотивом яда.

Речь. Таким же образом, как в случае своих предыдущих тезисов, строится филиппика Позднышева против «хваленного медового месяца». Он разоблачает клише, которые были присвоены этому понятию. Вспомним его выпады против сладостей. Видимо, он на это намекает и тогда, когда выступает против наименования явления: «<...> название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он» [Толстой: 144]. Его речь при этом наделяется как признаком шипения змеи, так и злобой. Для объяснения неадекватности названия «медовый месяц» говорящий рассказывает жиз-

ненный эпизод, в котором разоблачается еще один обман с бородатой женщиной и водяной собакой. Обнажается и слово демонстратора («стоит ли смотреть?»), аллегорически представляющего общество, которое ответственно за показ и ложь.

Молодая жена не умеет вербализовать свою догадку о «греховной» природе сношений, отговаривается матерью, что вызывает раздражение со стороны мужа и приводит к обнаружению пропасти между супругами и началу войны полов. Эта вражда наиболее полно проявляется в вербальной форме (см. также реализацию «вражды» в слове «раздражение»): жена «<...> самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости» [Толстой: 148]. «Огонь» любви, ожидаемый в браке, с удовлетворением быстро потухает, и вместо воплощения литературных и общепринятых образцов («Любовь — союз душ») наступает суровая действительность: лицо жены «<...> выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть <...>» пресыщения (см. мотивы проглатывания и сладостей) [Толстой: 148]. Ссоры начинаются по ничтожным поводам, но Позднышевым выделяются только те, при которых выступает наружу желание обрести власть над другим и поразить (убийство) другого: «И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидел опять ту же, прежде так поразившую меня <...> враждебность» [Толстой: 149].

Среди таких причин отметим «неестественность». Это понятие трактует и О. Аронсон [Аронсон: 262], И. Клех считает связанные с ними публицистические мысли рассказчика утрированными [Клех: 151]. Отрицание природы проявляется для Позднышева в том, что женщины нервничают каждый раз, когда их ребенок болеет, т. к. в это дело вмешиваются доктора, портящие человеческое естество. В его понимании врачи, представители науки, — «жрецы», т. е. лжепророки, т. к. они обосновывают и поощряют добрачный разврат (страсти для здоровья необходимы), а венерические болезни вылечивают (о вопросе разврата в связи с сексуальностью и музыкой см.: [Аронсон: 265]). Прилагательное «аккуратный» [Толстой: 134] в связи с развратом на фоническом уровне акцентирует резкое отличие таких поступков от правильных. Путем вставления повествователем замечания («вы не любите докторов») и выясняется особенная враждебность главного героя к врачам, о чем свидетельствует и нарраторское определение речи говорящего, которая обретает признак злости, враждебности: «<...> особенно злое выражение голоса <...>» [Толстой: 156].

Под толстовским углом зрения достижения науки менее важны, чем суть человеческих отношений. Это формулируется в повести также посредством упоминания холодного металла и горячих светил: «Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно» [Толстой: 157]. В этом плане женщины являются сообщниками врачей-«волхвов»: они учатся об-

вораживать вместо того, чтобы сохранить свою чистоту и девственность. А это последнее является коренной причиной возникновения ревности героя. Очевидно, по причине ревности Позднышев и не приемлет нездоровье жены и отказ от родов, в чем он также обвиняет врачей. Однако дети становятся поводом и для превращения семейной жизни в ад, ее отравления из-за чадолюбия жены: «<...> свой любимый ребенок — *орудие драки*» в «постоянной войне» [Толстой: 161].

Мотив яда развивается дальше в высказывании Позднышева. Он во врачах видит главных виновников разъединения человечества: «Яд главный — в развращении людей, женщин в особенности» [Толстой: 157]. Позднышев здесь все судит по своему теоретическому идеалу. «Ядом»-«адом» он называет и брачную жизнь. Текст развертывает эту тему и по звуковым идентификациям. Говорящий до этого момента объяснял свои мотивы убийства как страшную ненависть друг к другу. В тексте это реализуется посредством смысловой и этимологической взаимосвязи страсти и страха: «Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью» [Толстой: 167]. Многозначность «поражения» здесь также включается в смысловой объем высказывания. Супруги в своей вражде доходят и до мысли о самоубийстве, и жена принимает яд, опиум. Недалом потом появляется глагольная метафора в речи Позднышева, что она «отравлялась». Видимо, субъект речи вербально реализует буквальное действие жены уже после осмысления событий и ее состояния. Поступок жены свидетельствует о том, что она тоже сильно переживает из-за плохих отношений с мужем.

Ссоры являются результатом несостоявшегося общения между супругами, которое должно было быть воплощением любви как «духовного родства». Во время ссор мужа раздражает то, что жена будто «нарочно перетолковывает» каждое его слово, «придавая ему ложное значение» [Толстой: 168]. Ее простые вопросы о том, что нужно мужу «на *дорогу*», когда он *уедет* «на *съезд* в *уезд*» (сегмент фразы содержит единицы фамилии Позднышева), и взгляд воспринимаются им тоже с обратной стороны, как будто за ними скрывается другой смысл: «<...> как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой <...>» [Толстой: 175]. Однако Позднышев в прошлом только думает, что он знает настоящее «значение» слов. На самом деле он должен еще распознать их в настоящем. На этом пути меняется и смысл «поражения». Оно — не завершенное слово с укоренившимся значением, даже не звукоподражающая форма, но звук как образующийся знак, который готов наполниться новым значением, и слово, референт и звуковая оболочка которого совмещаются. Референт звука не образ, но все то, что оболочка в этой уникальной истории слова набирает.

Поражение. Коммуникация между супругами не ладится не только из-за отсутствия взаимопонимания и замены истинного значения слов ложными, но и змееподобного характера речи жены: «<...> каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет» [Толстой: 168]. Лиза будто сравнивает себя с ангелом («не уживется»), между тем своими словами, как ножом, поражает своего мужа: «<...> напомнила мне мой поступок с сестрой (<...> наговорил сестре своей грубости, <...> и в это место кольнула меня)» [Толстой: 176]. Выясняется, что Позднышев так же способен на произношение злых слов, однако сваливает вину только на свою жену. Под таким углом зрения насилие мужа вызывает вербальная агрессия жены: ему «захотелось физически выразить» свою «страшную злобу» [Толстой: 176].

О последних ссорах Позднышев рассказывает, употребляя глаголы в настоящем времени, что служит выражению усиленной напряженности тона рассказа, а также обобщению его предмета. Муж требует молчания жены и физически проявляет свою агрессию («схватываю ее за руку»). Точнее, реагируя на оговорки мужа, жена воспринимает его жест так и предсказывает действительно наступающие события: «<...> ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется». Муж в ответ выражает свое желание вербально: «О, хоть бы ты издохла!» [Толстой: 168]. Затем он ужасается своих слов: определение «страшные» теперь переносится на его слова. Слова действуют с особенной силой: они оживляются — «высочили» из него — и приводят к настоящему убийству. Орудием героя становится теперь вещь — нож. Отметим также, что повествователь рамки повести «поражен» новым взглядом Позднышева на интимные связи, в том числе и тем его утверждением, что каждый половой акт со стороны мужчины равнозначен убийству женщины. Разбор произведения также раскрывает параллелизм между сексуальным актом и поражением жены ножом [Шорэ: 201].

Добавим в этой связи, что общая семантика страха и страсти при возникновении ревности также активизируется. Герой осознает свое «странное чувство», с которым он смотрел на Трухачевского. Признание его означало бы страх перед ним, и это было бы «слишком унизительно» [Толстой: 172]. Во время пересказа своей истории Позднышев акцентирует осознанность своих поступков. В прошлом он старался казаться страшным, угрожая жене убийством: «Убирайся, или я тебя убью! <...> Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это» [Толстой: 177]. Он «упивался» тем, что вызвал страх жены и обвинял ее в том, что сводит его с ума: «Только ты можешь довести меня до бешенства» [Толстой: 177]. В эпизоде, предвосхитившем сцену действительного убийства, истинные чувства и желание демонстрации переплетаются: «Мне страшно хотелось бить, убить ее, <...> схватил со стола пресс-папье, швырнул его оземь мимо

нее. <...> (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал бросать со стола вещи» [Толстой: 177]. Здесь Позднышев словно освобождается от вещей, тяготевших его. Они связаны с его общественной работой. Истерика жены при этом, однако, превращается в истинную болезнь, вызывающую примирение супругов (см. этимологическую связь слов «рука — супруг»). Во вражде полов это кажется «островком любви» (ср. с тем же в «Смерти Ивана Ильича»): «<...> мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью» [Толстой: 177]. Итак, «поражающее» слово становится предметом обнажения. Субъект речи вместо него уже ищет новое определение. Герой истории однако остается в рабстве привычных значений. Это и ведет к трагическому финалу.

Замышляя убийство, Позднышев и в этот раз подкрадывается к залу, в котором находятся его жена и музыкант, точно вор: «на цыпочках» и «не через гостиную, а через коридор и детскую» [Толстой: 189]. В отличие от предыдущего случая он идет не через классную, т. к. дети уже спят. Позднышев испытывает «*жалость* к себе» [Толстой: 189] (ср. в прошлый раз сердце «сжалось») из-за того, что боится мнения своих детей и чужих людей, няни, которой он присваивает знание об измене и его положении обманутого мужа. В настоящем же он рассказывает об этом, обнажая книжность, неадекватность своего поведения в прошлом: «не мог удержаться от слез», «зарыдал». Он себя защищает как честного семьянина, а жену обвиняет в похоти: «Я — честный человек, <...> и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! <...> с лакеями прижила всех детей» [Толстой: 189]. Такое отношение, однако, после убийства сменяется в результате его переосмысления. Противоречивое состояние героя отражает и контраст его фразы: «я увидел все ее привлекательное ненавистное лицо» [Толстой: 189]. Позднышев берет себя в руки и, все распланируя, действует вопреки своему имени (ср. «поздно») «неторопливо, но и не теряя ни минуты», и все потому, что перед ним поставлена «определенная цель» [Толстой: 190].

Вербальное оформление сознательного поступка содержит как железнодорожные термины, так и мотивы осмысления: «Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, <...> я знал, что я делаю нечто ужасное» [Толстой: 192]. Образ огня (см. «пар — поезд») здесь приводится в связи с сознанием (ср. понятия любви и науки): «это мелькнуло как молния» и очень быстро «следовал поступок» [Толстой: 192]. Как и в связи с картинками воображения, так и в осознании поступка употребляется определение «с необычайной яркостью». Как и во время возвращения домой, на героя и теперь находит «мороз», что символизирует ясность его действий.

Позднышев только при пересказе осознает полностью, что он натворил, а пока еще его сознание только на миг освещает это «страшное»:

«<...> я убил женщину, беззащитную женщину, мою жену» [Толстой: 193]. При убийстве он еще думал, что можно «поправить сделанное и остановить». Жена, однако, высказывает невозвратимый и окончательный характер поступка: «<...> вскочила на ноги, вскрикнула: — Няня! он убил меня!» [Толстой: 193]. Муж после этого подготавливает заряженный револьвер к самоубийству. Он хладнокровно достает и ножны из-за дивана. После его временного безумия у него исчезают мысли: «Я ничего не думал». Он только слышит, что творится вокруг, но не осмысляет. Слуга вносит его дорожную корзину в кабинет, однако ему уже никаких вещей не нужно. Он отказывается и от самоубийства, т. к. это хотел совершить только с целью наказания жены: «<...> думал, как я этим поражу ее» [Толстой: 194]. Здесь он употребляет опять же слово «поразить». Вместо этого он поразил жену буквально, книжалом — восточным орудием, непременным реквизитом романтических повестей. Во время рассказывания истории такие шаблоны подвергаются критике.

Сестра жены считается Позднышевым глупой, потому что она сентиментальна: «<...> всегда готовые у ней слезы полились» [Толстой: 194]. Герой не может прилично к ней обращаться. Здесь снова повторяется мотив тона, обнажающего неадекватное слово: «<...> незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона» [Толстой: 194]. Между тем в своих действиях Позднышев следует общепринятым правилам: «<...> всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней» [Толстой: 194]. Он стыдится и за свою наружность, что опять же демонстрирует его прежнюю установку на показ: «<...> глупо без сапог, дай я надену хоть туфли» [Толстой: 194]. А на уровне вербализации он отказывается от книжности: «“Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им”, — сказал я себе» [Толстой: 194]. Отметим в этой связи, что сестра жены называет Позднышева по имени: «Вася!». Ласкательная форма маркирует детскость героя. Не случайно он вспоминает своего сына, любимца матери, когда он намеревается ее убить. А в Лизоньке, любимой дочери героя, отражается внутренний ребенок и страх жены: «Она смотрела на меня испуганными глазами» [Толстой: 193]. И, увидев Лизу, свою жертву, Позднышев раскаивается, между тем прощения он не получает от жены. На этом прерывается и его речь.

Рассказ озвучен в вагоне поезда. Ситуация «в пути» может быть истолкована как промежуточное положение: как пребывание героя на пути к своему собственному слову. В сцене прощания Позднышева со своим слушателем в вагоне его речь становится — как у Головина в «Смерти Ивана Ильча» — раздробленной, сведенной к выражению боли: «У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз и затих» [Толстой: 196]. Вздрагивание в речи и теле говорящего напоминает движение поезда: «Он всхли-

пывал и трясся молча передо мной» [Толстой: 196]. Такая метафора является основным средством совмещения несовместимых значений. Последние слова героя являются просьбой прощения хотя бы у слушателя, как будто ситуация происходит в суде: «Ну, простите...». После этих слов наступает молчание, герой «<...> прилег на лавке, закрывшись пледом» [Толстой: 196].

Повествователю-слушателю надо выходить, но он хочет проститься с Позднышевым. Это становится и прощением его. Прикосновение человека («Я тронул его рукой») заставляет героя шевельнуться, «видно было, что он не спал», а, так сказать, находился в смертеподобном состоянии. Слушатель тоже хочет заплакать, ему становится жалко Позднышева, и он дает ему отпущение: «— Прощайте, — сказал я, подавая ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. — Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ» [Толстой: 196]. Итак, последнее, главное, новое слово в повести — это прощение, соприкосновение и соединение человеческих душ как главный смысл любви.

Выводы. Мы рассматривали развертывание звуковой темы тона и поражения в повествовании. Эти звуковые повторы представляют новый опыт бытия, отрицая сферу риторического и социального речевых дискурсов (тезисы Позднышева), заставляют мышление опираться на язык, а не на убеждения. Мир тона и поражения подвергается критике в операции пересказывания, предмет которого постепенно преобразуется. Для этого процесса необходима смена языка: вместо тона требуется прощение. Новое слово переписывает историю, и она становится настоящей речью об осмыслении поступка убийства. Рассуждения и тезисы сталкиваются с этим словом, которое постоянно формируется. Любовь определяется сначала в виду отрицания ее существования, затем в свете ее причастности к личностному бытию. Итак, повествовательные мотивы перемещают историю в новый семантический мир путем ее презентации через обновление знаков. Как мы в этом убедились, понимание своей истории может возникнуть для понимающего сознания только через символические трансляции языка. В них скрывается повествование в целом. Настоящим событием в повести становится уникальный и неповторимый результат понимания, осуществляемого в ходе пересказа истории для образования нового слова и в конце концов текста.

Литература

Абросимова В. Н. К спорам о «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого // Вопросы литературы. 1990. № 7. С. 251–258.

Аронсон О. В. Заметки о «Крейцеровой сонате» Льва Толстого // Гендерные исследования. 2006. № 14. С. 259–267.

Бурмейстер А. Н. О построении «Крейцеровой сонаты» // Яснополянский сборник: Статьи. Материалы. Публикации / Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»», Государственный музей Л. Н. Толстого; сост.: Л. Миллякова, А. Полосина. Тула: Изд. Дом «Ясная Поляна», 2000. С. 57–64.

Виноградов И. И. «Ну-ка, что ты за человек?..»: По поводу двух определений искусства у Л. Толстого // Континент. 2004. № 121. С. 359–393.

Гей Н. К. «Крейцера соната» Л. Толстого как художественная многомерность // Страницы истории русской литературы: К 80-летию Н. Ф. Бельчикова: Сб. ст. / Отв. ред. Д. Ф. Марков. Москва: Наука, 1971. С. 121–130.

Клех И. Ю. «Любовь под подозрением» // Новый мир. 2005. № 12. С. 145–151.

Котовская Е. И. «Крейцера соната» Л. Н. Толстого и ее влияние на русскую общественную мысль на рубеже XIX–XX веков // Вестник Московского ун-та. Серия 8. История. 2000. № 1. С. 90–102.

Мурзак И. И. Музыкальная реминисценция в метафорической структуре повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната» // Филологические традиции и современное литературное образование. Москва: МГПИ, 2002. С. 23–26.

Наумова В. Ю. Музыкальные интертексты в повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната» // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: Сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012 URL: <https://sibac.info/studconf/science/iii/28085>.

Переверзева Н. А. Из наблюдений над мотивной структурой повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната» (символическая функция звуковых образов) // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Серия «Филология». 2008. № 2 (12). С. 22–33.

Порудоминский В. И. Предисловие к «Чья вина?». По поводу «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого // Октябрь. 1994. № 10. С. 3–6.

Толстой Л. Н. Крейцера соната // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 12. Москва: Художественная литература, 1982. С. 123–196.

Шорэ Э. «По поводу Крейцеровой сонаты...»: Гендерный дискурс и конструкты женственности у Л. Н. Толстого и С. А. Толстой // Пол. Гендер. Культура. Москва: РГГУ, 1999. С. 193–211.

Téren Gy. Narráció és motívika Lev Tolsztoj prózájában // A szótól a szövegig és tovább... ред. Kovács Á. Budapest: Argumentum, 1999. С. 449–479.

References

Abrosimova V. N. K sporam o “Krejcerovoj sonate” L. N. Tolstogo // *Voprosy literatury*. 1990. № 7. S. 251–258.

Aronson O. V. Zametki o “Krejcerovoj sonate” L’va Tolstogo // *Gendernye issledovaniya*. 2006. № 14. S. 259–267.

Burmejster A. N. O postroenii “Krejcerovoj sonaty” // *Yasnopolyanskij sbornik: Stat’i. Materialy. Publikacii / Gosudarstvennyj memorial’nyj i prirodnyj zapovednik “Muzej-usad’ba L. N. Tolstogo “Yasnaya Polyana”, Gosudarstvennyj muzej L. N. Tolstogo; sost.: L. Milyakova, A. Polosina. Tula: Izd. Dom “Yasnaya Polyana”, 2000. S. 57–64.*

Vinogradov I. I. “Nu-ka, chto ty za chelovek?...” Po povodu dvukh opredele-nij iskusstva u L. Tolstogo // *Kontinent*. 2004. № 121. S. 359–393.

Gej N. K. “Krejcerova sonata” L. Tolstogo kak khudozhestvennaya mnogomernost’ // *Stranicy istorii russkoj literatury: K 80-letiyu N. F. Bel’chikova: Sb. st. / Otv. red. D. F. Markov. Moskva: Nauka, 1971. S. 121–130.*

Klekh I. Yu. “Lyubov’ pod podozreniem” // *Novyj mir*. 2005. № 12. S. 145–151.

Kotovskaya E. I. “Krejcerova sonata” L. N. Tolstogo i eyo vliyanie na russkuyu obshchestvennuyu mysl’ na rubezhe XIX–XX vekov // *Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 8. Istoriya*. 2000. № 1. S. 90–102.

Murzak I. I. Muzykal’naya reminiscenciya v metaforicheskoy strukture povesti L. N. Tolstogo “Krejcerova sonata” // *Filologicheskie tradicii i sovremennoe literaturnoe obrazovanie. Moskva: MGPI, 2002. S. 23–26.*

Naumova V. Yu. Muzykal’nye intertekstemy v povesti L. N. Tolstogo “Krejcerova sonata” // *Nauchnoe soobshchestvo studentov: Mezhdisciplinarnye issledovaniya: Sb. st. po mat. III mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. № 3. Novosibirsk: Izd. “Sibirskaya associaciya konsul’tantov”, 2012 URL: <https://sibac.info/studconf/science/iii/28085>.*

Pereverzeva N. A. Iz nablyudenij nad motivnoj strukturoj povesti L. N. Tolstogo “Krejcerova sonata” (simvolicheskaya funkciya zvukovykh obrazov) // *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina. Seriya “Filologiya”*. 2008. № 2 (12). S. 22–33.

Porudominskij V. I. Predislovie k “Ch’ya vina?”. Po povodu “Krejcerovoj sonaty” L’va Tolstogo // *Oktyabr’*. 1994. № 10. S. 3–6.

Tolstoj L. N. “Krejcerova sonata” // *Tolstoj L. N. Sobranie sochinenij: V 22 t. T. 12. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1982. S. 123–196.*

Shore E. “Po povodu Krejcerovoj sonaty...”: Gendernyj diskurs i konstruktivnyj zhenstvennosti u L. N. Tolstogo i S. A. Tolstoj // *Pol. Gender. Kultura. Moskva: RGGU, 1999. S. 193–211.*

Téren Gy. Narráció és motívika Lev Tolsztoj prózájában // *A szótól a szövegig és tovább... red. Kovács Á. Budapest: Argumentum, 1999. S. 449–479.*

Сведения об авторе: Ангелика Молнар; HD; Дебреценский университет, Институт славистики, профессор; ORCID 0000-0002-7896-1480; manja@t-online.hu; сфера научных интересов: русская литература, литературоведение.

The author's profile: Angelika Molnar; HD; University of Debrecen, Institute of Slavic Studies, Professor; ORCID 0000-0002-7896-1480; manja@t-online.hu; research interests: Russian literature, literary studies.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

УДК 811.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.09

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. РУССКИЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД

DINAMIC MODEL FOR DESCRIBING GRAMMAR (RUSSIAN ASPECT)

Елена Георгиевна Борисова

**Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

Elena Georgievna Borisova

Moscow City University, Moscow, Russia

Аннотация

В статье предлагается один из инструментов для отражения противоречивых явлений в парадигматике грамматических категорий (большое количество исключений в формообразовании, доминирование супплетивизма, неоднозначность в содержании грамматической категории и т.п.). Для описания таких явлений предлагается динамическая модель перехода из одного состояния в другое, а противоречия трактуются как наложение двух состояний на промежуточном этапе. Рассматривается случай русского глагольного вида. Частично привлекается также страдательный залог несовершенного вида. Показывается, что в случае страдательного залога мы наблюдаем сосуществование двух систем: уходящей и занимающей ее место. Глагольный вид демонстрирует более сложное взаимодействие нескольких систем, ни одна из которых пока не приблизилась к доминированию в дальнейшем. Тем не менее некоторые предположения о судьбе этих трендов можно делать уже сейчас. Высказывается предположение, что ведущим трендом постепенно становится оппозиция, связанная с временем, обозначаемым в сообщении (замкнутое или протяженное) и задаваемым глаголом.

Ключевые слова: микродиахрония, моделирование языковых процессов, грамматическая категория, значения видов глагола, интерактивный подход.

Abstract

The article focuses on contradictions in paradigms of some grammatical categories: irregular word formation, suppletivism, grammatical category ambiguity, etc. A reasonable number of exceptions is quite common for any language. But when the deviations of the norm become abundant, there is a necessity for their systematic description. The article analyzes these exceptions based on the dynamics of language entities development. According to many historical grammar descriptions, the majority of exceptions exist due to ongoing changes in the language. To describe this phenomenon, the dynamic model of transition from state 1 to state 2 is proposed. A great number of exceptions can be explained by synchronic state comprising the effect of two or more states that co-exist at the moment. For example, Russian passive can be expressed by a participle with a suffix -им, -ем (-im, -em) or by the reflexive form of verbs -ся (-sya)-forms). This co-existence of two grammar forms can be modeled by two trends in grammar. Such approach is called micro-diachronic, as it goes about widely understood now-a-day situation that includes some decades and maybe centuries. The language of this period is still 'modern' and can be understood by native speakers, but the alternations are evident.

The model of co-existing trends in diachronics (or precisely, micro-diachronics) is applied to the oppositions of Russian aspect, the category that is known to be complex and contradictive. The semantics of aspectual opposition is described with such notions as specific meanings (progressive, multiple, factive, etc.) and contexts of usage (negative and interrogative sentences, various modalities etc.) To sum it up, three oppositions are taken to model the development of this category: opposition "achieving the result vs. the process of achieving it" (completion), opposition of "ending or progressing the time that is denoted by predicates", and opposition of "multiplication of acts". The 2nd opposition is supposed to be leading, though one cannot predict the real process of the category development.

Key words: micro-diachronics, modeling processes in language, grammar category, Russian verbal aspect.

Введение в проблему. Описание практически любой грамматической категории включает в себя исключения из правил при формообразовании (ср. исключения презентных форм глаголов *дать* и *однокоренных*), наличие особых значений ряда граммем (например, настоящее время при описании прошлого в русском языке и т.п.). В большинстве случаев можно говорить об исключениях и не ставить под вопрос систему грамматических категорий в целом.

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся со столь многочисленными отклонениями от правил, что появляются предположения о наличии нескольких категорий, или о недостаточной сформированности граммати-

ческих оппозиций (как в случае со степенями сравнения наречий). В этом смысле примером недостаточно стабильной грамматической категории можно считать русский глагольный вид. Если обращаться к реальной истории, т.е. диахроническому описанию видового противопоставления, то, действительно, можно обнаружить его относительную молодость. Это проявляется, к примеру, в отсутствии сложившихся средств формообразования [Зализняк 1997].

Однако в дальнейшем в работе мы не будем обращаться к реальным историческим изысканиям. Мы намерены создать модели, которые отвечали бы требованиям описания синхронного исследования и в то же время позволяли учитывать тот факт, что категория находится в стадии развития и претерпевает изменения.

Описание материала. Глагольный вид на синхронном уровне представляет собой едва ли не самую «загадочную» русскую грамматическую категорию. В первую очередь бросается в глаза, что она не имеет более или менее канонических средств выражения. В грамматиках упоминаются и средства перфективации, т.е. образования совершенного вида от исходной лексики несовершенного, и средства имперфективации — суффиксальное образование глаголов несовершенного вида от приставочных глаголов совершенного [Исаченко 1960: 325]. В результате наложения обоих процессов возникло такое явление, как «тройки», совмещающие две пары глаголов: *есть* — *съесть* — *съеда́ть*, причем члены несовершенного вида не являются абсолютно синонимичными и взаимозаменяемыми.

Из сказанного следует, что вопросы формообразования уже заставляют рассмотреть категорию вида как контаминацию явлений. Однако, учитывая сложность проблемы, в данной статье формообразование специально не рассматривается, а всё внимание обращается на описание содержания видового противопоставления.

Большинство грамматических категорий — и те, которые имеют в основном синтаксическое содержание (род прилагательных), и с номинативным составляющим содержанием (время, число, степень сравнения и т.п.) — не вполне однозначны. Категория числа существительных помимо противопоставления «один экземпляр — много» способна выражать также оппозиции «один сорт — несколько сортов» (напр., *вина*), «общее-частное» (*дискурс* — *дискурсы*) и нек. др. В целом такие употребления редки и могут быть выведены из основного содержания категории. То же можно сказать о категории времени в ряде языков, категории определенности в западноевропейских языках и т.п.

Однако нередко эта неоднозначность выходит за пределы «частных случаев». В качестве примера можно привести нынешнее состояние категории залога в русском языке, где страдательный залог несовершенного вида выражается формами с причастием на *-им* *-ем*: (1) *Книга была чита-*

ема многими — и возвратным глаголом на -ся: (1') *Книга читается многими* [Гаврилова 2003].

В XIX и XX вв. делались многократные попытки описать основное противопоставление, лежащее в основе категории вида. В основном отмечали оппозицию завершенности и достижения результата и незавершенности, попыток его достижения. Однако тут вмешивалось значение многократности, которое могло означать повторение как незавершенных, так и завершенных действий. Для отражения сложности содержания категории Ю. С. Маслов ввел понятие «частновидовые значения»: у несовершенного вида это процессное (определенно-длительное), многократное (повторяющееся), обобщенно-фактическое (общефактическое), хаbitуально-узупальное. Для совершенного вида число было существенно меньше: в основном говорят о двух, конкретном и конкретно-фактическом, но иногда выделяют и наглядно-примерное [Маслов 1948]. Можно считать, что такое описание грамматической семантики было созданием аналога семантике лексем, которые часто многозначны.

Однако наличие частных значений не избавило лингвистов от необходимости выявления основного содержания грамматического противопоставления, поскольку такое содержательное ядро наблюдается практически у всех грамматических категорий.

Методика анализа. Если мы рассматриваем противопоставления в столь сложно организованной категории, имеет смысл попробовать применить микродиахронический метод, при котором учитываются реальные или моделируемые изменения в языковой системе. В основном эта идея была заявлена еще П. Гардом [Garde 1966]. Об этом подходе в отечественной лингвистике говорили Е. В. Рахилина, Е. Р. Добрушина, С. Сай. При этом имелись в виду изменения в лексической или грамматической системе, которые сосуществуют с предыдущими состояниями этой системы [Азам 2016]. Как правило, эти исследования направлены на отслеживание таких изменений с использованием возможностей корпусной лингвистики. Особенности применения этого метода в различных ситуациях были продемонстрированы в работе [Борисова 2016].

Мы исходим из того, в общем-то, очевидного факта, что языковая система постоянно находится в развитии. И любой синхронный срез состояния задевает какие-то процессы на промежуточном этапе от одного состояния к другому. Чаще всего это проявляется в наличии в описываемом срезе двух сторон одного и того же явления, что делает описание противоречивым. Например, если взять описание страдательного залога в русском языке, то вскроется противоречие: в несовершенном виде использование страдательных причастий для этой цели встречается редко: (2) «Прогресс, — пишет он, — как переход от худшего к лучшему, требует, чтобы недостатки слепой природы были исправляемы сознающе эти недостатки природою, т.е. совокупною силою человеческого рода, — тре-

бует, чтобы улучшение путем борьбы, истребления, было заменено возвращением самых жертв борьбы» [Н. В. Устрялов, НКРЯ].

Все примеры из НКРЯ с соответствующими причастиями в значениях глагольного пассива в основном относятся к периоду до середины XX века. Часть глаголов уже не может использоваться в этой роли: например, *строимый* (в корпусе встретилось меньше 10 примеров, причем употребленных как цитаты, условные переводы и т.п.). Практически везде [Грамматика 1970] сейчас отмечается, что в функции пассива несовершенного вида используются возвратные глаголы: *строящиеся*. Однако возможность традиционного пассива еще сохраняется.

Самым логичным вариантом описания этой ситуации было бы моделирование двух вариантов системы, относительно которых было бы сказано, что они разнонаправлены (один — устаревающий, второй — активный в наши дни), однако сосуществуют на синхронном уровне. Аналогичные попытки представления ситуации как результата взаимодействия нескольких диахронических трендов можно сделать и для описания других категорий, в том числе и глагольного вида.

Но необходимо иметь в виду, что предлагаемый анализ и прогноз — это только модель, которая не всегда может найти воплощение в реальной жизни. В этой связи хочется провести параллель с методом внутренней реконструкции, когда на основании современного состояния морфонологической системы языка делаются выводы о возможных исторических изменениях, которые вписываются в предлагаемую модель. И хотя исследователи на основании метода внутренней реконструкции позволяют себе делать выводы об исторических фонетических изменениях, все понимают, что это отнюдь не отражает состояние языка с той степенью точности, каковая была бы достигнута при получении записей, данных сравнительно-исторического анализа и т.п. А что касается прогноза, то отношение к нему еще более скептическое. Процессы изменения — как фонетических, так и семантических — зависят от многих факторов и могут приостановиться, изменить направление и т.п. Так что результат действия описанной модели не обязательно должен воплощаться в жизнь.

Анализ материала. Несколько значений одного вида означает, что в рамках одного видового противопоставления кроется несколько оппозиций, каждая из которых может претендовать на положение категории: категория кратности, категория процессности и т.п. При этом вопрос о наличии единого категориального значения, которое, как мы показывали выше, является важным компонентом даже многозначных категорий (например, числа существительных) продолжает вызывать споры, а некоторые исследователи отвергают возможность выявления такого фрагмента смысла, который входил бы в частные значения (именно так понимается общее значение категории в исследованиях Московской семантической школы) [Гловинская 1989]: «Вопрос о существовании и эвристической

ценности семантических инвариантов грамматических категорий принадлежит к числу “вечных» — сказано в [Зализняк 1997б: 16] как раз по поводу категории вида.

Сложность и слабая согласованность частновидовых значений заставляют, в крайнем своем проявлении, ставить под вопрос наличие вида как реальной категории русской грамматики. Это было отмечено в работе [Широкова 1994], где предлагается рассматривать вид как синкретическое отражение трех грамматических категорий: результативности, кратности и завершенности. Однако этот вывод плохо согласуется с исследовательской интуицией и не получил признания.

Другим вариантом отражения противоречивого состояния категории вида мы предлагаем признать микродиахроническую модель, которая способна отразить существующие исключения и частности в виде развивающихся или угасающих тенденций в определенный отрезок времени: «Но в тот самый момент, когда синхрония запечатлевает состояние языка, другие микросистемы как раз разрушаются или перестраиваются, и синхрония, застав их в процессе ускоренной эволюции, может увидеть в них только хаос» [Азам 2016: 379].

Если мы примем предложенную микродиахроническую модель, то для описания ситуации с глагольным видом придется не ограничиваться двумя конкурирующими противопоставлениями, а говорить о трех и более оппозициях.

В первую очередь обращает на себя внимание противопоставление достижения результата — его попытки. Оно характеризует глаголы с определенной семантикой, так называемые конативные (попыточные): *писал — написал, разрубал — разрубил*. В современной аспектологии признается результативность как один из особых способов действия. Однако он нередко сочетается с другим способом действия: *дописать* — это и результативный способ действия, и завершающий. Естественно, нельзя не признать, что такая модель оппозиции должна быть учтена при описании содержания глагольного вида. Однако она связана с ограниченным числом слов и поэтому может быть соотнесена с другим противопоставлением, которое можно рассматривать как расширение этой модели. Завершение неконативного действия — это то же, что и завершение отрезка времени, в течение которого продолжается.

Для остальных глаголов это противопоставление сохраняет только один признак из данной оппозиции: завершение — незавершение отрезка времени, в течение которого, с точки зрения говорящего, протекает действие, и именно эта характеристика в разных представлениях (целостность, событие и т.п.) часто объявляется общим значением глагольного вида. Позиция говорящего здесь принципиальна, поскольку незавершенность возможна только в отношении момента времени, являющегося ориентиром:

момента речи в диалоге, нарративного времени в повествовании. Получается, что модель достижения результата получает расширение. Дальнейшее развитие уже новой модели заключается в способах обозначения отрезков времени (а не действия), причем способов, связанных с позицией говорящего. Если достижение результата к определенному моменту — это отражение объективного факта, то завершение или незавершение отрезка рассматривается относительно момента, выбранного говорящим.

Результаты анализа материала. Итак, мы выявили, что видовые оппозиции, в некотором ограниченном множестве глаголов отражающие достижение результата, связаны с временем, которое автор представляет как завершенное (целостное, замкнутое) или незавершенное: (3) *Я не решил задачу* — время на решение завершено; (3') *Я не решал задачу, а включил телевизор* — время представлено как продолженное, в которое попало еще одно действие.

Именно способы отражения отслеживаемого автором времени действия чаще всего признаются общим значением глагольного вида. Если попытаться представить себе отмеченные модели как отражение имеющихся тенденций развития категории, то окажется, что это не две независимые модели, а два взаимодействующих тренда: противопоставление достижения — недостижения результата расширяется за счет присутствующей в этом противопоставлении сопутствующей оппозиции «завершенное — незавершенное описываемое время».

С этим противопоставлением хорошо согласуется и значение многократности, которое тоже реализуется в течение отрезка времени. Здесь речь может идти о двух моментах: всем отрезке, когда действие повторялось, и тех моментах, которые мультиплицировались за счет повторения, но были важны для описания каждого отдельного акта.

Так называемые обобщенные значения представляют собой дальнейшее развитие данной тенденции: они относят действия к времени вне описываемых отрезков, используя другие свойства семантики видовых противопоставлений: неопределенность относительно кратности для общефактического НСВ явно связана с тем, что НСВ может обозначать многократные действия. Однако здесь мы не будем подробно останавливаться на этих значениях, т.к. они связаны с многочисленными частными оттенками типа сохранения результата, и это далеко увело бы нас в сторону.

Возможность обозначения неоднократности действия — это еще одна оппозиция, которая развивается, вписываясь в модель, связанную с обозначаемым временем. В то же время исходное противопоставление достижения результата в этом случае оказывается не основной моделью, а противопоставлением, которое входит в состав новой оппозиции: многократные действия могут относиться и к успешным, и к неуспешным попыткам совершения чего-либо.

Таким образом, категория вида предстает чем-то вроде матрешки, в которой кроются потенции для выражения всё новых противопоставлений. С точки зрения деятельностной лингвистики возникновение новых слоев может быть описано в рамках интерактивного подхода [Борисова 1998]. Предполагается, что говорящий прогнозирует понимание сообщения слушающим и выбирает такие средства, которые будут поняты наиболее легко и однозначно. Поскольку для грамматических категорий выражение одной из граммем обязательно, приходится делать выбор и тогда, когда в семантике граммем нет точных или даже близких значений, однако одна граммема оказывается ближе выражаемому смыслу, чем другая. Так, значение многократности НСВ может возникнуть благодаря тому, что повторяющееся действие попадает в такой же отрезок, что и незавершенное. (Заметим, что аспектуальные категории других языков могут давать иные результаты.) В настоящее время этот «возможный вывод адресата» давно узуализирован, и при описании речевой деятельности индивида сам может служить основанием для выводов [Борисова 1998].

Если описывать тренды как модели, связанные с сосуществованием в синхронном срезе, то окажется, что ситуация с видом представляет более сложную картину, чем процесс замены одного тренда на другой (что было продемонстрировано на примере изменения категории залога). Перед нами нечто вроде переплетения нескольких трендов, которые, имея общую основу, получают собственное развитие. Общей основой оказывается представление о времени, в ходе которого протекает действие. Оно в свою очередь является развитием противопоставления достижения результата, а именно одной его стороны — наличие отрезка, когда оценивается, достигнут результат или нет. Далее на основании идеи отрезка формируются и другие противопоставления, в частности, многократности. Но общее для этих противопоставлений — представление об отрезках — позволяет говорить о том, что категория вида в содержательной части представляет собой сформированную оппозицию, допускающую некоторое развитие в виде частных значений и оттенков, которые, однако, недалеко удаляются от общего значения видового противопоставления и могут рассматриваться как отдельные частные значения или оттенки.

Выводы. В работе рассмотрены попытки отражения разнообразного и противоречивого содержания категории вида в виде взаимодействия некоторых трендов, сосуществующих в языковой системе.

Переход от одного тренда к другому связан с моделированием поведения участников общения. Взаимодействие трендов позволяет выявить точки их взаимного совпадения и поддержки, которые приводят к преобладанию одного тренда над другим, что позволяет, хотя и условно, делать предположения о направлениях развития категории. В этом случае

используются методики, берущие свое начало в микродиахроническом подходе, однако представляющиеся скорее моделью, чем реальным отражением исторических процессов.

В частности, для глагольного вида в сфере содержания имеет смысл взять в качестве исходного (более старого) варианта противопоставление «достижение — недостижение результата». Потом в качестве развития значения появляется противопоставление целостности времени, а на основании этого включается и возможность уложить в это время многократные действия. Тогда современное состояние будет пересечением нескольких не получивших завершения тенденций. Если их продолжить, можно прогнозировать развитие категорий.

Наиболее значительным противопоставлением представляется устанавливаемое говорящим представление времени, отслеживаемого в сообщении, как закрытого момента и открытого отрезка. Возможность такого развития подтверждается использованием видовых форм в отрицательных предложениях, когда завершенным оказывается не действие, а момент, когда это действие ожидалось. Конечно, дальнейшие уточнения перспектив развития вида представляются преждевременными.

В целом обращение к взаимодействию трендов в развитии (микродиахронический подход) может быть использован и при описании ряда других явлений в области лексической семантики, дискурсологии [Борисова 2016] и других сферах языкознания.

Литература

Азам О. Диахрония в помощь синхронии. О пользе диахронического подхода для объяснения некоторых сложных грамматических процессов в современном русском языке // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 10. Материалы международной научной конференции «Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии» (30 мая — 1 июня 2016 г.). Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2016. С. 378—393.

Борисова Е. Г. Проблема выбора вида (прагматическая точка зрения) // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 3. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 18—26.

Борисова Е. Г. Дискурс в динамике: изменения в структуре политического дискурса как предмет дискурсологии // Текст: дискурсивное проявление и коммуникативная практика: Сборник научных статей в честь юбилея доктора филологических наук, профессора Л. Г. Викуловой / Под общ. ред. Е. Г. Таревой. Москва: МГПУ, Языки народов мира, 2017. С. 172—178.

Гаврилова В. И. Квазипассивное значение русских возвратных глаголов как отражение закономерного извечно данного порядка вещей // Логический анализ языка; Космос и хаос: концептуальные поля порядка и беспорядка. Москва: Индрик, 2003. С. 256–285.

Гловинская М. Я. Теоретические проблемы видо-временной семантики русского глагола. М.: Наука, 1989. 155 с.

Зализняк Анна А., Шмелев Алексей Д. Лекции по русской аспектологии. München: Verlag Otto Sagner, 1997. 152 с.

Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Т. II. Братислава: Словацкая академия наук, 1960. 576 с.

Широкова Е. Г. Толкование некоторых единиц текста с учетом времени, описываемого в предложении // Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах: Тез. конф. Ленинград: ЛГУ, 1979.

Широкова Е. Г. Русский глагольный вид как синкретичное выражение аспектуальных категорий // Русский глагольный вид в прикладных исследованиях (сб. статей). Москва: Ин-т им А. С. Пушкина, 1994. С. 15–19.

Garde P. Pour une méthode bisynchrone // Travaux du Cercle linguistique d'Aix En Provence. 1966. 6. P. 151–167.

References

Azam O. Diakhroniya v pomoshh` sinkhronii. O pol'ze diakhronicheskogo podkhoda dlya ob'yasneniya nekotory'kh slozhny'kh grammaticeskikh processov v sovremennom russkom yazy'ke // Trudy` Instituta russkogo yazy'ka im. V. V. Vinogradova. Vy`p. 10. Materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii "Grammaticheskie processy` i sistemy` v sinkhronii i diakhronii" (30 maya — 1 iyunya 2016 g.). Moskva: Institut russkogo yazy'ka im. V. V. Vinogradova RAN, 2016. S. 378–393.

Borisova E. G. Problema vy'bora vida (pragmaticeskaya tochka zreniya) // Trudy` aspektologicheskogo seminaru filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. T. 3. Moskva: Shkola "Yazy'ki russkoj kul'tury", 1998. S. 18–26.

Borisova E. G. Diskurs v dinamike: izmeneniya v strukture politicheskogo diskursa kak predmet diskursologii // Tekst: diskursivnoe proyavlenie i kommunikativnaya praktika: sbornik nauchny'kh statej v chest' yubileya doktora filologicheskix nauk, professora L. G. Vikulovoj / Pod obshhred. E. G. Tarevoj. Moskva: MGPU, Yazy'ki narodov mira, 2017. S. 172–178.

Gavrilova V. I. Kvizipassivnoe znachenie russkikh vozvratny'kh glagolov kak otrazhenie zakonmernogo izvechno dannogo poryadka veshhej // Logicheskij analiz yazy'ka. Kosmos i khaos: konceptual'ny'e polya poryadka i besporyadka. Moskva: Indrik, 2003. S. 256–285.

Glovinskaya M. Ya. Teoreticheskie problemy` vido-vremennoj semantiki russkogo glagola. Moskva: Nauka, 1989. 155 s.

Zaliznyak Anna A., Shmelev Aleksej D. Lekcii po russkoj aspektologii. München: Verlag Otto Sagner, 1997. 152 s.

Isachenko A. V. Grammaticeskij stroj russkogo yazy`ka v sopostavlenii so slovackim. T. II. Bratislava: Slovackaya akademiya nauk, 1960. 576 s.

Shirokova E. G. Tolkovanie nekotory`kh edinicz teksta s uchetom vremeni, opisy`vaemogo v predlozhenii // Semantika estestvenny`kh i iskusstvenny`kh yazy`kov v specializirovanny`kh sistema kh: Tez. konf. Leningrad: LGU, 1979.

Shirokova E. G. Russkij glagol`ny`j vid kak sinkretichnoe vy`razhenie aspektual`ny`kh kategorij // Russkij glagol`ny`j vid v prikladny`kh issledovaniya kh (sb. statej). Moskva: In-t im A. S. Pushkina, 1994. S. 15–19.

Garde P. Pour une méthode bisynchrone // Travaux du Cercle linguistique d'Aix En Provence. 1966. 6. P. 151–167.

Сведения об авторе: Елена Георгиевна Борисова; доктор филологических наук; профессор; профессор Института иностранных языков Московского городского педагогического университета; ORCID 0000-0003-3878-5344; efcconf@list.ru; сфера научных интересов: семантика, прагматика, русская грамматика (глагольный вид), служебные части речи: частицы, междометия, союзы, несвободная сочетаемость (коллокации).

The author's profile: Elena Georgievna Borisova; Doctor of Philology; Professor; Professor at Moscow City University; ORCID 0000-0003-3878-5344; efcconf@list.ru; research interests: semantics, pragmatics, Russian grammar (verbal aspect), functional words (particles, interjections, conjunctions), fixed collocations.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.16

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.10

ИМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: СВЯЗЬ С ПРЕДИКАТИВНОСТЬЮ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ, НЕРЕФЕРЕНТНОСТЬЮ

SIMPLE FORMS OF ADJECTIVES IN THE CHURCH SLAVONIC LANGUAGE: THE CONNECTION WITH PREDICATIVITY, INDEFINITENESS, NON-REFERENTIAL USE

Светлана Власова

Университет Vytautas Magnus, Вильнюс, Литва

Svetlana Vlasova

Vytautas Magnus University, Vilnius, Lithuania

Аннотация

В статье описываются особенности использования именных форм прилагательных в текстах Успенского сборника XII–XIII вв. с точки зрения функциональной грамматики и теории референции. Установлено, что использование именных форм прилагательного в церковнославянском тексте нельзя объяснять только их предикативностью. Использование именных форм в атрибутивной функции следует связывать с рефлексом выражения категории детерминации (определенностью / неопределенностью объекта) и объяснять неопределенностью или нереперентным употреблением определяемого существительного.

Ключевые слова: категория определенности / неопределенности, именные / членные прилагательные, церковнославянский язык, нереперентность, предикативность.

Abstract

The article describes the peculiarities of the use of simple forms of adjectives in the texts of the Uspensky codex of 12th–13th centuries from the functional grammar and the theory of reference (determination) of the modern Russian language point of view (N. D. Arutunova, A. D. Shmelev, S. A. Krylov, V. Gladrov,

T. M. Nikolaeva, I. I. Revzin). We try to aspire that the functional-communicative analysis is not only possible in this case, but also fruitful. Based on this approach it is possible to substantiate (with sufficient degree of consistency) the use of simple forms of adjectives in the ancient text, the meaning of which, in our opinion, has not been studied properly in the scientific literature. This causes a return to predicative theory (A. A. Urzhumova) that was already discussed in the mid-twentieth century. The conclusions of the research are based on the analysis of all contexts with simple and pronominal forms of adjectives contained in word-index to the Uspensky codex of 12th–13th centuries. We are dealing with 1235 adjectives which are used almost 9 thousand times: there are about 4 thousand samples of usage of simple forms and about 5 thousand instances with pronominal forms.

The analysis of about 4 thousand uses of simple forms of adjectives in the Uspensky codex showed that they are used as predicates and the so-called second indirect cases in more than 900 usages. Moreover more than 1500 cases illustrate their usage for expressing the definiteness in case if it has already been expressed in the adjective by lexical means (neutralization). Thus, it is evident that there are about 1500 samples, the analysis of which allows revealing the contexts where the old forms of distribution still remained in accordance with their ancient meaning. We consider the function of simple forms in the mentioned above contexts as an attributive function. The analysis of these contexts leads to the conclusion that we should not classify all cases of simple adjectives usage in old Church texts only as examples of their predicative use. The so-called “hidden predicativity” contributes to the understanding of the noun group as indefinite one, but at the same time it is impossible to say that all simple forms of adjectives are predicative. The use of simple forms in the attributive function should be associated with the expression of the category of determination (definiteness / indefiniteness) and should be explained by the terms of indefiniteness or non-referential use of the determined noun. Pragmatic source of indefiniteness is most often the introduction, which can be carried out with the help of existential statement, as well as by using indefinite description. We can see that the meaning of the uncertainty is bounded up with modal and aspectual/ temporal characteristics of different types of predicates in the analyzed texts. This connection requires further study in ancient texts.

Key words: a category of definiteness / indefiniteness, simple and pronominal forms of adjectives, the Uspensky codex of 12–13th centuries, the Church Slavonic language, non-referential use, predicativity.

Введение. В Успенском сборнике XII–XIII вв. [УС], содержащем, как известно, тексты на церковнославянском языке восточнославянского извода, оппозиция членных (местоименных, полных) и именных (не-членных, кратких) форм имен прилагательных, по нашим наблюдениям,

еще сохраняет рефлексы былого распределения, обусловленного определенностью / неопределенностью (О / НО) имени существительного. Членная форма прилагательного сигнализирует о намерении автора текста сообщить о своем предположении, что читающий в состоянии отождествить в своей памяти референт, соответствующий определенной именной группе (ИГ). Именная форма называет тот или иной признак неиндивидуализированного предмета, который слушающий не в состоянии отождествить в данный момент. Мнения лингвистов о функциях данных форм в разных текстах древнерусской письменности расходятся [Хабургаев: 183–188; Кузнецов 1983; 2000].

Методология исследования. Целью данной статьи является описание функционально-семантических особенностей именных форм прилагательных с точки зрения функциональной грамматики и теории референции (детерминации) современного русского языка (работы Н. Д. Арутюновой, А. Д. Шмелева, С. А. Крылова, В. Гладрова, Т. М. Николаевой, И. И. Ревзина). Такой подход к анализу древнего текста можно считать дискуссионным, поскольку приходится реконструировать некоторые особенности восприятия действительности и текста людьми далекой от нас эпохи. Несмотря на то, что «причины образования членных прилагательных в значительной мере останутся для нас загадкой уже потому, что мы не имеем и никогда не будем иметь тех контекстов, в которых они реально появились» [Историческая: 86], необходимо исследование максимально приближенных по времени к исходному состоянию текстов. Даже при условии, что «регистрация в древнерусских рукописях старых форм в соответствующих конструкциях необязательно свидетельствует о сохранении самой категории определенности-неопределенности у согласуемых слов» и «колебания в употреблении именных и членных форм говорят о том, что усвоение этих форм и функций составляло проблему для древнерусского писца» [Кузнецов 2000: 96, 102], нам хотелось бы по мере возможности прояснить детали механизма выбора писцом той или иной формы.

Мы стремимся показать, что функционально-коммуникативный анализ в данном случае является не только возможным, но и продуктивным. Правомочность такого подхода признается и автором наиболее исчерпывающего на настоящий день исследования по истории прилагательного А. М. Кузнецовым [Историческая: 88–89]. На основе данного подхода можно как создать классификацию значений именных форм, так и с достаточной степенью последовательности обосновать их использование в древнем тексте. О недостаточной изученности семантики именных форм, по нашему мнению, свидетельствует возвращение к уже обсуждавшейся в начале и середине XX в. теории их предикативности [Уржумова].

Материалом исследования послужили прилагательные, собранные в текстах Успенского сборника XII–XIII вв. Жанр сборника обуславливает

присутствие в нем большого количества прилагательных разных разрядов, в противоположность бытовым и юридическим текстам, в которых прилагательных гораздо меньше и они лексически ограничены.

Выводы работы базируются на основе анализа всех контекстов с именными формами прилагательных, зафиксированных в словоуказателе к УС, а это составляет около 4 тыс. словоупотреблений. Всего в словоуказателе зафиксировано почти 9 тыс. словоупотреблений на 1235 лексем прилагательных, то есть оставшиеся приблизительно 5 тыс. словоупотреблений приходятся на членную форму (полный анализ см. [Власова 2006]).

Основная часть. По нашим наблюдениям, общую картину распределения именных форм прилагательных в УС можно представить следующим образом:

1. Именная форма могла использоваться *для выражения определенности* в том случае, если определенность уже была выражена в прилагательном лексически либо при помощи словообразовательных средств (нейтрализация). Дело в том нерядовом обстоятельстве, что определенный член в балтийских и славянских языках присоединялся не к существительному, а к прилагательному. Это привело к сложному взаимодействию между О / НО существительного и семантикой разных групп прилагательных в именной группе [Якубинский; Толстой; Власова 2006]. Индивидуализирующая объект семантика прилагательного не противоречила употреблению исключительно членной формы (как у большинства относительных прилагательных), а также могла определять и употребление исключительно именной формы (как было изначально у притяжательных прилагательных). Так, в УС абсолютно преобладает именная форма у притяжательных прилагательных (на 166 прилагательных 1086 словоупотреблений в именной форме и лишь 6 в членной). Вписывается в данную картину и особая группа прилагательных с суффиксом *-ьск-*, у которых именная форма преобладает в посессивном значении, конкурирует с членной в относительном, и преобладает членная форма в качественном значении. На эту группу приходится чуть более 240 словоупотреблений именных форм [Власова 2015]. Важно, что в УС ни притяжательные прилагательные, ни прилагательные с суффиксом *-ьск-* не используются в роли предиката, за исключением одиночного примера¹ **ВЪСѢ ІЕЖЕ ОЦѢ ІМАТЬ • ТО СЫНОВѢНІЕ** 281a29. В этом проявляется их принадлежность к группе идентифицирующих слов (термовость) и близость к дейктическим словам (указательным и притяжательным местоимениям), для которых тоже нехарактерна предикативная функция. В виде гипотезы можно предположить, что именно отсутствие предикативного употребления, а следовательно, и необходимости диф-

¹ Все примеры цитируются по изданию [УС 1971], указывается лист, столбец и строка, в которой находится анализируемое прилагательное.

ференциации атрибутивного и предикативного значения, и способствовало, по-видимому, сохранению именной формы у притяжательных прилагательных, несмотря на их несомненную лексическую определенность.

К случаям нейтрализации мы относим также немногочисленные в УС случаи употребления именной формы в роли определения к уникальным существительным (22 примера), а также употребление именных форм сложных прилагательных в позиции несомненной определенности (15 примеров). Так как в данном случае речь идет об определенности предмета, в рамках данной статьи эти формы мы исключаем из рассмотрения.

2. Именная форма используется *для выражения предикативности*. Если к предикативному традиционно относить и употребление прилагательных в конструкциях с так называемыми вторыми косвенными падежами и дательным самостоятельным, сюда можно отнести около 900 именных форм прилагательных. Это примеры типа: **бѣаше нога ѿмоу соуѡа и сѣкърчѣна** 19в20–21; **нѣ нази родихомъ са** 58г21; **абие роукоу цѣлоу сътвори члѣкоу** 125в24, в целом не вызывающие дискуссий у исследователей. Разумеется, констатации факта использования именных форм в предикате недостаточно, необходимо объяснение, почему именно именные формы столь тяготеют к предикату. Объяснения даются разные¹, однако преимущественно именные формы связаны с неопределенностью либо новизной информации, сообщаемой в предикате.

Заметим, что степень связи глагола и прилагательного в подобных примерах может быть разной, поэтому случаи типа **дондеже паки боудаше чѣрныѣ искоуснѣ** 37г10; **како же можемъ молитвоу чистоу приносити къ боу · сѣкровища имѣнию дѣръжаще въ келии своѣи** 49б11 уже можно считать пограничными между предикативным и атрибутивным употреблением. Ввиду затруднений, связанных с пониманием актуального членения древнего текста современным читателем, любую статистику тут следует считать относительной. Хотя использование именной формы в ИГ **молитвоу чистоу** можно объяснить и нереперентностью определяемого

¹ Так, Л. П. Якубинский считал, что признак в именном сказуемом всегда приписывается уже известному предмету, поэтому существительное, к которому относится прилагательное-сказуемое, всегда определено для говорящего, так что и употребление члена излишне [Якубинский: 215]. По мнению А. Д. Шмелева, «именное сказуемое является не предикатным, а специфицированным неопределенным» [Шмелев: 12]. Н. И. Толстой причину отсутствия полных форм прилагательного в роли сказуемого видел в разрыве двух представлений (предмета и его качества) в предикате [Толстой: 100–101], что близко к пониманию А. М. Кузнецова, говорящего о разрыве в предикате тема-рема-тических отношений между предметом и его признаком. По мнению Г. А. Хабургаева, краткая форма как немаркированный член оппозиции использовалась для выражения предикативности, «ибо сказуемое — это всегда новая информация, рема высказывания, следовательно, в предикате членная форма была невозможна» [Хабургаев: 183].

существительного, признак, названный прилагательным, несомненно важен в общем смысле высказывания, актуализован, имеется и связь с глаголом (= как может быть чистой молитва, если), что позволяет отнести данное употребление к предикативному, или, как более точно формулирует А. М. Кузнецов, при-предикатному [Кузнецов 1999: 64]. Показателем предикативности прилагательного в конструкциях со вторыми косвенными падежами следует считать его подчиненность глаголу-сказуемому, наравне с самим существительным. Поэтому не относятся ко вторым косвенным падежам примеры типа *послѣ же въписа къ нѣмоу(у) епистолию великоу зѣла(о)* 58в4, так как признак здесь не связан напрямую с глагольным действием. Хотя с точки зрения современного русского языка в таких примерах можно видеть обособленное определение и скрытую предикативность.

Таким образом, здесь очень важно определиться в целом с понятием предикативности прилагательного. По замечанию А.М. Кузнецова, с одной стороны, «прилагательное формально без глагола (пусть и в нулевой форме) предикативным быть не может. Так что следовало бы говорить не о предикативном, а о при-предикатном или, если угодно, о при-глагольном употреблении прилагательных», с другой стороны, «признак всегда (независимо от синтаксической позиции), приписывается (т. е. предикцируется) предмету, даже “атрибутивный”». Поэтому предикативным следует считать не любое именное прилагательное, а только те случаи, где присутствует «тема-рематическое “противостояние” существительного и прилагательного (предмета и признака), при котором прилагательное объединяется с глаголом в комплекс, способный дополнительно члениться на тему и рему» [Кузнецов 1999: 64].

Роль именной части сказуемого выполняют преимущественно качественные прилагательные, которые Н. Д. Арутюнова относит к «классическим предикатам» [Арутюнова 1976: 337], называя в качестве отличительной особенности слова-предиката отсутствие денотативного наполнения, когда слово имеет значение, но лишено референции [Арутюнова 1976: 37, 329].

3. Таким образом, из почти 4 тыс. словоупотреблений именных форм прилагательных в УС почти полторы тысячи приходится на случаи их использования для выражения определенности (нейтрализация); около 900 случаев следует относить к употреблению в роли предикатов и так называемых вторых косвенных падежей. Следовательно, далее можно рассматривать около *полтора тысяч* словоупотреблений, анализ которых и позволяет выявить те контексты, в которых еще сохраняется былое распределение форм в соответствии с их происхождением. Сложность анализа связана с тем, что «уже рукописи XI в. дают сложную картину н а л о ж е н и й на явления, свойственные более ранним эпохам, разнообразных инноваций, характеризующих отдельные славянские языки и говоры» (Раз-

рядка авт. — С. В.) [Историческая: 88]. И тем не менее именно тот факт, что «конструкции с именными формами легко усваиваются, становятся традиционными — почти клише. Вытеснение именной формы членной происходит в них постепенно, этот процесс в письменной речи отстает от живой речи» [Историческая: 90], дает шанс найти в УС те контексты, которые еще сохранили рефлексы древнего значения.

Прочитируем, какое объяснение использованию именных форм дают сторонники теории их предикативности: «анализ языкового материала позволяет классифицировать все случаи употребления нечленных имен только как примеры их предикативного использования» [Уржумова: 102]. Автор фактически исключает для именных форм атрибутивную функцию, отмечая: «то, что в традиционной исторической грамматике называется атрибутивным кратким (нечленным) прилагательным, собственно атрибутом не является» [Уржумова: 105], хотя и допускает «конструкции с нечленными именами, соотносимые с современными полупредикативными определениями и с приложениями (предикативный характер последних в современном русском языке у исследователей не вызывает сомнения)». Как самый весомый аргумент «предикативности» нечленных форм автор приводит постпозицию прилагательного. Однако данная интерпретация вызывает ряд вопросов: что такое предикативность? почему же тогда она не проявляется в постпозиции у членных форм? А если она проявляется, что же позволяет им приобрести / сохранить членную форму? Автор, с одной стороны, называет постпозицию «позицией предиката по отношению к грамматическому субъекту», а другой стороны, допускает в постпозиции употребление членной формы (как же она там оказалась?). Едва ли поможет объяснить ситуацию и обращение к теории происхождения «нечленного имени» из «синкретичного имени». Данная теория как не имеющая в данном случае объяснительной силы не без оснований критикуется в статье А. М. Кузнецова [Кузнецов 2002], а также в [Историческая 2006: 30; 79–80]. Думается, что на современном этапе изучение вопроса истории прилагательного уже невозможно начинать без ознакомления с работами данного автора [Кузнецов 1993, 1999, 2000, 2002; Историческая 2006].

На наш взгляд, при обсуждении функции именных и членных форм прилагательных невозможно обойтись одним лишь не всегда четко определяемым понятием предикативности. Тут неизбежным является обсуждение «категории детерминации» [Крылов], «типов референции» [Шмелев, Арутюнова] или «категории определенности / неопределенности» [Николаева, Ревзин].

Так как категория детерминации (О / НО) является особой функционально-семантической категорией, ее следует рассматривать как многоаспектное явление. Так, С. А. Крылов выделяет 11 групп аспектов

детерминации (прагматические, внешне-ситуационные, макросинтаксические, логико-семантические, семантико-, коммуникативно-, категориально-, конструктивно-синтаксические, лексические, грамматические, морфосинтаксические). Прагматический статус речевых отрезков является основой детерминации, причем происходит пересечение осведомленности / неосведомленности как говорящего, так и адресата. И если прагматическим источником известности (следовательно, определенности) является наличие у коммуникантов общего «базиса понимания» (расширяющегося от дейктической известности до энциклопедической), то прагматическим источником неизвестности (неопределенности) является интродукция [Крылов: 247–248]. Интродукция может осуществляться как с помощью экзистенциального высказывания, так и с помощью неопределенной дескрипции. Несомненно, к древнему тексту можно применить замечание С.А. Крылова, сделанное на основе работы Н. Д. Арутюновой, о развитии макросинтагмы как связной последовательности речевых актов. Действительно, четыре шага (последовательная интродукция, таксономическая предикация, номинация и далее цепочка характеризующих предикаций) выступают в качестве «этапов развертывания текста» [Крылов: 254, Арутюнова: 357–377], в том числе и древнего. Интродукция объекта всегда связана с неопределенной референцией к нему. К логико-семантическому аспекту детерминации следует относить существование классов слов, в лексическое значение которых входит указание на тот или иной тип референции. К семантико-синтаксическому аспекту детерминации относится связь О / НО с разными типами предикатов. Кроме того, существует связь модальных и видо-временных характеристик предикатов и референциального статуса актантов. В контексте рассматриваемого вопроса интересно, что «к числу факторов, способствующих прочтению ИГ как “неопределенной”, относятся, в том числе, разнообразные показатели “скрытой предикатности”» [Крылов: 265].

Денотативный статус ИГ может предопределяться особенностями лексического значения как самого существительного, так и других окружающих слов, в том числе прилагательных. К грамматическим факторам детерминации относится взаимодействие категории детерминации с грамматическими категориями, в частности, с категорией вида. Так, совершенный вид может сигнализировать об определенности существительного, а несовершенный — о неопределенности.

Итак, будем считать, что неопределенность ИГ проявляется во всех тех случаях, где отсутствует индивидуализация (идентификация, отождествление) предмета. В плане когнитивном неопределенная форма указывает не непосредственно на предмет, а на состояние принадлежности к классу подобных ему феноменов [Николаева: 349]. Кроме того, категория

О / НО служит для решения коммуникативных задач: «говорящий, когда он вводит в коммуникацию название того или иного предмета, учитывает, является ли данный предмет знакомым слушающему или нет. Если говорящий убежден, что данный объект для слушающего является новым, то имя выступает в значении неопределенности» [Гладров: 240].

В соответствии с вышесказанным мы выделяем следующие основные значения атрибутивных именных форм в УС:

1. Интродукция (введение объекта в рассмотрение). Референтное использование ИГ.

Интродуктивные предложения вводят предмет в фонд общих знаний собеседников, выделяя его из ряда однородных предметов, с целью его последующей характеристики. В интродуктивных предложениях всегда речь идет о предмете, известном говорящему, но незнакомом адресату [Арутюнова: 221].

1) Значение экзистенциальности.

Указание на существование предмета и возможность его выделения из соответствующей предметной области. В древнем письменном тексте это обычно первый «шаг» в линейном развертывании текста. Сигнализируется о готовности говорящего (повествователя) подробнее проинформировать собеседника о данном предмете. Неопределенность ИГ вытекает из неосведомленности адресата. Далее в тексте, как правило, содержатся последующие сообщения об объекте (если кореферентное существительное сопровождается далее прилагательным, то оно будет уже в членной форме). Маркерами значения существования являются формы глагола *быть*, как в примерах *и донѣмъ єсть на мѣстѣ томъ монастырь славнъ* 56a19; *бѣша же двѣрьцѣ малы посрѣдѣ юю* 300a20; *нѣкде въ градѣ бѣше члѣкъ слѣплъ* 226b23; *баше же тоу правдивъ мѡужъ именемъ ѿѡанъ* 150b21.

2) Первое упоминание предмета в речи / появление предмета в денотативном пространстве.

Близкий к предыдущему случай использования именной формы с целью поставить читающего в известность о том, что вводится новый для данного денотативного пространства объект. Значение существования предмета здесь входит в пресуппозицию, а на первое место выходит указание на возникновение предмета в денотативном пространстве реципиента. Предмет может быть неопределенным не только для воспринимающего текст, но и для «героя» описываемой коммуникативной ситуации. Подобного рода активностью чаще всего характеризуется лицо (для христианских текстов реже иной живой объект). Лицо либо само появляется в ситуации, либо является наблюдателем, в поле зрения которого и возникает новый объект, как в случае с глаголами восприятия. Начинательность выражается лексически, в семантике управляющего глагола (в том числе глагола восприятия), как в примерах: *и се вѣлзе свѣтъль отрѣкъ*

въ воиньстѣи одении 45a23; и се пьсь чьрнѣ ста предѣ мноу 44a14; паки *обрѣтохъ* тоу оуношу добра · имьнымъ матѣю 220b19. Глаголы восприятия свидетельствуют о появлении предмета в поле зрения реципиента: *агапии ... видѣ* въ корабли дѣтищъ · и дѣва моужа велика 288b17; и *показа* юмоу тѣло мѣдано велико 122b25; *оуслыша* шпѣтъ зълъ окръсть шатѣра 11b8; *оузрѣ* ракоу мраморану лежашю · многа лѣта 83g22. Естественно, условия контекста могут измениться, и явиться / войти / быть принесенным / увидеть можно и определенный предмет, однако в таком случае в контексте должны были бы содержаться средства идентификации (маркеры), позволяющие рассматривать данную ИГ как определенную.

3) Неопределенность возникающего предмета.

Некоторый новый объект может не просто войти в данную коммуникативную ситуацию, но и мыслиться возникающим именно в тот момент, когда о нем говорят. То есть речь идет о бытии объекта, начиная с данного момента, и его не-существовании до этого. Речь чаще идет о неодушевленных предметах. Индикатором разграничения данных значений можно считать невозможность использования в таком контексте местоимения *один* в артиклевой функции. Семантика возникновения связана с характеристиками предикатов: *ави ста ис колѣна нога мала акы младоу дѣтицю* 21b17; *тѣгда же бжѣтвнын варламъ постави надѣ пещероу малюу црквицю въ има стѣхъ бѣа* 35g14; и *желѣзны печати възложиша на гробѣ* 241b11. К этому же подтипу, видимо, следует отнести предложения, в которых сказуемое выражено формой аориста *бысть*, так как «формы прошедшего времени глагола *быть* в плане содержания как в церковнославянском, так и в живом языке того времени могли обозначать либо состояние, либо возникновение этого состояния; в последнем случае отмечено начало этого состояния и данный глагол означает “стать”» [Успенский: 240]. Возникновение объекта актуализируется в высказываниях типа: *и бысть сѣча зла отиноудѣ* 15g4; и *бысть монастырь славьнѣ · иже и доньнѣ юсть* 35b28; и се *чюдо преславно бысть* 25g17–18.

4) Репрезентативная неопределенность.

В данном случае предмет выступает как представитель класса одноименных предметов, и в нем в данной коммуникативной ситуации важно именно это. Прилагательное в именной форме называет качество предмета, не индивидуализируя его. Часто в этом случае речь идет об обладании лицом неиндивидуализированным, но зафиксированным в реальном мире предметом, в отличие от «чисто» экзистенциального значения, где существование предмета не имеет семы «принадлежность». Примеры: *ничьсо же не сътажа на земли · тѣкъмо ризоу єдиноу и стихарѣ власанѣ* 293g29; обладание может быть выражено глаголом *имѣти*: *моужь нѣкый хота шпити на поуѣ · имыи же лоукънѣце мало пѣльно соуще сребра* 65b13; *имоушемъ же осьла нестроино на слоужьбоу* 146b1–2; реже предмет принад-

лежит другому предмету: **имѣаше сии корабель • и котыкы желѣзны** 199г16. Ввиду своей жанровой принадлежности, УС содержит преимущественно монологические тексты, в которых изложение ведется с позиции «всезнающего» автора. Так как примеров диалогической речи мало, то и случаи неопределенности неизвестного не только слушающему, но и говорящему объекта встречаются редко, как в примере: **рече къ гостиньнику • друуже слышалъ ясмь тако имаши съде дѣцю добрую** 30264.

Взаимодействие категории О / НО с посессивностью [Власова 2012] и предикатами обладания представляет большой интерес. По замечанию С. А. Крылова, в современном русском языке «предикаты *быть* и *иметь* (которые нередко объявляются первичными или базисными выразителями значения обладания) в действительности представляют результат сплавления реляционного предиката “владеть” (“обладать”) с интродуктивным оператором, относящимся ко второму аргументу этого предиката (“имуществу”). Как конструкции с посессивным *быть*, так и конструкции с посессивным *иметь* являются экзистенциальными, в отличие от конструкций с *владеть*, *принадлежать* и производными от них» [Крылов: 260].

В соответствии с правилами интродукции названный предмет может быть включен в дальнейшее повествование, но может быть упомянут всего один раз, что связано с меньшей «активностью» предметов по сравнению с лицами. Часто репрезентативная неопределенность наблюдается при описании внешности человека, в частности одежды, нередко при его первом упоминании автором либо в коммуникативной ситуации первого его восприятия реципиентом, как в примерах: **дше бо видаше нища или оубога въ скърби соуща и въ одежи худѣ** 51a10; **они же видѣвъше отрока простоту и ризами же худыми облечена** 3163; и **оузырѣ идоуща • ѿ ї • моужа въ бѣлау ризахъ** 289632. Идея принадлежности одежды в русском языке в этом случае выражается не в предикате, а в несогласованном определении. Между человеком и его носильными вещами возникают типовые отношения «смежности», при которых иногда признак известности (определенности) автоматически индуцируется с обладателя на объект обладания. Однако это происходит не всегда, а лишь в «типовых» ситуациях обладания. Интересно, что в современном русском языке предметы, обладающие известностью, основанной на ситуационном базисе понимания, тоже могут оформляться нулевым детерминативом (нулевая актуализация) [Крылов: 249–252]. В анализируемых примерах обладатель к тому же может быть неопределенным, поэтому он не может индуцировать определенность на соответствующий предмет.

В современном русском языке, чтобы «снять интродуктивный характер высказывания, в предложение может быть введено неопределенное местоимение *какой-то*, указывающее на то, что говорящий не в курсе дела, или местоимение *кое-какой*, дающее понять, что говорящий, хотя и рас-

полагает соответствующей информацией, однако не намерен ее сообщать или считает ее несущественной» [Арутюнова: 245]. Похожие примеры неопределенности можно увидеть и в УС: *два моужа · нѣ въ которѣи винѣ хюдѣ окована* 23a16; *шп имѣнии своихъ малоу нѣкакоу часть подаючи имѣ* 36г29; *мынаше же чюжоу нѣкоую чърницю видаши* 132б15. Категория неопределенных местоимений еще находится в это время в становлении, поэтому можно увидеть и случаи употребления неопределенного местоимения в интродуктивном высказывании, как синоним местоимения «один»: *члвкоу нѣкоемоу хлюбивоу и боащю са бѣ · явленииѣмъ шпкры са еже ѡ блаженѣмъ и прѣбывѣмъ оци нашемъ ѣеѡдосии* 55г3.

II. Неспецифическая неопределенность имени.

Анализ категории О / НО осложняется ее взаимодействием с категорией референтности, что исследователи обычно обозначают как существование двух видов неопределенности: так называемой специфической неопределенности, когда речь идет о конкретном, референтном, т. е. соотносящемся с денотатом имени, и неспецифической, когда имя не имеет конкретного референта [Николаева: 349]. Вопрос остается дискуссионным, так как, по мнению Гладрова, «Только референтное имя может выражать неопределенное значение в оппозиции с определенным. Имя, которое не референтирует, оппозиции О / НО не передает» [Гладров: 236]. К таким случаям, видимо, следует относить примеры наименований объекта, который говорящий в данный момент не в состоянии идентифицировать. В частности, если названный ИГ предмет мыслится как потенциальный — предполагаемый, планируемый, воображаемый, желаемый — обычно в конструкциях с соответствующими предикатами: в форме будущего времени, ирреальных наклонений, с модальными глаголами и т.д., как в примерах: *да бы съдѣлалъ цркъвь прелѣпоу и пречѣстную* 20aб—7; *цсръ повелѣ быти столу мѣдану* 100a24; *оумысли изяславъ възградити цркъвь новую* 20б31—32; *имать бо боура велика на мори быти* 171б18; *и образъ ти сътворю златъ* 98в18; *друже сътвори ны вечерю добру* 302г13 и многие другие.

В данном случае, видимо, ИГ можно считать и «ограниченно референтными», то есть референт этих ИГ находится «в локальном нереальном универсуме» [Крылов: 258]. Локальный универсум с нереальной модальностью порождается предикатом, создающим контекст неутвердительности.

III. Нереферентное использование ИГ.

Следуя определению Гладрова, «следует отличать понятие неопределенности от понятия нереферентности. <...> Референтное употребление имени означает, что говорящий в речевом акте устанавливает соотношение с некоторым объектом или группой объектов действительности. Имя нереферентно, когда оно относится не к конкретному объекту, а к классу в целом или к признаку данного объекта» [Гладров: 236—237].

К наиболее очевидным случаям нереперентного употребления можно отнести примеры, в которых ИГ выступает в роли приложения или именной части сказуемого. В данном случае мы можем говорить о (полу)предикативности существительное, но прилагательное в данном случае формально выполняет функцию определения. Так как в большинстве примеров основная смысловая нагрузка ложится на прилагательное, а имя существительное относится к классу гиперонимов, можно говорить и о скрытой предикативности прилагательного. В примерах такого типа именно прилагательное характеризует лицо или предмет как представителя класса, определенного типа, обладающего свойством, заключающимся в прилагательном. Приложения чаще относятся к существительным, обозначающим лицо. Сема «человек» обычно уже содержится в прилагательном, характеризующем лицо, а существительное семантически избыточно, определяет фактически только пол, как в примерах: **БЛ҃ХОУ ЖЕ Т҃ГДА ЈЕЛИНИ ВЪ ГРАДѢ · МОУЖИ БОГАТИ** 157г23; **ФЛОРЬНОВИѦ ЖЕ ЁТЕРА ЖЕНА Ч҃СТЬНА** 129в32. Именное сказуемое может характеризовать как лицо, так и предмет, в коммуникативном фокусе обычно находится опять-таки прилагательное: **А МЫ СЛОВѢНИ ПРѢСТА ЧАДѢ** 105а27; **ВЕЛИКО ДѢЛО ДѢВСТВО ИГДА ИМАТЬ И СЕСТРОУ МИЛОСТЫНЮ** 185а8. Особенно явно предикативность проявляется в случаях типа **КР҃СТЬ ВОЕМѢ ОРОУЖИЕ КР҃ПКО И СТРАШНО ПРОТИВНЫМЪ** 88г16–17. Но именная форма сохраняется, даже если не прилагательное находится в коммуникативном фокусе: **ЛОУКАВО ПОГОУБЛЕНИЕ ЦР҃ЕМѢ ЖАНА СИ** 81в17; **ТЫ ПАЖЕ ГЛ҃ЕШИ БОГЫ СОУША ИДОЛИ СОУТЬ РОУКОТВОРЕНИ** 124г19–20.

И если в случае с приложением и именным сказуемым мы еще можем говорить о предикативности прилагательного, то во многих других случаях едва ли. Так, прилагательное, определяющее существительное, обозначающее узальный объект сравнения, тоже употребляется в именной форме. Это связано с тем, что в большинстве случаев объект сравнения должен обладать каким-то ярким, но типичным и хорошо известным носителям данного языка признаком, являющимся основанием сравнения [Власова 2017]: **МЛТВОУ ТВОРА · И ТОЮ ОГРАЖА И ЯКО ГРАДЪМЪ ТВР҃ДЪМЪ** 57б28; **КР҃ПКО СТОИ ЯКО ХРАБРЪ СИЛНЪ БѢ МОЛАДШЕ** 38а18. Типичность объекта сравнения, таким образом, чаще всего прямо противоположна уникализации, поэтому при всей выразительности и эмоциональности признака, названного прилагательным, оно не служит идентификации предмета.

Атрибутом существительного в обстоятельственной функции тоже преимущественно выступает прилагательное в именной форме. Свойства обстоятельственных ИГ близки к свойствам наречия. Имя тут утрачивает свою субстанциональность и реферирует скорее к признаку действия, чем к самому предмету. Примеры: **И ПОИДЕ РАД҃ЪСТНЫМЪ СР҃ЦЕМЪ** 10621–22 (пошел радостно, радуясь); **ГЛ҃А ЈЕМОУ ОНЪ ВЕСЕЛЪМЪ ЛИЦЕМЪ** 46б10; **РЕЧЕ КЪ НЕИ**

острьмъ словъмъ 302в28; *стоуоумоу лежащю дълго время* 15616; *въ мало время възгради црькъвъ* 3768; *и оузьрита въ добръ сѣдравий сестроу ваю* 161г31–32; *съ гнѣвъмъ великъмъ въпиадше* 32в9 др. Лексический состав имен в сочетаниях подобного типа ограничен, как правило, это имена, всегда конкретизируемые своим атрибутом, который при них обязателен. Обращает на себя внимание также тот факт, что большинство существительных в такого рода сочетаниях относятся к абстрактной лексике, а, как известно, имена отвлеченные не нуждаются в актуализации, кроме того, многие из них обладают большой употребительностью в речи и относятся к разряду речевых клише. Поэтому именные формы в этих сочетаниях могли задерживаться достаточно долго.

Проблема влияния на обязательность или факультативность прилагательного как собственно языковых, так и экстралингвистических факторов рассматривается в статье Е.М. Вольф. Интересно, что в некоторых случаях «в русском языке прилагательное бывает обязательно при неопределенной референции имени, при его устранении необходимо поставить показатель неопределенности» [Вольф: 132].

Так как О / НО относится к коммуникативным категориям, смена ракурса повествования может обусловить использование в рамках одного предложения разных форм, как в примере *поустихъ же ти моужа прозорьлива · и бл҃годѣти божия съподоблена · мѣню же чьстнаго дѣлака каѡлаипа* 173619–20. На наш взгляд, в первом случае в ИГ *моужа прозорьлива* именная форма в интродуктивном высказывании, а далее происходит «переключение» на точку зрения говорящего (*мѣню же*), для которого данный предмет является определенным, что подчеркивается и сочетанием с именем собственным, и, хотя речь идет об одном и том же лице, используется определенная форма *чьстнаго*. По замечанию Н.Д. Арутюновой, «экзистенциальная интродукция к тексту обычно сопровождается индивидуализацией вводимого в «универсум речи» (universe of discours) лица или предмета. Индивидуализирующая характеристика может непосредственно включаться в интродуктивное предложение» [Арутюнова: 222].

Выводы. Если из общего числа (4 тыс. словоупотреблений) именных форм прилагательных в Успенском сборнике исключить 900 случаев их использования в роли предикатов и так называемых вторых косвенных падежей, а также почти полторы тысячи случаев их использования для выражения определенности в случае нейтрализации, то остается около полутора тысяч атрибутивных употреблений, анализ которых и позволяет выявить те функционально-семантические особенности именных форм, которые связаны с их древнейшим значением. Анализ данных словоупотреблений позволяет сделать вывод, что не следует классифицировать все случаи употребления именных прилагательных в церковнославянском

тексте только как примеры их предикативного использования. Мы рассматриваем функцию именных форм в этих контекстах как атрибутивную. Так называемая «скрытая предикативность» способствует пониманию именной группы как неопределенной, но нельзя утверждать, что все именные прилагательные предикативны.

Использование именных форм в атрибутивной функции следует связывать с выражением категории детерминации и объяснять либо неопределенностью в случаях конкретного (актуализованного) употребления существительного, к которому относится прилагательное, либо значением принадлежности классу при нереферентном употреблении определяемого существительного. Прагматическим источником неопределенности чаще всего является интродукция, которая может осуществляться как с помощью экзистенциального высказывания, так и с помощью неопределенной дескрипции. Во многих случаях классифицировать значение именных форм достаточно сложно, так как по сути основание употребления неопределенных форм одно: они обозначают принадлежность предмета к классу объектов. Будучи средством оформления неопределенности, именная форма очень важна при повествовании, так как она передает прежде всего нужную для линейного развертывания текста информацию о введении нового объекта в акт коммуникации.

В анализируемых текстах наблюдается тесная связь значения неопределенности с модальными и видо-временными характеристиками разных типов предикатов. Из-за тесной связи с предикатом наблюдается схожесть со значениями, выражаемыми в составном именном сказуемом, но атрибутивное прилагательное не является именной частью сказуемого, так как значение признака предмета не связано с глагольным действием, не вытекает из него, а является самостоятельным. В расширенном понимании связь модальных и видо-временных характеристик предикатов и референциального статуса актантов в древнем тексте еще должна стать предметом более подробного изучения.

Литература

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / АН СССР. Ин-т языкознания. Москва: Наука, 1976. 383 с.

Власова С. Формы прилагательного как средство выражения категории определенности / неопределенности в церковнославянском языке (на материале Успенского сборника XII–XIII вв.). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. 210 с.

Власова С. Связь между определенностью и посессивностью в текстах Успенского сборника XII–XIII вв.: формы прилагательного // *Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija*, 2012. Nr. 8. С. 46–55.

Власова С. Прилагательные с суффиксом *-ьск-* и категория определенности / неопределенности в церковнославянском языке (в сопоставлении с прилагательными с суффиксом *-iškas* в литовском языке) // Русистика и компаративистика: сборник научных статей. Вильнюс; [Москва]: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. Вып. X. С. 7–27.

Власова С. Формы прилагательных в сравнительных конструкциях (на материале церковнославянского текста XII–XIII вв.) // *Kalba ir kontekstai* = Language in different contexts: mokslo darbai: Lietuvos edukologijos universitetas. Humanitarinio ugdymo fakultetas, Ats. redaktorius: L. Selmistraitis, 2017. Т. 7 (2). Р. 62–72.

Вольф Е. М. Прилагательное в тексте («Система языка» и «картина мира») // Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979. С. 118–135.

Гладров В. Семантика и выражение определенности / неопределенности // Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность / Отв. ред. А.В. Бондарко. Санкт-Петербург: Наука, 1992. С. 232–266.

Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В.Б. Крысько. Т. III. А.М. Кузнецов, С.И. Иорданиди, В.Б. Крысько. Прилагательные. Москва: Азбуковник, 2006. 496 с.

Крылов С. А. Детерминация имени в русском языке: Теоретические проблемы // Семиотика и информатика, 1984, вып. 23. С. 124–154.

Кузнецов А. М. Краткие и полные формы прилагательных в деловых и бытовых памятниках Северо-Западной Руси XI–XIV вв. // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1983. № 4. С. 46–53.

Кузнецов А. М. Предикативность полного прилагательного в конструкциях с глаголом *быть* // *Valoda. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi: leksikoloģija, fonētika, gramatika*. Daugavpils: DPU, 1999. Р. 54–65.

Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм согласуемых слов русскими книжниками XI–XII вв. // Функции и взаимодействие языковых единиц в тексте. Таллинн: ТПУ, 2000. С. 95–104.

Кузнецов А. М. К вопросу о происхождении разрядов прилагательных // *Daugavpils universitāte. Humanitāro zinātņu vēstnesis*. 2002. № 1. Р. 80–87.

Николаева Т. М. Определённости – неопределённости категория // Лингвистический энциклопедический словарь. / Гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 349.

Толстой Н. И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке // Вопросы славянского языкознания. Вып. 2. Москва: Издательство АН СССР, 1957. С. 43–122.

Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Москва: Аспект Пресс, 2002. 559 с.

УС — Успенский сборник XII–XIII вв. 1971. Изд. подг. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон / Под ред. С.И. Коткова. Москва: Наука, 1971. 754 с.

Уржумова А. А. Особенности употребления членных и нечленных имен с суффиксом *-ьн* в древнерусском языке (на материале летописных и евангельских текстов) // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2013. № 1 (25). С. 101–111.

Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка: имена. Москва: Издательство МГУ, 1990. 296 с.

Шмелев А. Д. Определенность / неопределенность в названиях лиц в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 1984. 19 с.

Якубинский Л. П. История древнерусского языка. Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1953. 367 с.

References

Arutyunova N. D. Predloženie i ego smy'sl: Logiko-semanticheskie problemy' / AN SSSR. In-t yazy'koznaniya. Moskva: Nauka, 1976. 383 s.

Vlasova S. Formy' prilagatel'nogo kak sredstvo vy'razheniya kategorii opredelennosti / neopredelennosti v cerkovnoslavyanskom yazy'ke (na materiale Uspenskogo sbornika XII–XIII vv.). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. 210 s.

Vlasova S. Svyaz' mezhdru opredelennost'yu i posessivnost'yu v tekstakh Uspenskogo sbornika XII–XIII vv.: formy' prilagatel'nogo // Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija, 2012. Nr. 8. S. 46–55.

Vlasova S. Prilagatel'ny'e s suffiksom *-sk-* i kategoriya opredelennosti / neopredelennosti v cerkovnoslavyanskom yazy'ke (v sopostavlenii s prilagatel'ny'mi s suffiksom *-iskas* v litovskom yazy'ke) // Rusistika i komparativistika: sbornik nauchny'kh statej. Vil'nyus; [Moskva]: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. Vy'p. X. S. 7–27.

Vlasova S. Formy' prilagatel'ny'kh v sravnitel'ny'kh konstrukciyakh (na materiale cerkovnoslavyanskogo teksta XII–XIII vv.) // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts: mokslo darbai: Lietuvos edukologijos universitetas. Humanitarinio ugdymo fakultetas, Ats. redaktorius: L. Selmistraitis, 2017. T. 7 (2). P. 62–72.

Volf E. M. Prilagatel'noe v tekste («Sistema yazy'ka» i «kartina mira») // Lingvistika i poe'tika. M.: Nauka, 1979. S. 118–135.

Gladrov V. Semantika i vy'razhenie opredelennosti / neopredelennosti // Teoriya funkcional'noj grammatiki: Sub'ektnost'. Ob'ektnost'. Kommunika-

tivnaya perspektiva vy'skazyvaniya. Opredelennost' / neopredelennost' / Otv. red. A.V. Bondarko. Sankt-Peterburg: Nauka, 1992. S. 232–266.

Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo yazy'ka / Pod red. V. B. Kry's's'ko. T. III. A. M. Kuznecov, S. I. Iordanidi, V. B. Kry's's'ko. Prilagatel'ny'e. Moskva: Azbukovnik, 2006. 496 s.

Kry'lov S. A. Determinaciya imeni v russkom yazy'ke: Teoreticheskie problemy // Semiotika i informatika, 1984, vy'p. 23. S. 124–154.

Kuznecov A. M. Kratkie i polny'e formy prilagatel'ny'kh v delovy'kh i by'tovy'kh pamyatnikakh Severo-Zapadnoj Rusi XI–XIV vv. // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 9. Filologiya. 1983. № 4. S. 46–53.

Kuznecov A. M. Predikativnost' polnogo prilagatel'nogo v konstrukciyakh s glagolom by't' // Valoda. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi: leksikoloģija, fonētika, gramatika. Daugavpils: DPU, 1999. P. 54–65.

Kuznecov A. M. Usvoenie cerkovnoslavyanskikh imenny'kh i chlenny'kh form soglasuemy'kh slov russkimi knizhnikami XI–XII vv. // Funkcii i vzaimodejstvie yazy'kovy'kh edinicz v tekste. Tallinn: TPU, 2000. S. 95–104.

Kuznecov A. M. K voprosu o proisxozhdenii razryadov prilagatel'ny'kh // Daugavpils universitāte. Humanitāro zinātņu vēstnesis. 2002. № 1. P. 80–87.

Nikolaeva T. M. Opredelyonnosti – neopredelyonnosti kategoriya // Lingvisticheskij e'nciklopedicheskij slovar'. / Gl. red. V. N. Yarceva. Moskva: Sovetskaya e'nciklopediya, 1990. S. 349.

Tolstoj N. I. Znachenie kratkikh i polny'kh form prilagatel'ny'kh v staroslavjanskom yazy'ke // Voprosy slavyanskogo yazy'koznaniya. Vy'p. 2. Moskva: Izdatel'stvo AN SSSR, 1957. S. 43–122.

Uspenskij B. A. Istoriya russkogo literaturnogo yazy'ka (XI–XVII vv.). Moskva: Aspekt Press, 2002. 559 s.

US – Uspenskij sbornik XII–XIII vv. 1971. Izd. podg. O. A. Knyazevskaya, V.G. Dem'yanov, M. V. Lyapon / Pod red. S. I. Kotkova. Moskva: Nauka, 1971. 754 s.

Urzhumova A. A. Osobennosti upotrebleniya chlenny'kh i nechlenny'kh imen s suffiksom -n v drevnerusskom yazy'ke (na materiale letopisny'kh i evangel'ski'kh tekstov) // Izvestiya vuzov. Povolzhskij region. Gumanitarny'e nauki. 2013. № 1 (25). S. 101–111.

Xaburgaev G. A. Ocherki istoricheskoy morfologii russkogo yazy'ka: imena. Moskva: Izdatel'stvo MGU, 1990. 296 s.

Shmelev A. D. Opredelennost' / neopredelennost' v nazvaniya kh licz v russkom yazy'ke: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Moskva, 1984. 19 s.

Yakubinskij L. P. Istoriya drevnerusskogo yazy'ka. Moskva: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo Ministerstva prosveshheniya RSFSR, 1953. 367 s.

Сведения об авторе: Светлана Витальевна Власова; доктор гуманитарных наук (PhD); доцент; доцент Образовательной академии Университета Vytautas Magnus (Вильнюс, Литва); ORCID 0000-0002-5460-944X; svetlana.vlasova@vdu.lt; сфера научных интересов: историческая грамматика русского языка, балто-славянские языковые связи, сопоставительная грамматика русского и литовского языков, церковнославянский язык.

The author's profile: Svetlana Vlasova; Doctor of Humanities (Philology); Associate Professor; Education Academy at the Vytautas Magnus University (Vilnius, Lithuania); ORCID 0000-0002-5460-944X; svetlana.vlasova@vdu.lt; research interests: historical grammar of Russian language, Balto-Slavic language connections, comparative grammar of the Russian and Lithuanian languages, the Church Slavonic language.

УДК 811.161.1
DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.11

**ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА,
ВОСХОДЯЩИЕ К ИНДОЕВРОПЕЙСКОМУ КОРНЮ
*MAG-, В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**THE LOAN-WORDS TRACING BACK
TO THE INDO-EUROPEAN ROOT *MAG-
IN THE RUSSIAN LANGUAGE**

Григорьев Андрей Владимирович
Московский педагогический государственный университет,
Москва, Россия

Grigorev Andrey Vladimirovich
Moscow State Pedagogical University,
Moscow, Russia

Орлова Антонина Вячеславовна
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Россия

Orlova Antonina Vyacheslavovna
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

Аннотация

В статье описываются заимствованные слова русского языка, относящиеся к этимологическому гнезду с индоевропейским корнем **mag-* «месь, сжимать, намазывать», с точки зрения их этимологии, семантики и словообразовательной структуры. Установлено время заимствования данных слов, рассмотрены особенности их семантической истории, а также указаны проблемы, возникающие при их словообразовательном анализе.

Ключевые слова: индоевропейский корень **mag-*, заимствованные слова в русском языке, семантика, диахронное словообразование.

Abstract

The article describes the loan-words tracing back to the Indo-European root **mag-* “to knead, press, spread” in the Russian language with relation to etymology, semantics and derivation. The methodological basis of the research

is the studies of Russian etymologists (O. N. Trubachev, Zh. Zh. Varbot, to name just a few) and the conception of diachronic approach to word-formation described in the works of A. M. Kamchatnov. The material for the analysis is based on the contexts of the Russian contemporary and historical dictionaries, as well as the Russian National Corpus.

The study demonstrates that the word *мазма* in the Russian language was first recorded in the Azbukovniki in the 17th century with the meaning “a plaster”. Later it became obsolete. In the second half of the 19th century it was borrowed again from European languages as a medical and chemical, and later as a geological term. In recent years this word has been used in the occasional figurative meaning “something very hot, fiery”. Another derivative — the word *масса* has also been adopted from the European languages (presumably from New High German or French). It has been recorded in all the meanings represented in the contemporary Russian language since the first third of the 18th century. At the same time, the meaning of the word *масса* in the expression *конкурсная масса* (“all available sources which must be used to pay the debts of a bankrupt”) has been lost in the literary language, remaining only in the professional jargon. One more derivative — the word *матч* — was borrowed from English in the late 19th century. It was originally used in relation to chess, and then to any sports event involving two or more participants.

The paper describes the history of the word *парикмахер*, also referring to the etymological family of words with the root **mag-*. This word in its modern form has been fixed since 1731. It is a German borrowing noun *Perückenmacher* (*Perücke* ‘wig’ + *macher* ‘a person or thing that makes or produces something’), in which the first part either changed under the influence of the word *Парик*, which came to the Russian language in the first decade of the 18th century from the Old Dutch *paruike*, or under the influence of the variant form of the German word *Perücke* — *Parucke*. At the same time in Peter the Great period in 1723 we observe an earlier version of the word *парикмахер* — *парукмакар* (*парукмакар*), apparently borrowed from the Dutch *paruikenmaker* (*paruike* ‘wig’ + *mak(er)* ‘a person or thing that makes or produces something’). The inner form of borrowing *парикмахер* — ‘the one who makes the wigs’, but by the end of the XVIII century, it is used for referring a master that combs one’s hair (not only hair of wigs) and serves as a synonym for the nouns *волосочес* and *волосочесатель* that is associated with the fading of the fashion for wigs.

Key words: Indo-European root **mag-*, the Russian loan-words, semantics, diachronic word-formation.

Введение. В последние десятилетия появляется достаточно много исследований, в которых изучается семантическая история слов, восходящих к одному древнему корню [Казак], [Романова], [Юдина]. Такого рода исследования позволяют не только установить историю развития зна-

чений отдельных лексем, но и выявить закономерности эволюции того или иного этимологического гнезда — «совокупности всех слов, происходящих от одного и того же слова (или корня), в их зависимости друг от друга и в хронологической последовательности через цепь словообразовательных отношений, из которых, однако, некоторые не осознаются говорящими вследствие фонетических изменений слов, преобразования их структур или расхождения их значений: *братъ* — *собирать* — *сбор* — *сбор* — *забор* — *беременная*» [Варбот 1968: 89].

При этом исследователь, раскрывающий историю развития смыслов внутри определенного этимологического гнезда, вынужден решать и словообразовательные проблемы, поскольку, как отмечает Ж. Ж. Варбот, «этимологическая задача является в своей основе словообразовательной, так как требует выяснения исходной словообразовательной структуры. Очевидно, что и проблема изучения последующей истории формы есть в значительной степени проблема словообразовательная, поскольку предполагает выявление структурных преобразований» [Варбот 1984: 6].

Именно поэтому ученый должен не только ответить на следующие вопросы: как образовано слово (с диахронической точки зрения) и что оно означает, но и понять, «когда и зачем появилось слово (с точки зрения историко-культурного фона), как связаны по смыслу слова одного словообразовательного гнезда, в каких актуальных отношениях они находятся (с синхронной точки зрения)» [Русский Древослов]. Решению этих вопросов посвящен научно-исследовательский проект кафедры общего языкознания МПГУ «Русский Древослов. Историко-словообразовательный словарь русского языка». В словаре подробно описывается исторический корень с точки зрения его этимологического и современного значения, даются производные с делением на морфемы, указанием производящей основы, способа словообразования, аффикса и его значения. Для каждого корня строится карта с указанием направлений словообразовательного развития слова и всех элементов системы.

Также в данном словаре представлен раздел «Инослов», который посвящен истории заимствованных слов в русском языке. Этот материал не подвергался достаточной систематизации и классификации в этимологическом и словообразовательном плане, не в достаточной мере выявлялись связи между ранними и поздними заимствованиями, с одной стороны, и заимствованиями и исконно русскими словами, восходящими к одному историческому корню на уровне индоевропейского единства, — с другой. Поэтому комплексные исследования, посвященные описанию этимологических гнезд, включающих и исконную, и иноязычную лексику, безусловно, представляются актуальными.

В данной статье описываются дериваты индоевропейского корня **mag-* «месить, сжимать, намазывать» [Pokorny: 696].

Как указывают этимологические словари, к индоевропейскому корню **mag-* восходит множество исконно русских дериватов, например, известный с XI в. (первые упоминания содержатся уже в «Остромировом Евангелии») глагол *мазать* из праслав. **mazati* [СлРЯ XI–XVII: 8]; [Трубачев 1993: 25]; [Шапошников: 489]; производные от него существительные *мазь* из праслав. **mazь* [Трубачев 1993: 34]; [Шапошников: 490] (фиксируется с XI в. [СлРЯ XI–XVII: 9]); *масло* из праслав. **maz-slo* [Трубачев 1990: 232]; [Фасмер: 578] (с XI в. [СлРЯ XI–XVII: 34]); *мазок* из праслав. **maz-ькъ* [Трубачев 1993: 33] (с XIX в. [НКРЯ]); а также отглагольное имя (неопределенного наклонения) *масть* из праслав. **maz-tь*, которое возможно рассматривать как прообраз **mazati* до его тематизации [Трубачев 1993: 30–31]; [Шапошников: 490] (фиксируется с XI в. [СлРЯ XI–XVII: 40]).

Непосредственно к слову *масть* восходит известное с XII–XIII вв. [СлРЯ XI–XVII: 40] прилагательное *маститый* из праслав. **mazt-itь(jь)* [Трубачев 1993: 33], а к существительному *масло* — прилагательное *масленный* из праслав. **masl-ьnъj* [Трубачев 1990: 226] (фиксируется с XIV в. [СлРЯ XI–XVII: 33]), от которого образовано существительное *Масленица* из праслав. **maslъn-ica* [Трубачев 1990: 224]; [Шапошников: 495], известное в русском языке с XVI в. [СлРЯ XI–XVII: 33].

Однако подробно в нашей статье будут проанализированы основные заимствованные дериваты корня **mag-*.

Целью данного исследования является комплексное описание заимствованных слов русского языка, относящихся к этимологическому гнезду с индоевропейским корнем **mag-*.

Методологической основой исследования послужили труды отечественных этимологов (О. Н. Трубачев, Ж. Ж. Варбот и др.), а также концепция диахронного подхода к словообразованию, изложенная в работах А. М. Камчатнова.

Материалом исследования являются исторические и современные словари русского языка, а также Национальный корпус русского языка (далее в статье — НКРЯ).

Основная часть.

А) Хронологически первым дериватом от индоевропейского **mag-* в русском языке является слово *магма*, которое восходит к греческому *μάγ-μα*, *ατος* «толстый мазок; пластырь» [Liddell–Scott: 1071] (суффикс *-μα* обозначает результат действия), соотносимому с глаголом *μάσσω* «месить, придавать форму» [Liddell–Scott: 1082]. В европейские языки данное слово приходит через латинское посредство (латинское *magma* «полутвердые отложения или осадок мази» [OLD: 1063]). В этом значении в английском языке оно фиксируется с середины XV в. [Klein: 923], а во французском — как термин медицины и химии — только с конца XIX в. [Littré].

В русском языке мы впервые встречаем его в XVII в. в Азбуковниках в значении «пластырь» («Магма — пластырь, еже есть на плат намазаное зелие лекарское и прилагаемое к язве. Алф. 1, 137. XVII в.» [СлРЯ XI—XVII: 7]), что говорит о непосредственном заимствовании этого слова из греческого языка.

Затем оно вышло из употребления, и во второй половине XIX в. было заимствовано еще раз, уже через посредство европейских языков. В 1881 г. мы впервые отмечаем данное слово как медицинский и химический термин «осадок, отстой»: «Если для получения миозина хорошо отмыть водой мышечную кашу и обработать ее недостаточным для насыщения количеством соляной кислоты или раствором хлористого аммония, то мышечные кусочки тотчас же набухнут, станут прозрачными, слипнутся и образуют сплошную *магму*, над которой отстаивается густая мутная жидкость» (А. Я. Данилевский «О природе анизотропных веществ поперечнополосатой мышцы и их пространственном распределении в мышечном пучке», 1881) [НКРЯ]. Современное значение «расплавленная масса в глубинах земли» у слова *магма* фиксируется с 1893 г., однако к началу XX в. оно становится единственным. Кроме того, в текстах первой половины XX в. активно встречаются и метафорические употребления: «...продукты творчества — пепел и *магма*; процессы творчества — текучая лава» (Андрей Белый «Будущее искусство (Из книги статей “Символизм”)», 1907) [НКРЯ], ср. также позднее у О. Мандельштама: «Так альпийские стихи Тютчева одухотворены историческим ощущением европейской почвы, и двойной тиарой для поэта увенчаны европейские Гималаи. В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось — вся масса литого золота исторических форм идей? — вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую *магму*, не пропала, а то, что выдает себя за величие, — подмена, бутафория, папье-маше?» (О. Э. Мандельштам «Пшеница человеческая», 1922) [НКРЯ].

В последние годы у слова *магма* мы встречаем окказиональное переносное значение: «что-то очень горячее, огненное»: «Таня удалилась на кухню. Плеснув себе полную кружку горячего кофе, она уселась за стол и пристроила телеграмму у сахарницы. Отхлебывая горькую *магму* и понемногу приходя в себя, перечитала послание» (Екатерина Романова, Николай Романов «Дамы-козыри», 2002) [НКРЯ]. Однако пока такие случаи единичны.

Б) Слово *масса* пришло в русский язык через ново-верхне-немецкое *Masse* или французское *masse* в первой трети XVIII в. [Фасмер: 578]; [Шапошников: 496] из латинского *massa* «смешанное, месиво, сгущение», «слиток; ком, глыба, масса, кусок», «первичная материя, хаос» [OLD: 1082]. В то же время исконно источником для латинского *massa* является греческое μάζα (<*μαγ-ja [Chantraine: 657]) «тесто, лепешка, ячменный хлеб,

шарик» [Liddell—Scott: 1072], родственное глаголу μάσσω «мять, месить, молоть» [Liddell—Scott: 1082], презентная основа которого образована с помощью суффикса *-j-*. При заимствовании в латинский язык греческого μάζα: ζ > ss [Walde: 47].

Уже в первой половине XVIII в. слово *масса* встречается во всех основных значениях, представленных и в современном русском языке:

1. «Вещество, материя, составляющие какой-л. предмет; предмет во всей совокупности его вещества»: «Верх гор из камней состоит, которые <...> морским волнам подобны, а однакож их положение, хотя то и не очюнь ясно видно, с прочею массою горы сходно. Прим. Вед. 1733 50» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «Мрачные стены Консьержери и величаява масса Собора, Тюльери, Лувр, — все это еще раз проходило перед моими глазами. Герцен, Письма из Франции и Италии» [МАС: 233].

2. «Количество, объем вещества, составляющего какой-л. предмет»: «Притяжение солнца <...> содержится к притяжению земли <...> так, как количество материи (Масса) солнца <...> содержится к массе земли. МНИ II 233» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «Я услышал шум, похожий на плеск водопада, масса воды которого то увеличивается, то уменьшается. Миклухо-Маклай, Путешествия» [МАС: 233].

3. «Общее количество, совокупность кого-, чего-л.», «большое количество, множество кого-, чего-л.»: «Кромѣ двух уѣздных городов, из массы исключаемых, считается 12 мѣстечек, множество сел, заведений. АВ XIII 344» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку. Чехов, Степь» [МАС: 233].

4. «Тестообразное, бесформенное вещество, густая или полужидкая смесь чего-л.»: «...з сих составов дѣлается так называемый шоколат <...> Но как сия масса составляется, о том в сих листочках пространнаго описания сообщить не возможно. Прим. Вед. 1733 6» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «Чугун стекал вниз белыми струйками по горячему коксу, собираясь там, на дне вагранок, жидкой, расплавленной массой. В. Беляев, Старая крепость» [МАС: 233].

Отметим, что некоторые значения, восходящие к французскому *masse*, могут с течением времени утрачиваться в литературном языке и использоваться только в профессиональной речи.

В. И. Даль делает следующее примечание в своем словаре: «масса — купеч. все имущество несостоятельного должника» [Даль: 309]. В данном значении слово *масса*, чаще — *конкурсная масса*, встречается в художественных текстах (Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. Е. Салтыков-Щедрин) с 60-х гг. XIX в. Как указывается в словаре Ф. Павленкова, «конкурсной массой на коммерч. языке называются все имеющиеся источники, из которых должны уплачиваться долги обанкротившаго лица» [Павленков: 337]. Сходное определение дается и в словаре М. Попова: «Конкурсная

масса — совокупность источников, из которых может быть уплачен долг лица, над делами которого учрежден конкурс (т.е. временное управление, составленное кредиторами из нескольких лиц по выбору из своей среды для уяснения истинного положения несостоятельного должника, для приведения в порядок счетов и уплаты долгов)» [Попов: 233]. При этом в современном русском литературном языке данное сочетание употребляется только в профессиональной речи: «При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно включается в конкурсную массу» («Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая», 1992) [НКРЯ].

В) В конце XIX в. в русский язык входит еще один заимствованный дериват — слово *матч*. Оно приходит из английского языка в значении «состязание, соревнование» [Шапошников: 500]. Интересно, что для английского существительного *match* «ровня, пара, супруг», соотносимого с глаголом *to match* «подбирать пару, противопоставлять, состязаться, соревноваться», значение «спортивное состязание» не является исходным. Данное слово возникает из протогерманского **ga-makon* «хорошо сочетающийся вместе с чем-либо / кем-либо», которое в староанглийском развивается в *getaca*, затем в *ge-mæcca* (<**gamac-ja* [Skeat: 358]) и после отпадения префикса *ge-* — в *mæcca* со значением «спутник, товарищ, один из пары, жена, муж, один, подходящий другому, одинаковый». При этом фонетический переход *-cca* > *-cche* > *-tch* в истории английского языка реализовывался достаточно регулярно [Skeat: 358]. В начале XIV в. у данного слова появляется сема соперничества, и оно фиксируется в значении «человек, способный соперничать с другим». И только с 1540 г. данным словом начинают обозначать спортивное состязание [Klein: 947].

Самые первые фиксации слова *матч* в русском языке относятся не в целом к спортивным состязаниям, а к игре в шахматы. Так, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (1896 г.) дается следующее определение слова *матч*: «В шахматной игре этим словом обозначается состязание между двумя игроками, обусловленное известной ставкой, количеством партий, и обыкновенно, обязательством сделать 15–20 ходов в час каждому, при игре не более одной партии в день» [Брокгауз: 815]. Именно о шахматных матчах идет речь в следующих фрагментах: «Отец Август великолепно играет в шахматы, выписывает шахматные журналы из Лондона и Берлина и в свободное время — а такого времени у него часов двенадцать в сутки — витает мыслями в мире Морфи и Андерсена... Он, разумеется, шахматный старовер... Денежные *матчи* для него — предмет презрения и издевательства...». (А. В. Амфитеатров «Жар-цвет», 1895) [НКРЯ]; «*Матч* А. Ф. Гончарова с Р. А. Фальком за первенство в Москве по предложению первого признан ничьим» (Шахматы // Новости дня, 1901) [НКРЯ].

Однако, несмотря на то, что Словарь Брокгауза и Ефрона фиксирует определенную сферу использования данного слова — шахматы, в течение десятилетия в русском языке слово *матч* начинает употребляться в отношении любого спортивного состязания:

— *матч боксеров*: «Какое необыкновенно глубокое впечатление оставляет пребывание зимой в занесенном снегом “Серебряном Бору”!.. <...> 2 ноября, как сообщают газеты, состоялся интересный *матч* между боксерами Джефрисом и Руммом в Сан-Франциско» (Спорт // Московские ведомости, 1901) [НКРЯ];

— *матч казаков на лошадях с велосипедистами*: «Спорт. 10 казаков против одного велосипедиста. На последних петербургских гонках, между прочим, состоялся *матч* десяти конных казаков с велосипедистом Эвардсом, прошедший весьма оживленно. Казаки сменяли друг друга, горячили коней, летели стремительно, а велосипедист ехал хладнокровно и все-таки был впереди: казаки много теряли на поворотах, которые довольно круты» (Спорт. 10 казаков против одного велосипедиста // Новости дня, 1901) [НКРЯ];

— *матч хоккейный*: «В Юсуповском саду играла команда этого сада с обществом “Нева” и выиграла *матч* 13 голами против одного» («Вести» // «Новое время», 1906) [НКРЯ];

— *матч футбольный*: «Действительно давно ни на одном спортивном торжестве не было такого громадного стечения публики, какое было на окончательном *матче* в футбол между командами Невского футбольного клуба и футбол-клуба “Виктория”» (Вести // Новое время, 1906) [НКРЯ].

Как следствие, в Словаре Д. Н. Ушакова, изданном в 1935–1940 гг., фиксируется уже более общее значение: «Состязание в игре. Шахматный матч. Футбольный матч» [Ушаков: 163], впрочем, как мы видим, указание на шахматы представлено в самом первом примере.

Г) В германских языках мы можем наблюдать следующую семантическую эволюцию значения индоевропейского корня **mag-*: «месить, сжимать, намазывать» > «строить» > «делать». Так, дериватом корня **mag-* является западногерманское **makon* «лепить, формировать, подходить», которое становится источником для современного англ. *make* и нем. *machen* с основным значением «делать». Это предположительно связывается с тем, что в древности германские племена строили свои дома с использованием глины [Klein: 926]; [Pokorny: 696]. Как и от глагола *to make*, так и от *machen* с помощью суффикса *-er* образуются существительные *maker* (англ.) и *macher* (нем.) «тот, кто что-либо делает». В каждом из этих языков данные слова становятся чрезвычайно распространенными, причем обычно образуя сложное слово с другим существительным, например: англ. *bookmaker* (первоначально «издатель, переплётчик книг», с 1862 г. — «профессиональный спорщик»; «лицо, принимающее денежные ставки при игре в тотал

лизатор (обычно на скачках и бегах)», нем. *Buchmacher* — калька с англ. *bookmaker* в последнем значении (со 2-й пол. XIX в.) [Das Herkunftswörterbuch], англ. *shoemaker* и нем. *Schuhmacher* «сапожник» и мн.др.

Дериватам английского *to make* посвящена наша отдельная статья¹, здесь мы рассмотрим заимствованное производное от немецкого *machen* — слово *парикмахер*. Впервые данное слово в форме *парукмакар* (*парук-макар*) фиксируется еще в Петровское время, в 1723 г. По всей вероятности, оно было заимствовано из голландского *paruikenmaker*, представляющего собой сложное слово: первый корень — *paruike* «парик», второй — *mak(er)* от *maken* «делать»: «Дано парук-макару Свеицъриз 20 червонных, который завивал ея величеству государынѣ императрицѣ локоны и прочие волосовые уборы для коронации. Кн. прих.-расх. Ек. I, 536» [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]. С 1731 г. фиксируется форма исследуемого слова, закрепившаяся в современном русском языке: *парикмахер*, которая является заимствованием из немецкого языка: *Perückenmacher* (*Perücke* «парик» + *macher* «тот, кто делает»). Как указывает А. К. Шапошников, первая часть слова преобразовалась под влиянием слова *парикъ*, пришедшего в русский язык в первое десятилетие XVIII в. из старо-голландского *paruike* [Шапошников: II, 110]. Однако П. Я. Черных отмечает, что источником могла послужить «старинная немецкая» форма *Paruckenmacher* [Черных: II, 6]. Действительно, Исторический толковый словарь немецкого языка (Das historische Bedeutungswörterbuch der deutschen Sprache) указывает для слова *Perücke* «парик» варианты формы: *Parucke*, *Barucke*, *Parocke*, *Parücke*, а для слова *Perückenmacher* — *Paruckenmacher*, *Peruckenmacher* [DWB: XIII, 1569]. Наряду с этим в XVIII в. в русском языке встречались варианты *перукмахер*, близкий к артикуляции немецкого слова, и *прихмахтер*, отражающий на письме особенность произношения, которую и сейчас мы находим в разговорной речи ([км] > [хм]): возможно, происходит диссимилиация двух смычных по способу образования (ср.: *легче*, *ногти*) или же просто устраняется сочетание [км], которое не встречается в исконно русских словах.

Как известно, парики начинают активно распространяться в Европе с XVI в. С этого периода французское *perruque* и английское *peruke*, заимствованное из французского, первоначально означавшие «натуральные волосы, шевелюра» (ср. латинское *coma*, а также лат. *pilus* «волос», к которому этимологи и возводят фр. *perruque* и англ. *peruke* [Шапошников: II, 110]), получают второе значение — «искусственные волосы, парик» (ср. латинское *galerus*) [Littré]. В XVII в. в немецкий язык из французского входит слово *Perücke*, которое уже имеет отношение только к па-

¹ Григорьев А. В. История слов с формантом *-мейкер-* в русском языке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Русская филология». 2018. № 5. С. 22–30.

рикам, искусственным волосам, а затем и *Perückenmacher*, буквально означающее «изготовитель париков», — данное значение слово сохранило и в настоящее время.

После Великой французской революции, а окончательно в начале XIX в. ношение париков прекращается. Поэтому к концу XVIII в. слово *парикмахер*, возможно, под влиянием французского *perruquier* [Litttré], начинает обозначать не только того, кто делает и завивает парики, но и мастера, который причесывает и приводит в порядок волосы: «Прелестная ево волосы имѣет щастие чесать новомодной Французской парикмахер» Трут. 1769, 257 [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]. Обратим внимание, что слово *парикмахер* с конца XVIII в. выступает как синоним таких сложных существительных со значением лица, как *волосочес* и *волосочесатель*: «Волосочес — ремесленник, упражняющийся в чесании, в убиении волосов: иначе называется Нѣмецким словом Перукмахер». [САР: VI, 747], «Ремесленник, упражняющийся в убиении волос, парикмахер» [Словарь 1847 г.: I, 155].

Впрочем, вероятнее всего, слова *волосочес* и *волосочесатель* сами были кальками по типу немецкого *Haarpflegler* или английского *hairdresser*: например, в XVIII в., по данным Национального корпуса русского языка, слово *волосочес* встречается только в сочинениях И. А. Крылова: «Нередко волосочёсы, нажившись от гребенки, от волокит и от мотов, становятся богатыми купцами, потом вступают в гражданские звания и достают себе чины, и тот, кто у нас был в опасности умножить галерную беседу и повелевать одним деревянным веслом, управляет здесь несколькими числом людей, которых одна только бедность удерживает в уничижительном состоянии» (И. А. Крылов. Почта Духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, 1789) [НКРЯ]. Затем данное слово фиксируется только в конце XIX в. как средство исторической стилизации: «Анна села на табурет, одна из камеристок накинула на нее пудрмантель, а ловкий волосочес принялся за свое дело» (Е. П. Карнович. Любовь и корона, 1879) [НКРЯ]. Последнее указание на устаревшее значение слова мы встретим в «Словаре иностранных слов» Чудинова (1894): «изготавлиющий парики, или занимающийся стрижкой волос и бороды, а также прическою и уборкой головы» [Чудинов: 634].

Для указания на того, кто непосредственно изготавливал парики, в XVIII в. использовалось слово — полукалька с немецкого *Perückenmacher* — *парикодделатель*: «Сюда также относятся наборщики в Типографии, золотильщики книг и на кожѣ, сапожники, парикодѣлатели ... большую часть их работ могут отправлять женщины. Дом. леч. I 278» [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]. Сейчас в русском языке для обозначения такого мастера используется слово *постижёр* (от франц. *posticheur* < *postiche* «искусственный, фальшивый»): «Всей суммы на покупку у нее не было, и потому в тот же день она пе-

редала переливающийся ком собственных кудрей постижеру, накинула кое-что из кошелька и получила взамен роскошный, из натуральных волос ее цвета парик, который и понесла умирающей» (Александр Снегирев. Вера, 2015) [НКРЯ].

В современном употреблении слово *парикмахер* указывает только на специалиста по прическам, завивке, стрижке, бритью. Активно встречаются дериваты: *парикмахерский* (с XVIII в.: «В контору Санктпетербургскаго Нѣмецкаго парикмахернаго цеха мастер Иван Шустер подал протест на данный ему ... вексель. ПСЗ XV 378» [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]), субстантив *парикмахерская* (фиксируется в словарях с 30-х гг. XX в., однако в текстах, согласно НКРЯ, используется с середины XIX в.: «Пепиньерская обращается в парикмахерскую» (И. А. Гончаров. Пепиньерка, 1842) [НКРЯ]). Дериват *парикмахерство* «парикмахерское дело, ремесло» утратился уже в XVIII в.

В современном литературном языке, за исключением слова *парикмахер* и его производных уже на русской почве, с компонентом *-махер* мы можем найти только слова *шахер-махер* «недобросовестная, ловкая сделка или торговля»; «мелкий плутоватый делец, изворотливый ловкач, умеющий выгодно обдeldывать разные дела» и производное от него *шахермахерство* «своекорыстные уловки, изворотливо-плутовская деятельность, плутни», которые подробно описаны В. В. Виноградовым [Виноградов: 820–821]. Как указывает исследователь, слово *шахер-махер* соотносится с немецкими *Macher* «делец» и *schachern* «торговать, менять, барышничать, цыганить», ср.: *schacher* «плутовство», при этом пришло в русский язык из идиша.

В отличие от слов с элементом *-махен*, слова с компонентом *-мейкер* достаточно многочисленны в русском языке, их мы можем разделить на две группы: 1) слова, имеющие соответствия в английском языке (*маркетмейкер* (*market-maker*), *нюсмейкер* (*newsmaker*), *имиджмейкер* (*image-maker*)); 2) слова, которых, по данным словарей, а также Британского и Американского корпусов, в предполагаемом языке-источнике нет, но при этом каждая из частей сложных слов представлена по отдельности (*клипмейкер*, *брендмейкер*, *шоумейкер*). Сначала слова *clip*, *brand*, *show* заимствуются в русский язык, а затем с их помощью на русской почве образуются сложные слова с компонентом *-мейкер*.

Слово *парикмахер* в современном русском языке является членимым (так как в русском языке существует слово *парик*), но не производным, поскольку слово в готовом виде заимствовано из немецкого языка. Это описание характерно и для тех слов с компонентом *-мейкер*, которые уже существовали в английском языке (*имиджмейкер* и др.). Однако в словах типа *слухмейкер*, *клипмейкер* элемент *-мейкер* должен признаваться цельным, неделимым аффиксоидом со значением лица, с помощью которого

данные слова непосредственно возникли в русском языке, таким образом, они и членимые, и производные.

Выводы. Мы описали основные заимствованные дериваты индоевропейского корня **tag-*. Выявлено, что слово *магма* в русский язык было заимствовано дважды: в XVII в. непосредственно из греческого и в XIX в. как медицинский и химический, а затем и как современный геологический термин. В последние годы у слова *магма* в отдельных контекстах встречается окказиональное переносное значение: «что-то очень горячее, огненное». Другой заимствованный дериват — слово *масса* — приходит в русский язык через ново-верхне-немецкое *Masse* или французское *masse*. Уже в первой трети XVIII в. оно употребляется во всех основных значениях, представленных и в современном русском языке. При этом значение слова *масса* в составе выражения *конкурсная масса* («все имеющиеся источники, из которых должны уплачиваться долги обанкротившегося лица»), восходящее к французскому *masse*, — со временем практически утрачивается в литературном языке, оставшись только в профессиональной речи.

В конце XIX в. в русский язык входит еще один заимствованный дериват — слово *матч*. Источником заимствования является английское слово *match* в значении «состязание, соревнование», восходящее к протогерманскому **gamakon* «хорошо сочетающийся вместе с чем-либо / кем-либо». Самые первые фиксации слова *матч* в русском языке относятся к игре в шахматы, однако в течение следующего десятилетия оно начинает употребляться в отношении любого спортивного состязания, предполагающего двух или более участников.

В статье показано, что в германских языках можно видеть семантическую эволюцию значения корня **tag-*: «месить, сжимать, намазывать» > «строить» > «делать», которую демонстрируют современные англ. *make* и нем. *machen* с основным значением «делать» и их производные. Одним из таких производных является нем. *Perückenmacher* (*Perücke* «парик» < фр. *perruque* + *macher* «тот, кто делает»), появление которого связано с активным распространением моды на парики в XVI–XVII вв. В русском языке с 1731 г. встречаем слово *парикмахер*, являющееся заимствованием немецкого существительного *Perückenmacher*, первая часть которого либо видоизменилась под влиянием слова *парикъ*, пришедшего в русский язык в первое десятилетие XVIII в. из старо-голландского *paruike*, либо под влиянием вариантной формы немецкого слова *Perücke* — *Parucke*. При этом также встречаем различные варианты слова *парикмахер*: более ранний вариант *парукмакар* / *парук-макар* (с 1723 г., предположительно из голландского *paruikenmaker* < первый корень — *paruike* «парик», второй — *mak(er)* от *taken* «делать»), *перукмахер* и *прихмахтер*.

Заимствование *парикмахер*, действительно, называло человека, который делает парики, наряду с калькой *парикодельатель*, однако уже к концу

XVIII века оно используется и при обозначении мастера, который причёсывает и приводит в порядок волосы как искусственные, так и настоящие и выступает синонимом существительных *волосочес* и *волосочесатель*, что связано с угасанием моды на парики в конце XVIII—XIX вв.

Проделанный нами анализ позволил описать фрагмент этимологического гнезда индоевропейского корня **tag-* и ответить на следующие важные вопросы: когда возникли слова, входящие в данное гнездо, в каком веке и в каком значении они были заимствованы в русский язык, а также как они образованы с точки зрения диахронии.

Литература

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 18. Санкт-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1896. 958 с.

Варбот Ж. Ж. Этимология // Русская речь. 1968. № 4. С. 86–96.

Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. Москва: Наука, 1984. 256 с.

Виноградов В. В. История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет «Русский язык». Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН / Отв. ред. академик РАН Н. Ю. Шведова. Москва: Толк, 1999. 1138 с.

Григорьев А. В. История слов с формантом *-мейкер-* в русском языке // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Русская филология. 2018. № 5. С. 22–30.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. Санкт-Петербург — Москва: Тип. М. О. Вольфа, 1881. 1017 с.

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Русский язык, 1976. 1096 с.

Казак М. Ю. Глагольное словообразовательное гнездо в современном русском языке. Белгород: Белгородский государственный университет, 2004. 124 с.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К—О. 736 с.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка URL: <http://www.ruscorpora.ru/>.

Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 2-е изд. Санкт-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1907. 714 с.

Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Москва: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1911. 466 с.

Романова О. М. История лексических гнезд с общеславянскими корнями *gld-, *mot-, *vid-, *zsr- (на материале русского языка): Автореф. дис. ... канд. фил. наук. Уфа: Башкирск. гос. ун-т, 2005. 22 с.

Русский Древослов. Историко-словообразовательный словарь русского языка / Под ред. А. М. Камчатнова URL: <http://www.drevoslov.ru/>.

САР — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. В Санкт-Петербурге: при Императорской Академии наук, 1806—1822. 6 т.

Словарь 1847 — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. Санкт-Петербург: Тип. Императ. Акад. Наук, 1847. 4 т.

СлРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII. Вып. 9 / Под ред. Ф. П. Филина. Москва: Наука, 1982. 360 с.

СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.: Ю. С. Сорокин. Ленинград: Наука, 1984—1991. Вып. 1—6; Санкт-Петербург: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1992—... Вып. 7—...

Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 17. Москва: Наука, 1990. 255 с.

Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 18. Москва: Наука, 1993. 255 с.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 2: Л — Ояловеть / Под ред. Д. Н. Ушакова. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1938. 1040 стб.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 2 / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд. Москва: Прогресс, 1986. 672 с.

Черных П. Я. Этимологический словарь русского языка: В 2 т. 3-е изд., стереотип. Москва: Рус. яз., 1999.

Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Санкт-Петербург: Издание книгопродавца В. И. Губинского, Типография С. Н. Худекова, 1894. 1004 с.

Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. Т. 2. Москва: Флинта: Наука, 2010. 576 с.

Юдина О. В. Семантическая эволюция слов с праславянским корнем *RUD в русском языке: Дис. ... канд. фил. наук: 10.02.01. Калининград, 2000. 218 с.

Chantraine P. Dictionnaire étymologique grec. Histoire des mots. Paris: Editions Klincksieck, 1968—1980. 1368 p.

Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, 5., neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von der Dudenredaktion. Berlin, Mannheim, Zürich, Dudenverlag, 2014. 954 p.

DWB — Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. URL: http://origin_de.deacademic.com/2626/Buchmacher.

Klein Dr. E. A. Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Co., 1969. 1776 p.

Liddell G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1940.

Littre E. Dictionnaire de la langue française (1872–1877) URL: <https://dvlf.uchicago.edu/>.

OLD — Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press, 1968. 2126 p.

Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Francke Verlag Bern, 1959. 1183 p.

Skeat W. An etymological dictionary of the English language. Oxford Clarendon Press, 1888. 890 p.

Walde A. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954. 851 p.

References

Brokgauz F. A. E'nciklopedicheskij slovar' [Tekst] / Pod red. prof. I. E. Andreevskogo. T. 18. Sankt-Peterburg: Tipo-Litografiya I. A. Efrona, 1896. 958 s.

Varbot Zh. Zh. E'timologiya // Russkaya rech'. 1968. № 4. S. 86–96.

Varbot Zh. Zh. Praslavjanskaya morfonologiya, slovoobrazovanie i e'timologiya. Moskva: Nauka, 1984. 256 s.

Vinogradov V. V. Istoriya slov / Rossijskaya akademiya nauk. Otdelenie literatury' i yazy'ka: Nauchny'j sovet "Russkij yazy'k". Institut russkogo yazy'ka im. V. V. Vinogradova RAN / Otv. red. akademik RAN N. Yu. Shvedova. Moskva: Tol'k, 1999. 1138 s.

Grigor'ev A. V. Istoriya slov s formantom *-mejker-* v russkom yazy'ke // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. Russkaya filologiya. 2018. № 5. S. 22–30.

Dal' V. I. Tolkovy'j slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka: V 4 t. T. 2. Sankt-Peterburg — Moskva: Tip. M. O. Vol'fa, 1881. 1017 s.

Dvoreczkij I. Kh. Latinsko-russkij slovar'. Okolo 50 000 slov. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Russkij yazy'k, 1976. 1096 s.

Kazak M. Yu. Glagol'noe slovoobrazovatel'noe gnezdo v sovremennom russkom yazy'ke. Belgorod: Belgorodskij gosudarstvenny'j universitet, 2004. 124 s.

MAS — Slovar' russkogo yazy'ka: V 4 t. / RAN, In-t lingvistich. issledovanij; Pod red. A. P. Evgen'evoj. 4-e izd., ster. Moskva: Russkij yazy'k; Poligrafresursy', 1999. T. 2. K—O. 736 s.

NKRYa — Nacional'ny'j korpus russkogo yazy'ka URL: <http://www.ruscorpora.ru/>

Pavlenkov F. Slovar' inostranny'kh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazy'ka. 2-e izd. Sankt-Peterburg: Tipografiya Yu.N. E'rlix, 1907. 714 s.

Popov M. Polny'j slovar' inostranny'kh slov, voshedshikh v upotreblenie v russkom yazy'ke. Moskva: Tipografiya Tovarishhestva I. D. Sy'tina, 1911. 466 s.

Romanova O. M. Istoriya leksicheskix gnezd s obshheslavyanskimi kornymi *gld-, *mot-, *vid-, *zsr- (na materiale russkogo yazy'ka): Avtoref. dis. ... kand. fil. nauk. Ufa: Bashkirsk. gos. un-t, 2005. 22 s.

Russkij Drevoslov. Istoriko-slovoobrazovatel'ny'j slovar' russkogo yazy'ka / Pod red. A. M. Kamchatnova URL: <http://www.drevoslov.ru/>.

SAR — Slovar' Akademii Rossijskoj, po azbuchnomu poryadku raspolozhenny'j. V Sankt-Peterburge: pri Imperatorskoj Akademii nauk, 1806—1822. 6 t.

Slovar' 1847 — Slovar' cerkovno-slavyanskogo i russkogo yazy'ka, sostavlennyy' Vtory'm Otdeleniem Imperatorskoj Akademii nauk. Sankt-Peterburg: Tip. Imperat. Akad. Nauk, 1847. 4 t.

SIRYa XI—XVII — Slovar' russkogo yazy'ka XI—XVII. Vy'p. 9 / Pod red. F. P. Filina. Moskva: Nauka, 1982. 360 c.

SIRYa XVIII — Slovar' russkogo yazy'ka XVIII veka / AN SSSR. In-t rus. yaz.; Gl. red.: Yu. S. Sorokin. Leningrad: Nauka, 1984—1991. Vy'p. 1—6; Sankt-Peterburg: Nauka. S.-Peterb. otd-nie, 1992—... Vy'p. 7—...

Trubachev O. N. E'timologicheskij slovar' slavyanskikh yazy'kov. Vy'p. 17. Moskva: Nauka, 1990. 255 c.

Trubachev O. N. E'timologicheskij slovar' slavyanskikh yazy'kov. Vy'p. 18. Moskva: Nauka, 1993. 255 c.

Ushakov D. N. Tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka: V 4 t. T. 2: L — Oyalovet' / Pod red. D. N. Ushakova. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostranny'kh i nacional'ny'kh slovarej, 1938. 1040 stb.

Fasmer M. E'timologicheskij slovar' russkogo yazy'ka. V 4 t. T. 2 / Per. s nem. i dop. O. N. Trubacheva. 2-e izd. Moskva: Progress, 1986. 672 s.

Cherny'kh P. Ya. E'timologicheskij slovar' russkogo yazy'ka: V 2 t. 3-e izd., stereotip. Moskva: Rus. yaz., 1999.

Chudinov A. N. Slovar' inostranny'kh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazy'ka. Sankt-Peterburg: Izdanie knigoprodavca V. I. Gubinskogo, Tipografiya S. N. Khudekova, 1894. 1004 s.

Shaposhnikov A. K. E'timologicheskij slovar' sovremennogo russkogo yazy'ka: V 2 t. T. 2. Moskva: Flinta: Nauka, 2010. 576 s.

Yudina O. V. Semanticheskaya e'voljuciya slov s praslavyanskim kornem *RUD v russkom yazy'ke: Dis. ... kand. fil. nauk: 10.02.01. Kaliningrad, 2000. 218 s.

Chantraine P. Dictionnaire étymologique grec. Histoire des mots. Paris: Editions Klincksieck, 1968—1980. 1368 p.

Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, 5, neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von der Dudenredaktion. Berlin, Mannheim, Zürich, Dudenverlag, 2014. 954 p.

DWB — Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. URL: http://origin_de.deacademic.com/2626/Buchmacher.

Klein Dr. E. A. Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Co., 1969. 1776 p.

Liddell G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1940.

Littre E. Dictionnaire de la langue française (1872–1877) URL: <https://dvlf.uchicago.edu/>.

OLD — Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press, 1968. 2126 p.

Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Francke Verlag Bern, 1959. 1183 p.

Skeat W. An etymological dictionary of the English language. Oxford Clarendon Press, 1888. 890 p.

Walde A. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954. 851 p.

Сведения об авторах:

Андрей Владимирович Григорьев; доктор филологических наук; доцент; профессор кафедры общего языкознания; Московский педагогический государственный университет; ORCID 0000-0001-7697-7924; greg988@yandex.ru; сфера научных интересов: семантика, этимология, древние языки, словообразование.

Антонина Вячеславовна Орлова; аспирант филологического факультета; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; ORCID 0000-0002-4040-0741; antonina-orlova2607@yandex.ru; сфера научных интересов: семантика, этимология, древние языки, словообразование.

The author's profiles:

Andrey Vladimirovich Grigorev; Doctor of Philology; Associate Professor; Professor at the Department of General Linguistics; Moscow State Pedagogical University; ORCID 0000-0001-7697-7924; greg988@yandex.ru; research interests: semantics, etymology, classical languages, word-formation.

Antonina Vyacheslavovna Orlova; postgraduate student at the Department of Literature and Linguistics; Lomonosov Moscow State University; ORCID 0000-0002-4040-0741; antonina-orlova2607@yandex.ru; research interests: semantics, etymology, classical languages, word-formation.

НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

УДК 81'1

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.12

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ЖЕЛАНИЯ В ЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

CONCEPTUAL SITUATION OF DESIRE IN LOGICAL ASPECT

Елена Владимировна Алтабаева
Российский государственный аграрный университет —
МСХА им. К. А. Тимирязева,
Москва, Россия

Elena Vladimirovna Altabaeva
Russian Timiryazev State Agrarian University,
Moscow, Russia

Аннотация

В работе представлен анализ логической природы ситуации желания для выявления форм мысли, соотносимых с этой ситуацией, и ее концептуальной специфики. Соответствующий концепт с позиций логики рассматривается как концептуально-логическая основа категории оптативности. Выявлена специфика мира желаний как одного из «иных» миров, в основе которого лежит виртуальный нерасчлененный концепт, не имеющий реального референта во внешнем мире, но обладающий двойной обращенностью. Установлено, что оценочный компонент входит в структуру оптативной ситуации, ирреальной по своей природе.

Ключевые слова: языковая личность, логика, ситуация желания, концепт, категория, оценка.

Abstract

The main objective of this paper is to analyze logical nature of desire situation to reveal the forms of thought, related to this situation, and its conceptual specific character. The appropriate concept from a logical standpoint is considered as conceptual and logical base of the category of optation.

In the course of the research, we discovered that sentences with semantics of desire cannot be solely qualified by modal logic according to the type of assessment due to the originality of the concept, which we are researching, and the modal semantics of the same name. Epistemic modality is most close to optation when determined by the following factors of non-logical order, which are not always acknowledged or controlled by the subject: habits, inclinations, and preferences. We cannot deny a certain connection between desire and ability, necessity and, especially, incentive. The commonality of logical (notional) part of the appropriate concept and content of assessments, different in ontological sense, may be explained from positions of semantics of the “possible worlds” and can be determined by the relationships between the sphere of the speaker’s desire and objective reality, between the “Me — world” and the “non — Me world” (we imply the individual’s reaction to different things, phenomena or events (both real and virtual) in the form of their comparison, their positive evaluation and applying them to ourselves).

We revealed the specifics of the world of desires as one of the “other” worlds, which is based on the virtual indiscrete concept, which has no real reference in the outside world, but has two addressees: the outside world, on the one hand, and some possible world, on the other hand. Moreover, desires are one of the types of assessments and this way they are found outside of category of truth, but correlate with value assessments as special assessments about fragments of a possible, another world, positively valued and desired by the subject. The evaluation component is part of the structure of optative situation. We conclude that the object of desire can be only an unreal situation: the desire of the subject for something that he doesn’t have at the present moment, even if this is about preserving and maintaining the desired situation in the future. The question of the degree of controllability/uncontrollability of desire should not be considered resolved.

Key words: language person, logic, situation of desire, concept, category, value.

Вводные замечания (цель, материал исследования). Современную науку отличает понимание значимости «человеческого фактора» в изучении языка и признание его важнейшим условием объективного и всестороннего языкового анализа [Караулов 1987: 2010]. Антропоцентричность языка и приоритет языковой личности выступают определяющим началом при исследовании различных знаний и представлений говорящего об окружающей действительности и его проявлений в речевой коммуникации. Наряду с этим следует учитывать, что «представления говорящего о “картине мира”, необходимые для речи и реализующиеся в ней, <...> нередко существенно отличаются от объективных свойств предметов, явлений и отношений внешнего мира и от научных представлений о них

<...> Во всех случаях имеются в виду не индивидуальные представления говорящего, а “типизированные представления”, заключенные в значениях языковых единиц и их сочетаний» [Бондарко 1996: 13–14].

Для целостного, системного осмысления категорий естественного языка важен как когнитивный подход к ним, раскрывающий механизмы их формирования и функционирования, так и анализ логической интерпретации данных категорий и лежащих в их основе концептов в мыслительной деятельности говорящего. Степень важности такого анализа определяется необходимостью возможно более широкого описания соответствующего фрагмента картины мира и его отражения в языке в результате мыслительной деятельности. Насколько привлечение информации из различных смежных областей знания позволяет снабдить то или иное описание необходимой объяснительной силой, настолько обращение к логическому аспекту исследуемого явления дает возможность сформулировать и обосновать ряд постулатов относительно категориального устройства языка и концептуальной природы языковых категорий на конкретном материале. В настоящее время уже не вызывает сомнения утверждение о том, что в основе формирования языковых категорий как особого формата знания о мире находятся те или иные концепты [Болдырев 2006: 5], а «онтология мира отражена в нашем сознании в виде определенной организации как системы категорий», выступающих ведущим способом познания мира [Болдырев 2014: 125].

Методология исследования. Мышление, играя в процессе познания ведущую роль, как известно, выступает связующим, объединяющим звеном между внеязыковой действительностью — объектом познания, языковой личностью — субъектом познания и языком — орудием познания. Показать отображение в языке того или иного объекта возможно только через познание закономерностей и форм отображения его в человеческом сознании. Концептуальный анализ логической природы ситуации желания с целью выявления форм мысли, соотносимых с этой ситуацией, и когнитивной специфики последней составляет основную задачу данной работы. Рассмотреть концепт *желание* с позиций логики как науки «об общезначимых формах и средствах мысли, необходимых для рационального познания в любой области знания» [ФЭС: 315] означает осмыслить его сущность как концептуально-логическую основу категории оптативности. Заметим, что об оптативности как о самостоятельной категории стало возможным говорить, начиная с периода обращения к функционально-синтаксической стороне этого явления в связи с развитием учения о модальности предложения [см. подробнее Алтабаева 2017: 10–32].

Характерное для классической формальной логики наличие целого ряда направлений и теорий, с разных позиций изучающих способы рассуждений, является, по сути, логической реализацией методологических

подходов к познанию в науке — от аристотелевской силлогистики, ядра традиционной логики, до современных теорий алгоритмов [ФЭС: 315]. Именно поэтому рассмотрение логической природы желания целесообразно связать с определением места одноименных суждений в системе одного из направлений — модальной логики, во-первых, и с преподнесением интересующего нас объекта в русле логического анализа языка (см. исследования проблемной группы «Логический анализ естественного языка» под руководством Н. Д. Арутюновой), во-вторых. Иными словами, для решения нашей задачи следует поставить вопрос о месте, которое занимают суждения и/или предикаты желания в сфере логической модальности.

Основные результаты исследования. Суждение как форма мышления содержит как основную информацию (о предметах, их признаках, наличии / отсутствии связи между ними и т.п.), так и дополнительную (об особенностях связи между предметами и признаками, степени обоснованности суждения, о его регулятивной, оценочной, временной и других характеристиках). Эта дополнительная информация и представляет собой модальность суждения. Различающиеся по типам информации модальности изучаются такими разделами логики, как «логика норм», «логика оценок», «логика времени». В зависимости от характера информации и типового содержания суждений традиционно различаются алетическая, эпистемическая и деонтическая модальности.

Специфика семантики оптативности порождает, как показывают наблюдения, неоднозначность квалификации ее по типу суждения в модальной логике. Так, формируемую концептом *желание* информацию нельзя с достаточным основанием отнести к какому-либо из трех типов логической модальности, поскольку ее содержание не вписывается ни в одно из толкований этих типов, что еще раз свидетельствует о принципиальном своеобразии данного концепта и одноименной модальной семантики.

Как справедливо отмечают ученые, языковую модальность «нельзя классифицировать с позиций логической модальности, но неправомерно и отрывать ее от модальной логики» [Немец 1991: 21]. Так, категориальная семантика оптативности вряд ли полностью соответствует содержанию понятий необходимости и возможности (алетическая модальность), степени достоверности (эпистемическая модальность) и побуждения (деонтическая модальность). Но в то же время нельзя отрицать определенной взаимосвязи желания с возможностью, необходимостью и особенно побуждением. Наиболее близка к желательности эпистемическая модальность в той своей части, которая обусловлена факторами внелогического порядка, не всегда осознаваемыми и контролируемыми субъектом — привычками, склонностями, предпочтениями. Соответственно, те эпистемические предикаты, которые служат для описания суждений о будущем

(предполагаемом, возможном и т.д.), являются переходным типом от эпистемических предикатов к волитивным (см.: [Шатуновский 1989: 156]).

В данном случае появляются основания говорить об общности логической (понятийной) части соответствующего концепта, памятуя о том, что выделяют также и образную, и символическую его составляющие [Колесов 2004: 68–70] с содержанием основных типов логической модальности. Эта общность разных в онтологическом смысле суждений может быть объяснена с позиций семантики «возможных миров». Логические возможности как альтернативы действительному миру в равной степени релевантны для суждений всех типов. В то же время она может определяться особенностями взаимоотношений между областью желаний говорящего и объективной действительностью, между миром «Я» и миром «не-Я». В основе мира желаний как одного из возможных «иных» миров лежит, можно сказать, виртуальный нерасчлененный концепт, не имеющий реального референта во внешнем мире. Идея иных миров, витавшая еще у Д. Скотта и Г. В. Лейбница в виде вариантов беспредельного набора миров, сотворенного Божественным разумом, получила свое осмысление и развитие в работах, С. Крипке, С. Кангера, П. Сталла, Я. Хинтики, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, Р. Монтегю, Дж. Рассела, Вяч. Вс. Иванова, А. Прайора, С. А. Мередита, И. Томаса и других современных философов. Современная наука под «иными мирами» понимает «ментальные пространства языка, в сфере которых в разной степени реализуется возможность бытования или совершения тех или иных действий» [Бабушкин 2001: 18]. В мире желаний такая возможность реализуется в плане выделения субъектом некоей потенциальной ситуации как желаемой и предпочтения ее прочим.

Идея возможных миров оказывается весьма важной для осмысления концептуальной сущности желания. Понимая возможные миры как мыслимые альтернативные состояния, Лейбниц разграничивал необходимо истинное как имеющее место во всех возможных мирах и случайно истинное как имеющее место только в некоторых из них. С опорой на учение Лейбница Р. Карнапом было уточнено представление о сущности категории модальности и о возможных мирах через понятие «описание состояния». С. А. Крипке рассматривал «возможные миры» как абстракции возможных состояний реального мира [Крипке 1986: 241]. Очевидно, что бытие желаний личности самым непосредственным образом связано с возможными мирами как некими положениями дел, ситуациями ценностного предпочтения, ориентированными на субъекта, его состояния, представления, восприятия.

Мыслимая ситуация, интерпретируемая в индивидуальном сознании как желательная для субъекта, благодаря его когнитивной деятельности и особенностям языкового воплощения, предстает в виде некоего поло-

жения дел, создающего пропозициональное содержание высказывания. Необходимыми параметрами для описания всякого положения дел служат бытийность, соотношенность с действительностью, экзистенциальная и модальная оценки. При описании желаемого положения дел все названные параметры получают маркировку потенциальности и позитивной оценочности: *Выглянуло солнце — Вот бы выглянуло солнце (хочу, чтобы выглянуло солнце) — или: Солнце — Солнца бы.*

Специфика отображения желаемого определяется многоплановым взаимодействием сознания индивидуума с внешним миром, и это взаимодействие, по нашему мнению, выступает в качестве основы и первопричины возникновения всех без исключения желаний и желаемых ситуаций. Под взаимодействием нами подразумевается реакция индивидуума на те или иные предметы, явления или события в виде их сравнения, оценки и «приложения, примеривания» к себе. Причем помимо реальных предметов, явлений и событий объективной действительности в этом процессе могут участвовать и виртуальные предметы, явления, события, наполняющие мир желаний языковой личности.

Следует подчеркнуть особую сложность логической интерпретации концепта *желание*, состоящую, по нашему мнению, в том, что желания связаны с внешним миром и его проявлениями, с одной стороны, и в то же время существуют как альтернатива ему, пребывая, по существу, в пределах какого-либо из возможных миров. Исполнить желаемое — значит отождествить идеальное бытие, мыслимую ситуацию с реальным бытием, конкретным событием. Причины такой «двойной обращенности» концепта следует искать, как нам представляется, в оценочной природе логики желаний, во-первых, и в многоплановости понятия самой модальности. В зоне модальности можно выделить, по меньшей мере, два основных понятийных плана — это оценочность и ирреальность.

Значения ирреальной модальности предназначены для описания ситуаций из возможных, альтернативных миров. В число этих значений классической логикой включаются значения необходимости и возможности. Если считать значение желания ирреальным (хотя оно и занимает особое положение) и независимым от других значений, то «более предпочтительной является такая классификация, при которой сфера ирреальной модальности делится на сферу возможности / необходимости и сферу желания, обладающие значительной семантической самостоятельностью и не сводимые друг к другу» [Плунгян 2000: 309]. Отличие желания от возможности / необходимости, являющихся также принадлежностью ирреальной модальности, в том, что оно объединяет в себе значения ирреальности и оценки.

Не случайно логическая основа желаний с позиций модальной логики заключается в том, что они являются одним из видов оценок и тем самым

находятся вне категории истины, так как «те оценки, которые ничего не утверждают и служат простыми словесными выражениями чувств, являются субъективными и лишены истинностного значения» [Ивин 1970: 46].

В связи с вышеизложенным следует обратиться к рассмотрению структуры оценки. Традиционно в структуре оценки выделяются следующие компоненты: субъект оценки, предмет оценки, характер оценки, основание оценки [Ивин 1970: 123]. Для желаний релевантными являются первые два компонента — субъект и предмет оценки.

Действительно, оценка изначально персонифицирована: она принадлежит определенному субъекту, который является автором оценки, а в нашем случае — носителем и выразителем желания как результата оценивания.

Предметом оценки, по мнению А. А. Ивина, является какое-либо состояние — сущность статическая. Полагаем, что едва ли целесообразно настолько сужать границы предмета (объекта) оценки, ведь под этим элементом оценочной структуры может подразумеваться не только состояние, но и «лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым относится оценка» [Вольф 2002: 12].

По характеру оценки подразделяются на абсолютные и относительные. Очевидно, что оценочный компонент концепта *желание* должен иметь относительный характер уже в силу индивидуализированности желаний, во-первых, и по причине отсутствия у них истинностных значений, во-вторых.

По мнению Н. Д. Арутюновой, основаниями (мотивами) для оценки выступают критерии конкретного употребления оценочных предикатов, являющиеся достаточно нечеткими. «Между тем сами принципы выбора критериев могут быть установлены с достаточной степенью определенности. Они в большей мере зависят от принципов выделения классов объектов. Определяя критерии (основания, мотивы) применения оценок к тем или другим классам объектов, исследователь осуществляет концептуальный анализ. Последний неотделим от таксономии оценок» [Арутюнова 1999: 184]. Е. М. Вольф обращает внимание на то, что оценка основывается на тех стереотипах, с которыми она связана в социальных представлениях говорящих [Вольф 2002: 12].

Для желаний, не обладающих истинностными значениями, каких-либо общих и четких оснований существовать не может, поскольку желание принадлежит субъекту, точка зрения которого не предсказуема заранее (релятивизация оценки — желания). Видимо, основания желаний будут различаться в зависимости от категорий объектов желания и отношения к ним субъекта. Таким образом, установление таксономии объектов желания неизбежно оказывается связанным с таксономией ценностей.

Безусловно, в естественном языке оценочная структура представлена более сложно, нежели в логическом представлении, и включает факульт-

тативные элементы, но в целом элементы оценки в логике и в языке соотносительны.

Интересен вопрос о характере различий между ценностными и оптативными (назовем их так) суждениями. Ценностные суждения — это суждения о фрагментах объективного мира. Оптативные суждения — это суждения о фрагментах возможного, иного мира как желаемых для субъекта и позитивно им оцениваемых. Как видим, желания представляют собой совершенно особый вид оценки, точнее, оценочный компонент входит в структуру оптативной ситуации.

Действительно, с точки зрения логики желание предполагает наличие причинно-следственной связи между субъектом и предикатом, обуславливающей употребление оценок применительно к области воображаемой действительности, так как нельзя желать то, что есть. Именно поэтому всякое желание направлено в будущее, на что указывали Аристотель, а позже Спиноза, Декарт и многие другие философы.

А. А. Ивин утверждает, что «желать можно лишь тех вещей, которые отсутствуют, и невозможно желать то, что уже имеется» [Ивин 1970: 123], то есть объектом желания может быть только ирреальная ситуация. Этот тезис, по мнению И. Б. Шатуновского, нуждается в уточнении, для чего он апеллирует к Сократу, предположившему, что можно желать в будущем сохранения того, что имеется теперь.

Иными словами, желать можно и того, чего не имеет субъект, но и того, что он имеет. Поэтому «в уточненном виде положение об ирреальности желаемого будет выглядеть так: невозможно в момент t_1 желать иметь в момент t_1 то, что имеешь в момент t_1 (но можно в момент t_1 желать иметь в момент t_2 ($t_1 \neq t_2$) то, что имеешь в момент t_1)» [Шатуновский 1996: 293].

По нашему мнению, приведенное уточнение само нуждается в корректировке. Полагаем, что P как объект желания никогда не является и принципиально не может являться принадлежностью говорящего, даже если речь идет о желании сохранить P в будущем при обладании P в момент речи.

Утверждать обратное можно было бы только в случае признания, что желаемое P в момент t_1 и его продолжение в момент t_2 — одно и то же. Однако P в момент t_2 отличается от P в момент t_1 тем, что в момент t_2 субъект не обладает P , то есть не имеет желаемого. Поэтому не важно, обладает ли субъект P в момент t_1 или нет, главное, что он, не обладая P в момент t_2 , желает этого. Тем самым меняется акцент: если в случае отсутствия желаемого в момент t_1 субъект желает его наступления в момент t_2 , то при обладании P в момент t_1 субъект желает продолжения P и сохранения его в момент t_2 . Но этим продолжением субъект в момент t_1 не обладает, следовательно, и желает того, чего не имеет в настоящий момент,

поскольку продолжение Р есть новое желание с несколько иным, как мы показали, объектом.

Диалектика желаний в том, что, получая или испытывая желаемое, человек начинает желать чего-то другого, в том числе и продолжения желательной для него ситуации, а это уже другая ситуация. Р в t_1 и Р в t_2 — не одно и то же. Продолжение Р не есть Р, в силу чего тезис о желании субъектом того, чего у него нет в настоящий момент (Аристотель, Спиноза, Декарт и др.) сохраняет правомерность при иллюстрации постулата об ирреальности желаемого.

В числе базовых признаков ситуации желания, наряду с ирреальностью объекта желания выделяются еще два: оценочность (субъект оценивает Р как объект желания) и неконтролируемость, произвольность возникновения желаемого Р [Шатуновский 1996: 293, 295]. При этом автор подчеркивает, что у интенциональных предикатов желания «в коммуникативном фокусе (ассертивной части) их значения находится только один компонент — “оценка”», а в предложениях желания в целом в коммуникативном фокусе может быть и Р как объект желания [Шатуновский 1996: 296]. Стало быть, только оценочный компонент ситуации желания может подвергаться отрицанию.

Немаловажно установить, в какой именно логической системе целесообразно анализировать ситуации желания — в пределах логики высказываний или же в логике предикатов. Принятый в современной логике язык логики предикатов различает имена предметов, имена свойств и предложения как основные семантические категории. В этой системе наиболее отвечает содержанию концепта *желание* группа интенциональных предикатов, среди которых, безусловно, выделяются собственно предикаты желания хотеть¹ и желать. При этом в кругу интенциональных предикатов следует разграничивать хотеть¹ как предикат желания, относимый непосредственно к концепту *желание*, и хотеть² как предикат намерения, относимый к другому концептуальному пространству — *воле*.

Несомненно, что желание и воля теснейшим образом взаимосвязаны, и это прослеживается не только в философской традиции, но и в логических изысканиях. Так, по поводу контролируемости / неконтролируемости желания и воли существует мнение о полной подчиненности желания человеку и определенной зависимости воли от желаний субъекта: «мы есть действующая причина наших желаний»; «наши действия и наши желания всецело зависят от нас. Верно то, что мы не бываем непосредственно хозяевами своей воли, хотя мы и являемся причиной ее, потому что мы не избираем наших желаний, как избираем наши действия посредством мощи наших желаний. Тем не менее мы обладаем и некоторой властью над нашей волей, потому что можем косвенно способствовать тому, чтобы желать в другое время того, чего мы хотели бы желать теперь...» [Лейбниц

89: 333]. Эти замечания важны для понимания Лейбницем свободы воли как проявления, исключающего логическую и метафизическую необходимость [Лейбниц 89: 325]. Таким образом, и воля, и желание в той или иной степени подвластны человеку. Тем самым вопрос о неконтролируемости желания не стоит считать до конца исчерпанным.

Итак, анализ логической интерпретации ситуации желания позволяет сделать следующие **выводы**.

Для концепта *желание* характерна «двойная обращенность» его: к миру внешнему и одному (в каждом конкретном случае) из возможных миров, — связанная с оценочной природой логики желаний, поэтому в желании объединяются значения ирреальности и оценочности.

Предложения с семантикой желания не поддаются однозначной квалификации в модальной логике по типу суждения в силу принципиального своеобразия исследуемого концепта и одноименной модальной семантики. Общим элементом логического содержания предложений желания и основных типов суждения является релевантность для них семантики возможных миров как альтернативы действительному миру. В логическом аспекте желания представляют собой особый вид оценки, при котором оценочный компонент входит в структуру оптативной ситуации.

Логические основания данного концепта обнаруживаются скорее в логике предикатов, нежели в логике высказываний — в системе интенциональных предикатов. Ситуациям, в которых используются интенциональные предикаты желания, присущи следующие признаки: ирреальность как желание того, чем не обладает субъект, и как невозможность желания того, чем обладает субъект; оценочность (с возможностью отрицания в коммуникативном фокусе, совпадающем с оценочным компонентом); контролируемость или неконтролируемость желания (вопрос остается дискуссионным). Решение вопроса о степени произвольности желаний тесно увязывается с проблемой соотношения воли и желания, по-разному представленной в известных логико-философских концепциях.

Кроме того, представляется значимым дальнейшее исследование логического аспекта желаний, а именно — определение места предложений желания в системе модальной логики для установления более четких когнитивных оснований ситуации желания и специфики соответствующего концепта.

Литература

Алтабаева Е. В. Категория оптативности в современном русском языке. Москва: МГОУ, 2002. 232 с.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. Москва: Языки русской культуры, 1999. 895 с.

Бабушкин А. П. Сослагательное наклонение как «окно» в иные миры // Вестник Воронежского ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Вып. 1. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 17–22.

Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика / Введение в когнитивную лингвистику: Курс лекций. Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. 236 с.

Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 5–22.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. 2-е изд. Москва: Эдиториал УРСС, 2001. 208 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. Москва: Эдиториал УРСС, 2002. 280 с.

Ивин А. А. Основания логики оценок. Москва: МГУ, 1970. 230 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Наука, 1987. 261 с.

Колесов В. В. Концепт культуры: образ, понятие, символ // Слово и дело: Из истории русских слов. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2004. С. 57–72.

Kripke S. A. A Problem in the Theory of Reference: the Linguistic Division of Labor and the Social Character of Naming // Philosophy and Culture (Proceedings of the XVII World Congress of Philosophy). Montreal: Editions Montmorency, 1986. P. 241–247.

Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Москва: Мысль, 1989. Т. 4. 554 с.

Немец Г. П. Актуальные проблемы модальности в современном русском языке. Ростов-на-Дону: РостГУ, 1991. 187 с.

Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику: Учеб. пособие. Москва: Эдиториал УРСС, 2000. 384 с.

ФЭС — Философский энциклопедический словарь. Москва: Сов. энциклопедия, 1989. 816 с.

Шатуновский И. Б. Семантика предложения и нерелевантные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. 400 с.

References

Altabaeva E. V. Kategoriya optativnosti v sovremennom russkom yazy'ke. Moskva: MGOU, 2002. 232 s.

Arutyunova N. D. Yazy'k i mir cheloveka. 2-e izd., ispr. Moskva: Yazy'ki russkoj kul'tury', 1999. 895 s.

Babushkin A. P. Soslagatel'noe naklonenie kak «okno» v iny'e miry' // Vestnik Voronezhskogo un-ta. Ser. lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. Vy'p. 1. Voronezh: VGU, 2001. S. 17–22.

Boldy'rev N. N. Kognitivnaya semantika / Vvedenie v kognitivnuyu lingvistikku: Kurs lekcij. Tambov: TGU im. G. R. Derzhavina, 2014. 236 s.

Boldy'rev N. N. Yazy'kovy'e kategorii kak format znaniya // Voprosy' kognitivnoj lingvistiki. 2006. № 2. S. 5–22.

Bondarko A. V. Principy' funkcional'noj grammatiki i voprosy' aspektologii. 2-e izd. Moskva: E'ditorial URSS, 2001. 208 s.

Vol'f E. M. Funkcional'naya semantika ocenki. 2-e izd., dop. Moskva: E'ditorial URSS, 2002. 280 s.

Ivin A. A. Osnovaniya logiki ocenok. Moskva: MGU, 1970. 230 s.

Karaulov Yu. N. Russkij yazy'k i yazy'kovaya lichnost'. Moskva: Nauka, 1987. 261 s.

Kolesov V. V. Koncept kul'tury': obraz, ponyatie, simvol // Slovo i delo: Iz istorii russkikh slov. Sankt-Peterburg: SPbGU, 2004. S. 57–72.

Kripke S. A. A Problem in the Theory of Reference: the Linguistic Division of Labor and the Social Character of Naming // Philosophy and Culture (Proceedings of the XVII World Congress of Philosophy). Montreal: Editions Montmorency, 1986. P. 241–247.

Lejbnicz G. V. Sochineniya: V 4 t. Moskva: My'sl', 1989. T. 4. 554 s.

Nemecz G. P. Aktual'ny'e problemy' modal'nosti v sovremennom russkom yazy'ke. Rostov-na-Donu: RostGU, 1991. 187 s.

Plungyan V. A. Obshhaya morfologiya: Vvedenie v problematiku: Ucheb. posobie. Moskva: E'ditorial URSS, 2000. 384 s.

FE'S — Filosofskij e'nciklopedicheskij slovar'. Moskva: Sov. e'nciklopediya, 1989. 816 s.

Shatunovskij I. B. Semantika predlozheniya i nereferentny'e slova (znachenie, kommunikativnaya perspektiva, pragmatika). Moskva: Shkola "Yazy'ki russkoj kul'tury'", 1996. 400 s.

Сведения об авторе: Елена Владимировна Алтабаева; доктор филологических наук; профессор; Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева; профессор; ORCID 0000-0001-6185-5801; bugaevaiv@rgau-msha.ru; сфера научных интересов: когнитивные исследования грамматики, синтаксис современного русского языка, лингвопоэтика, лингвокультурология.

The author's profile: Elena Vladimirovna Altaeva; Doctor of Philology; Professor; Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy; ORCID 0000-0001-6185-5801; bugaevaiv@rgau-msha.ru; research interests: cognitive grammar, syntax of modern Russian language, linguistics and poetics, linguistics and culturology.

УДК 81`42

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.13

О СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ МИФАХ (ЧАСТЬ 2)

TOWARDS SYNTACTIC UNITS AND SYNTACTIC MYTHS (PART 2)

Марина Юрьевна Сидорова

**Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Россия**

Marina Yuryevna Sidorova

**Moscow Lomonosov State University,
Moscow, Russia**

Аннотация

Статья посвящена русской грамматической традиции в установлении единиц синтаксиса, рассматриваемой с позиций понимания науки как системы «операций с утверждениями». Анализируются два компонента формирования этой традиции: собственные утверждения ученых касательно единиц и объектов синтаксиса и интерпретация утверждений предшественников, которая может находиться на разном расстоянии от оригинальной научной парадигмы, в которой эти утверждения изначально были сделаны. Выявляется ряд неточностей в «оперировании утверждениями», сделанными классиками отечественной лингвистики — А. А. Шахматовым и В. В. Виноградовым, у их последователей.

Ключевые слова: русский язык, научная традиция, синтаксические единицы, А. А. Шахматов, В. В. Виноградов.

Abstract

Within the modern methodological framework of regarding science as “operations with statements” (B. Latour, S. Woolgar) the article aims at answering the question: which approaches to syntactic units could really be labelled as “the Russian grammar tradition”? Two aspects constituting this tradition are discussed: independent statements made by outstanding scientists (original texts) and their later interpretations (post-texts) which may be rather distant from

the original paradigm these statements were made in. Comparing the original texts and later post-texts, we discover and try to systematize the misrepresentations and misinterpretations which are further spread among new generations of linguists via internet. Thus, comparison of statements on syntactic units made by the fathers of Russian linguistics A. A. Shakhmatov and V. V. Vinogradov — and their reflection in the works of their successors reveals a number of inaccuracies which themselves form a tradition. The fact that substantial misinterpretations of the “fathers’” syntactic views can be found even in classical university textbooks is illustrated by introducing M. V. Lomonosov and A. A. Shakhmatov in V. A. Beloshapkova’s well-known Russian syntax for universities as the founders of the allegedly traditional idea that two syntactic units should be distinguished: sentence (“predlozhenie”) and word combination (“slovosochetanie”). Also we demonstrate the following types of misrepresentations and misinterpretations: 1) the tendency of integrating Shakhmatov’s and Vinogradov’s views on syntactic units into the structuralistic level-based approach to language; 2) the distortion of causal relations in textbook explanations why this or that scholar formulated his or her idea of syntactic units and 3) the excessively broad or narrow approach to the idea of succession which can be selected by authors of post-texts to defend their own position in Russian grammar tradition and to cross scientific opponents out of it. Recognizing that some of these inaccuracies arise from the original texts themselves (changes in the scholar’s views during his life; ambiguous statements; combination of terminological and non-terminological usage of the same word), we argue that a lot of them still stem from a conscious or unconscious wish of an author of a textbook or other post-text to present an integrated view of the Russian grammar tradition rather than investigate the real history of operations with statements on syntactic units in it.

Key words: Russian language, scientific tradition, syntactic units, A. A. Shakhmatov, V. V. Vinogradov.

Введение. Рассматривая вопрос о том, насколько соответствует реальности широко распространенное утверждение о *традиционности* выделения в русской грамматике *двух синтаксических единиц* — *словосочетания и предложения*, в первой части нашей статьи мы обращались к различным типам источников: от трудов классиков лингвистической науки, таких как М. В. Ломоносов и А. А. Шахматов, до их изложения в вузовских учебниках конца XX — начала XXI века и трансляции сведений из этих учебников во вспомогательных материалах в интернете. Мы выяснили, что, хотя с определенного момента отечественная грамматическая мысль, действительно, вращалась вокруг словосочетания и предложения как двух основных синтаксических объектов, обобщать эти научные поиски посредством обсуждаемой формулировки — значит, прибегать к чересчур вольному допущению. Также нами были обнаружены другие неточности

представления классических предтекстов в учебных послетекстах второй половины XX — начала XXI века, связанные с иерархизацией понятий, интерпретацией причинно-следственных связей, смещением терминологического и нетерминологического употребления слов и анахронистическим переносом понятий из одной системы в другую.

Основная часть. Вновь отталкиваясь от того толкования русской грамматической традиции выделения синтаксических единиц, которое предлагают авторы «Синтаксических сюжетов» [Анипкина, Бубнова, Крылова 2016], обратимся теперь к точке зрения акад. В. В. Виноградова. С одной стороны, в указанном учебном пособии ему, как и А. А. Шахматову, приписывается трактовка словосочетания как *синтаксической единицы*, т.е. единицы *синтаксического уровня языка*. С другой — в подтверждение приводится фрагмент виноградовского текста, содержащий следующие известные формулировки: «...Словосочетание и предложение — качественно различные категории синтаксиса. Словосочетание, в отличие от предложения, совсем не является цельной единицей языкового общения и сообщения» [Виноградов 1960: 44]. По Виноградову, словосочетание в синтаксисе должно изучаться «как строительный материал для предложения», т.е. со стороны его «функций... в составе предложения» [там же]. Здесь мы попутно можем задаться вопросом, досконально исследовать который не позволяют рамки статьи: насколько далеко могут отстоять друг от друга взгляды двух ученых, чтобы об одном из них, хронологически более позднем, можно было сказать, что он развил концепцию, идею и т.п. предшественника. Между утверждениями «словосочетания выделяются в составе предложения» (у Шахматова) и «предложения строятся из словосочетаний» (у Виноградова) — существенная дистанция. В [Современный русский язык 1964: 262], обсуждая статус разных типов словосочетания по отношению к предложению и слову, Е. М. Галкина-Федорук дает третий вариант формулировки: «Словосочетания возникают при построении предложения и вычленяются из предложения».

Взгляд на словосочетание как строительный материал предложения мы находим и в других трудах Виноградова. «Предложение, — пишет он в работе “Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)”, — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т.е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется предложением как основной формой общения. Правила употребления слов в функции предложений и правила *соединения* (курсив здесь и далее в цитате наш. — М.С.) слов и словосочетаний в предложении — ядро синтаксиса того или иного языка. <...> Изучая правила *составления*

предложений, синтаксис прежде всего должен выяснить, как слова и словосочетания, *объединяясь* в структуре предложения в качестве его членов, *образуют* предложение — эту основную синтаксическую единицу языкового общения — и в чем заключаются характерные конструктивно-грамматические признаки предложения» [Виноградов 1955: 389].

Важно, что Виноградов (как и Шахматов), трактуя предложение как *единицу речи*, или *синтаксическую единицу речевого общения*, не говорит о синтаксическом *уровне* в том значении термина, которое представлено в [Белошапкова 1981, 1989; Анипкина, Бубнова, Крылова 2016] и не занимается доказательствами его существования. Это лейтмотив более позднего времени: он был, по нашим личным воспоминаниям, весьма ощутим в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда активно проявлялась, но, к счастью, не дошла до апогея тенденция к превращению русистики из науки о языке в науку об отдельных уровнях языка, а изучения каждого уровня — в изучение его единиц (см. далее определение синтаксиса из учебника В. А. Белошапковой). Предлагать подобную интерпретацию суждениям Виноградова настолько же анахронично, как утверждать, что древнерусский книжник использует ту же систему знаков препинания, что и мы сегодня, или полагать, что, советуясь о переводе слова «либеральный» для проекта конституции в XIX веке, П. А. Вяземский и Н. М. Карамзин понимали его в нашем сегодняшнем смысле.

Тем не менее В. В. Виноградов использовал характеристику «синтаксическая единица» и по отношению к словосочетанию, очерчивая круг явлений, составляющих «центральную часть» синтаксиса как раздела языкознания, — «учение об основных синтаксических категориях, об основных синтаксических единицах (о словосочетании, о предложении, о сложном синтаксическом целом, о синтагме как компоненте этого сложного целого), об основных синтаксических отношениях (об отношениях модальности, об отношениях между членами предложения и об отношениях между предложениями)» [Виноградов 2001 (1947): 16]. Словосочетание здесь в скобках, рядом с предложением, сложным синтаксическим целым и синтагмой — там, где нужно обозначить три *предмета* синтаксиса как науки: синтаксические *категории*, синтаксические *отношения*, синтаксические *единицы*. Последние в данном случае нельзя, как бы ни хотелось, назвать объектами, потому что и первое, и второе, и третье — объекты изучения синтаксиса, а Виноградов всегда стремится к точности. Иными словами, выражение *синтаксические единицы* используется здесь для того, чтобы назвать «материальные» языковые объекты, входящие в «центральную часть» синтаксиса, — не категории, не отношения.

Тут же Виноградов называет «основными единицами языка» слово и предложение, подчеркивая, что «словосочетание как единица языка обладает меньшей самостоятельностью и определенностью, чем слово

и предложение» и что именно пониманием слова и предложения определяется методология и структура лингвистического знания.

Таким образом, Виноградов говорит о *языковых единицах* (*единицах языка*), к которым относит и предложение, и словосочетание, и слово; о *синтаксических единицах*, к которым причисляет словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое, синтагму, и о *единице речевого общения* — предложении. При этом понятие «синтаксическая единица» у него не равно современному, и синтаксических единиц в таком понимании никак не две, а четыре.

Значит ли сказанное, что В. В. Виноградов был непоследователен в своих суждениях или что его взгляд на соотношение словосочетания и предложения претерпевал принципиальные изменения на протяжении его творческого пути? Мы полагаем, что, напротив, — Виктор Владимирович был последователен и непротиворечив в трактовке словосочетания и предложения, точно проводя границу между онтологией и гносеологией и гораздо более отчетливо, чем другие большие ученые — его современники, выступая в качестве хранителя отечественной грамматической традиции. Во всех трудах Виноградова, где затрагивается этот вопрос: от монографии «Из истории изучения русского синтаксиса» [Виноградов 1958], написанной по материалам курса, прочитанного им в МГУ имени М. В. Ломоносова в 1947–1948 гг., до введения в академический синтаксис 1954 г. [Грамматика 1954], — главное, что заботит Виноградова, — это, с одной стороны, сохранение и развитие в структуре науки о русском синтаксисе обеих неотъемлемых, с его точки зрения, составляющих — учения о предложении и учения о словосочетании (гносеология), с другой — выявление и обоснование различного статуса предложения и словосочетания в системе языка и речевом общении (онтология). Анализируя и обобщая взгляды предшественников (порой посредством весьма «радикальных» формулировок, как, например, характеристика высказывания Фортунатова, связывающего господствующие типы двучленного предложения с понятием о «самостоятельном или законченном словосочетании», как сыгравшего «почти роковую роль» в истории русского синтаксиса [Виноградов 1958: 392]), Виноградов демонстрирует нам путь формирования русской грамматической традиции — постепенное объединение в ней учения о предложении как единице общения и учения о словосочетании как его строительном материале — и на этой основе строит программу дальнейших исследований. Переформулируя сегодняшним языком, можно говорить о том, что именно Виноградов четко постулирует необходимость взаимосвязанного изучения синтаксических явлений и докоммуникативного (допредикативного), и коммуникативного (предикативного) уровня: от того момента, как слово «входит» в синтаксис, до момента образования связной речи.

Виноградов решает при этом весьма сложные объединительно-разграничительные задачи. С одной стороны, ему необходимо утвердить самостоятельный статус синтаксиса, как содержательный, так и методологический, отграничив его от лексикологии и морфологии и не позволяя расплываться его границам¹, с другой — подчеркнуть неразрывную связь между этими разделами науки о языке. Эта связь основывается на двух факторах — один действует как бы «сверху», второй — «снизу»: предложение как единица речевого общения востребует для своего построения ресурсы всех остальных уровней, выводя их тем самым в коммуникативную плоскость, а средоточием и носителем этих ресурсов (семантических, формальных и функциональных) является слово, «отдавая» их, реализуя их в синтаксисе. Словосочетание при таком подходе может либо восприниматься в качестве посредника в этом взаимодействии, либо балансировать (в зависимости от типа, прежде всего — уровня связанности) между статусами распространенного слова или материала для предложения. Где же оно должно изучаться и какими методами? Ответ В. В. Виноградова — в синтаксисе, грамматическими методами, направленными на установление «правил сочетания слов, закономерностей образования разных видов и типов словосочетаний», в которых «ярко проявляется национальная специфика языка» [Грамматика 1954: 11]. Понятия «словосочетания» и «типология словосочетаний» дают возможность изучать сочетаемость слов грамматическими методами. При этом слово для Виноградова, как мы уже видели, «центральнее», чем словосочетание, что подтверждается определением синтаксиса в Грамматике 1954 г.: «Предметом синтаксиса как отдела грамматики является изучение способов соединения слов в словосочетания и в предложения, а также изучение типов предложений, их строений, функций и условий употребления. Следовательно, в синтаксис, кроме учения о предложении, кроме правил составления и соединения слов в предложения, входит и описание видов словосочетаний, описание способов сочетания слов в предложении» [Грамматика 1954: 6].

На оба указанных аспекта подхода В. В. Виноградова к словосочетанию и предложению — гносеологический и онтологический — обращала внимание Е. М. Галкина-Федорук в сборнике к шестидесятилетию академика. Действительно, Виноградов «обогастил синтаксическую науку новой теорией словосочетания», которая «легла в основу второй части академической Грамматики русского языка и получила широкое распространение среди советских языковедов» [Галкина-Федорук 1956: 10]. Это была теория словосочетания как синтаксического (или точнее — грамматического)

¹ Добавим к этому и необходимость проведения демаркационной линии между логикой, психологией и лингвистикой при обсуждении статуса предложения / логического суждения / психологического суждения.

объекта, как предмета изучения синтаксиса, но не единицы синтаксического уровня. В основе синтаксического учения Виноградова «лежит четкое разграничение словосочетания и предложения»: «Хотя и то и другое входит в синтаксис, будучи самостоятельными его разделами, они представляют собой качественно различные синтаксические категории» [Галкина-Федорук 1956: 10].

В виноградовском духе представлено соотношение между словосочетанием и предложением в мало устаревшем и несомненно входящем в русскую грамматическую традицию (хотя и незаслуженно подзабытом) учебнике по синтаксису Е. М. Галкиной-Федорук, К. В. Горшковой, Н. М. Шанского. Словосочетание рассматривается там, наряду со словом, в качестве строительного материала для предложения как объект изучения синтаксиса, а предложение как «целостная грамматически организованная единица речи» [Галкина-Федорук, Горшкова, Шанский 2014: 3¹]. Термин *синтаксическая единица* по отношению к словосочетанию появляется только при пересказе имеющихся в науке точек зрения: «Одни ученые смотрят на словосочетание как на некую синтаксическую единицу, вычленимую из предложения. Другие полагают, что словосочетание может существовать вне предложения и до предложения» [Галкина-Федорук, Горшкова, Шанский 2014: 4]. В целом вопрос «единица или нет» как вопрос наклеивания этикетки авторов учебника мало волнует, они сосредоточены на разъяснении различного лингвистического статуса предложения и словосочетания, точнее, двух его типов — свободных и фразеологизованных (максимально приближенных к слову) словосочетаний. Проблема единицы возникает только по отношению к статусу сложного предложения и решается весьма неоднозначно: «Как грамматически, так и семантически сложное предложение представляет собой такое же целостное единство, как и простое, а не простую сумму слагаемых. И простое, и сложное предложение одинаково являются средством сообщения, выражения и формирования мысли, выступая в функциональном отношении как однородные синтаксические элементы языка. Однако в языковом отношении они представляют собой все же различные синтаксические единицы» [там же: 146. Выделено авт. — М.С.]. Предмет синтаксиса формулируется, как и у Виноградова, без термина *единица*. Но с весьма симптоматичным изменением угла зрения, по сравнению с тем, что мы видели в Грамматике 1954 г.: «Синтаксис — отдел грамматики, изучающий формы и типы предложений, структуру словосочетаний и связи слов в предложении и словосочетании» [там же: 3].

Разобравшись с более отстоящими от нас по времени классиками, вернемся к трактовке синтаксических единиц и истории их выделения

¹ Ссылки приводятся на современное издание, как максимально доступное.

в учебниках В. А. Белошапковой. Фрагмент, выбранный в качестве аргумента к авторитету авторами «Синтаксических сюжетов» [Белошапкова 1977: 6–7], обсуждался в первой части статьи. Обратим внимание на то, что ссылка дана на издание 1977 года. После этого отдельного учебника проф. Белошапкова выпустила еще два университетских синтаксиса [Белошапкова 1981] [Белошапкова 1989] — в составе комплексного учебника, и три «синтаксиса Белошапковой» имеют определенные текстовые отличия в параграфах, посвященных синтаксическим единицам. Отличия принципиальные для обсуждаемого вопроса. Можно начать с того, что в учебнике 1989 года отсутствует ссылка на Ломоносова, стоявшего якобы «у истоков» выделения двух синтаксических единиц. Учебник 1981 года в данном фрагменте повторяет [Белошапкова 1977].

Внутренне противоречивым пассажем открывается в учебниках 1981 и 1989 гг. глава «Словосочетание»: «В ранних грамматических трудах (“Российская грамматика” М. В. Ломоносова, “Русская грамматика” А. Х. Востокова и др.) важнейшей частью синтаксиса считалось учение о закономерностях и правилах, в соответствии с которыми слова соединяются в связанные целые: поэтому много внимания уделялось описанию словосочетаний. Но это описание имело характер разбросанных и случайных наблюдений. Словосочетание как особая синтаксическая единица, занимающая определенное место в ряду других синтаксических единиц, не осознавалось» [Белошапкова 1981; 400] [Белошапкова 1989; 588]. Такое же начало параграфа о словосочетании, принадлежащего В. А. Белошапковой, находим в [Современный русский язык 1964: 263].

Здесь В. А. Белошапкова одновременно и следует за В. В. Виноградовым, указывая, что «словосочетание как особая синтаксическая единица... не осознавалось», и противоречит ему — в первом предложении. Анализируя грамматики XIX века, Виноградов всегда четко проводит разграничение между «словосочинением» (сочетаемостью слов) и «словосочетанием» как единицей или объектом синтаксиса: сосредоточенность на первом не только не всегда приводит к «описанию» второго, но и может уводить от него. Так, отмечая, что Академическая Грамматика 1802 г. содержит новое, по сравнению с Ломоносовым, знание о разнообразии способов словосочетания в русском языке, Виноградов подчеркивает, что в ней содержится не учение о словосочетании, а «учение о правилах сочетаемости слов». «...Вместо дифференциации разных типов словосочетаний задача описания нередко сводилась к механическому составлению перечней слов с одинаковыми падежными или падежно-предложными связями безо всякой попытки общей семантической или грамматической характеристики их, без изучения соотношений и взаимоотношений между разными словесными группами. Изучение словосочетаний приобретало ярко выраженный лексикологический или лексикографический характер» [Виноградов

1958: 99]. То есть место главного синтаксического объекта фактически занимает слово — ему, а не словосочетанию уделяется много внимания, и «лексикографический» способ описания языка подчиняет себе грамматический: не «закономерности и правила» построения связных целых интересуют авторов, а «лексические коллекции» [Виноградов 1958: 105].

В отличие от авторов «Синтаксических сюжетов», В. А. Белошапкова последовательно, в виноградовском духе проводит существенное разграничение между единицами и объектами синтаксиса. Не случайно в [Белошапкова 1989] появляется глава «Слово и форма слова как объекты синтаксиса», занимающая место между «Синтаксическими связями» и «Словосочетанием». В учебнике 1981 года, где этой главы еще нет, Вера Арсеньевна, указывая на существование разных перечней синтаксических объектов в разных научных направлениях и концепциях, пишет: «Наиболее очевидными и бесспорными являются: словосочетание, простое предложение и сложное предложение. Объекты синтаксиса также слово (лексема) и форма слова, но не сами по себе и не во всех своих свойствах, а лишь со стороны связей их с другими формами слов и их функций в составе синтаксических единиц, в которые они входят как компоненты: поэтому сами эти объекты и не являются синтаксическими единицами» [Белошапкова 1981: 363]. Здесь очевиден существенный концептуальный сдвиг по сравнению с точкой зрения Шахматова и Виноградова: словосочетание «поднято» до статуса полноценной синтаксической единицы, а место «строительного материала» отдано словам и словоформам. Понятие о сочетаемости слов как предмете грамматического исследования заменено понятием о связях между словами. К списку синтаксических единиц добавлено сложное предложение, чего не было ни у Шахматова, ни у Виноградова.

Все эти изменения, однако, позиционируются не как отход от традиции, а как ее продолжение: «Итак, в соответствии с общим направлением русской научной традиции и теми идеями, которые представлены в большинстве современных синтаксических концепций, прежде всего в концепции В. В. Виноградова, определим синтаксис как учение о трех единицах: словосочетании, предложении и сложном предложении... Словосочетание — непредикативная синтаксическая единица, компонентами которой являются слово и форма слова или несколько форм слов, связанные между собой синтаксической связью. Простое предложение — предикативная синтаксическая единица, состоящая из нескольких связанных синтаксической связью форм слов или из одной формы. Сложное предложение — синтаксическая единица, компонентами которой являются предложения, связанные между собой синтаксической связью» [Белошапкова 1981: 366]. На одной странице учебника констатируется, что «давнюю стойкую традицию русской синтаксической науки составляет выделение двух основных синтаксических единиц — словосочета-

ния и простого предложения» [Белошапкова 1981: 364], а чуть дальше в ту же традицию эксплицитно включается сложное предложение: «Традиционное для русской синтаксической науки понимание синтаксических объектов характеризуется тем, что наряду со словосочетанием и простым предложением как особая синтаксическая единица выделяется сложное предложение» [Белошапкова 1981: 366] (эти же формулировки за исключением слова «стойкую» и с заменой «выделяется» на «рассматривается» в [Белошапкова 1989: 532, 534]. Эксплицитное включение в состав синтаксических единиц сложного предложения меняет не просто перечень, но понимание синтаксической единицы (уже хотя бы потому, что компонентами сложного предложения, по Белошапковой, являются единицы не низшего, морфологического, уровня, а того же, синтаксического, таким образом, наличие синтаксических связей остается единственным общим признаком трех синтаксических единиц).

Если право придерживаться своего списка синтаксических единиц принадлежит любому грамматисту, то «эластичность» традиции все же должна быть ограничена объективной реальностью. Учением «о трех единицах» синтаксис до учебников Веры Арсеньевны никогда не был. Даже в университетском учебнике 1964 г., максимально близком к учебникам В. А. Белошапковой по времени, синтаксис — это «отдел грамматики, в котором изучается структура целого законченного сообщения (предложения) и его частей, словосочетаний и синтагм. В содержание синтаксиса входит учение о предложении, словосочетании, их строении и типах и учение о синтагме». Слово изучается в синтаксисе «как элемент словосочетания и член предложения» [Современный русский язык 1964: 252].

Можно найти и другие подтверждения того, что «Синтаксис» В. А. Белошапковой не является прямым следованием Шахматову и Виноградову в отношении к синтаксическим единицам. Логика шахматовского «Синтаксиса» представлена в учебниках В. А. Белошапковой в противоречии с реальным путем движения мысли Шахматова. Создается впечатление, что предложение выделяется Шахматовым по отношению к словосочетанию: «А. А. Шахматов вслед за Ф. Ф. Фортунатовым определяет словосочетание как “такое соединение слов, которое образует грамматическое единство, обнаруживаемое зависимостью одних из этих слов от других...”, а потому предложение, состоящее из двух и более слов, считает тоже словосочетанием, но “законченным”, соответствующим “законченной” единице мышления. Однако предложение, по мнению Шахматова, не просто разновидность словосочетания, а особая синтаксическая единица, которая может быть представлена и одной словоформой» [Белошапкова 1981: 400–401] [Белошапкова 1989: 589]. А. А. Шахматов выводил понятие предложения из своего понимания «коммуникации», а словосочетание является для него производным от предложения, а не наоборот. В. В. Виноградов

характеризовал взгляды Шахматова на соотношение предложения и словосочетания как «диаметрально противоположные» фортуновским [Виноградов 1958: 391]. Сходятся, отмечал Виноградов, эти ученые в том, что оба определяют предложение как разновидность психологического суждения.

Таким образом, если добавить к сказанному еще десятки фактов, свидетельствующих, что «в “Российской грамматике”, сочиненной Академией Российской, отсутствует теория предложения» [Виноградов 1958: 107] (как и у Ломоносова); «в крупнейших грамматических исследованиях середины XIX в. (“Историческая грамматика русского языка” Ф. И. Буслаева, “Из записок по русской словесности” А. А. Потебни) нет разделов, посвященных учению о словосочетании» [Белошапкина 1981: 400] и т.д., то получается, что «прочная», «устоявшаяся», «давняя», «стойкая» и т.п. традиция выделения двух синтаксических единиц на самом деле не существует и была искусственно сконструирована в последней трети XX в. Более того, такой «традиции» не могло сложиться по объективно-субъективным условиям развития отечественной науки — это убедительно демонстрирует В. В. Виноградов, анализируя, как «самый предмет синтаксиса и его задачи выясняются постепенно» на протяжении XIX века [Виноградов 1958: 371–395].

Не попадают в указанную «традицию» и Академические грамматики 1970 и 1980 гг. Раздел «Синтаксис» в Грамматике-70 открывается главой о подчинительных синтаксических связях, в которой небольшой параграф, посвященный словосочетанию, занимает последнее место. При этом словосочетание характеризуется как *синтаксическая единица* [Грамматика 1970: 536], а о предложении в начале соответствующего раздела говорится, что оно является *особой грамматической категорией* [Грамматика 1970: 541], а затем дается следующее определение: «Простое предложение — это самостоятельная синтаксическая единица сообщения, грамматическим значением которого является предикативность, а формой — минимальная структурная схема с принадлежащей ей системой собственно грамматических средств для выражения синтаксических времен и наклонений» [Грамматика 1970: 544]. Понятие предложения становится производным от понятия структурной схемы, т.е. онтологическая сущность объекта извлекается из гносеологического инструмента его описания. Сложное предложение описывается крайне запутанно и по отношению к простому, и по отношению к словосочетанию, в результате чего возникает определение его как «сочетания предикативных единиц, построенное по той или иной структурной схеме и предназначенное для функционирования в качестве целостной единицы сообщения» [Грамматика 1970: 653]. Уяснить соотношение понятий *синтаксическая единица*, *предикативная единица* и *единица сообщения* из этих формулировок и окружающего их текста крайне затруднительно.

В Грамматике-80 собственно синтаксических единиц три, как и у В. А. Белошапковой, а слово и словоформа характеризуются в высшей степени уклончиво: «§ 1708. Синтаксис как область грамматического строя языка объединяет в своих границах такие единицы, которые или непосредственно формируют сообщение, или служат компонентами формирующей его конструкции. Такими синтаксическими единицами являются словосочетание, простое предложение и сложное предложение. В сферу синтаксиса входят также единицы сообщения, которые не имеют собственных грамматических характеристик и объединяются с грамматическими предложениями функционально <...> Кроме названных единиц, принадлежащих только синтаксису, в его сферу входят также единицы, принадлежащие другим областям языка и участвующие в образовании синтаксических единиц; это — слово и форма слова» [Грамматика 1980: 6]. Какой научный смысл имеет формулировка «в его сферу входят», сказать трудно. В целом же §§ 1706–1714 в Грамматике-80 представляют собой терминологическую «катастрофу» в плане использования термина (?) *единица* и связанных с ним: там есть и *языковые единицы*, и *общающие единицы*, и *конструкции*, которые являются единицами, и *конструкции, состоящие из единиц*, и *конструкции, которые являются компонентами единиц*. Простое предложение является не центральной синтаксической единицей, а *центральной грамматической единицей синтаксиса*. Очевидно, попытки установления референтов для всех именных групп такого типа в данном тексте не предполагаются.

В заключение нам осталось последний раз вернуться к «Синтаксическим сюжетам», чтобы проверить, насколько адекватно передана там «альтернативная» точка зрения на синтаксические единицы, выраженная в трудах Г. А. Золотовой и ее последователей. «Тот факт, что предложение строится из форм слов и словосочетаний, а последние также включают в свой состав формы слов (словоформы), побудил Г. А. Золотову сделать вывод, что синтаксическими единицами являются не словосочетания и предложения, а именно словоформы, которые она называет *синтаксемами*» [Анипкина, Бубнова, Крылова 2016; 10]. Г. А. Золотова предстает в этом фрагменте как ученый с довольно странной логикой. Во-первых, вывод о том, что синтаксическими единицами являются не словосочетания и предложения, а словоформы, сделан ей на весьма шатком основании, на котором выделять единицы не возьмется ни один здравомыслящий лингвист. Во-вторых, она зачем-то (очевидно, чтобы множить термины) переименовала словоформы в «синтаксемы».

Что же на самом деле? Словоформы Г. А. Золотова называет словоформами, а синтаксема (синтаксическая форма слова) — это принципиально иное понятие, объединяющее форму, значение и функцию. К формулированию понятия синтаксемы как *минимальной* синтаксической единицы проф. Золотову «побудил» целый ряд взаимосвязанных фактов, которые

подробно изложены в предисловии к «Синтаксическому словарю» [Золотова 1988] и других ее работах. Крайне далек от действительности следующий комментарий коллег из РУДН к определению синтаксемы у Золотовой как «минимальной далее неделимой семантико-синтаксической единицы русского языка, выступающей одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений, характеризуемой, следовательно, определенным набором синтаксических функций» [Золотова 1988: 4]. Они пишут: «Из этого определения ясно, что для исследователя важно выделить такую единицу, которая характеризуется не только с точки зрения ее собственно синтаксической организации, т.е. грамматической стороны, но также с лексико-семантической стороны, а этот подход с неизбежностью размывает границы между грамматикой и семантикой» [Анипкина, Бубнова, Крылова 2016: 11]. У Г. А. Золотовой — с точностью до наоборот: «Речь идет о тех единицах, из которых формируются и на которые соответственно членятся предложения, о единицах, которые были бы носителями элементарных смыслов и вместе с тем — дифференциальных синтаксических признаков. *Это последнее условие — различия в собственно синтаксических функциональных свойствах — должно быть тем критерием, которым и здесь определится необходимая ступень абстракции.* Ни слово, ни часть речи этому условию не отвечают: разные формы той или иной части речи очевидно различаются синтаксическими возможностями, достаточно сопоставить личные и не-личные — инфинитивные, причастные, деепричастные — формы одного ли глагольного слова или всей категории глагола. Именно форма слова как строительная единица синтаксиса получает в последнее время признание лингвистов» [Золотова 1973: 19] (курсив наш. — М. С.).

Далее эти положения были развиты в [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004 (1998)]. «Исследования последних полутора десятилетий, — констатирует Г. А. Золотова, — дали достаточно оснований считать синтаксическую форму слова, или синтаксему, элементарной, конститутивной единицей русского синтаксиса. Соединяя в себе морфологическую, категориально-семантическую и функционально-синтаксическую характеристики, синтаксема отвечает двум, количественному и качественному, условиям конститутивной единицы: а) она вступает с другими синтаксическими единицами в отношения часть / целое (и предложение и словосочетание с точки зрения синтеза составляются из синтаксем, с точки зрения анализа членятся на синтаксемы); б) синтаксеме как элементу построения и одновременно носителю элементарного смысла свойственны органические черты, присущие целому как таковому» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 49]. И выделение синтаксемы, и доказательство ее конститутивного статуса, и функциональная классификация синтаксем проводятся Г. А. Золотовой на собственно синтаксических основаниях.

Наконец, еще в «Очерке функционального синтаксиса русского языка» Галина Александровна высказалась совершенно определенно: «Если предложение функционирует как основная синтаксическая единица на коммуникативной ступени синтаксиса, то на докоммуникативной ступени, на ступени строительного синтаксического материала за первичную, минимальную единицу синтаксиса принимаем синтаксическую форму слова» [Золотова 1973: 10]. То есть предложение у Золотовой *является* синтаксической единицей коммуникативного уровня. Таким образом, в части перечня синтаксических единиц грамматика Г. А. Золотовой оказывается не дальше от мифологизованной «традиции», чем учебник В. А. Белошапковой. Более того, если говорить не о мифологизированной традиции, а о реальной программе синтаксических исследований, сформированной Виноградовым, именно подход Г. А. Золотовой является непосредственным ее продолжением, так как предлагает решение вопроса, который Виноградовым был поставлен. С одной стороны, синтаксемная теория позволяет последовательно и непротиворечиво решить проблему «вхождения» слова в синтаксис, выстраивая не чисто описательную, но учитывающую порождающие механизмы картину речевой деятельности, с другой — обеспечивает выделение синтаксических единиц и для докоммуникативного (синтаксема), и для коммуникативного (предложение) уровня, придавая слову *уровень* в этом употреблении терминологический статус.

Выводы. Традиции выделения двух синтаксических единиц — словосочетания и предложения — в русской грамматической науке не существует, т. к. достаточного для того, чтобы говорить о традиции, количества грамматических работ, в которых бы выделялись обе эти единицы, и только они, при этом к ним обеим характеристика «синтаксическая единица» применялась терминологически, просто нет. В русской грамматической науке существует выявленная В. В. Виноградовым традиция установления и исследования синтаксических объектов, которые должны отвечать целому ряду условий: быть собственно лингвистическими, а не логическими или психологическими; описываться через систему правил и закономерностей, т. е. грамматически, а не как «индивиды», т. е. лексикологически; участвовать в построении связной речи; реализовывать заложенные в системе языка синтаксические потенции слова и способы сочетания слов, характерные для данного национального языка. Эти объекты могут терминологически обозначаться как *синтаксические единицы* с двух точек зрения: 1) в определенной понятийной системе, соответствующей уровневой концепции языка, аналогично фонетическим, лексическим, морфологическим единицам; 2) для характеристики содержания синтаксиса как раздела языкознания, включающего учение о синтаксических категориях, отношениях и единицах.

Проблема синтаксической единицы релевантна для науки о языке в контексте более широких проблем статуса предложения и слова как двух основных *языковых единиц* и предикативности как механизма, обеспечивающего коммуникативное функционирование языка.

На примере мифа о двух синтаксических единицах можно выделить следующие общие средства создания научного мифа в учебной и научной литературе:

- 1) случайное или намеренное искажение фактов;
- 2) неоднозначные высказывания (утверждение о том, что *традиционно в русской грамматике выделялись две синтаксические единицы — словосочетание и предложение* — может пониматься двояко: разными учеными выделялась одна из этих единиц или все ученые выделяли обе единицы);
- 3) расширительное понимание слов (*у истоков, развитие идеи* и т. п.);
- 4) манипулирование характеристиками «традиция» и «традиционный»;
- 5) использование адекватных цитат, но с искажением целеполагания и логики научного поиска цитируемого ученого;
- 6) изолированное цитирование одной из редакций источника, претерпевшего изменения в последующих редакциях;
- 7) смешение терминологического и нетерминологического использования слов.

Не является ли обсуждение синтаксических единиц и языковых уровней схоластическим в современной ситуации прагматической ориентированности филологии? Нет, и не только потому, что «исследователь грамматики современного русского языка обязан раскрыть содержание тех грамматических понятий, которые он кладет в основу своего построения», прежде всего понятий центральных — слова и предложения, ибо «если эти центральные понятия сбивчивы, грамматика превращается в каталог внешних форм речи или в отвлеченное описание элементарных логических категорий, обнаруживаемых в языке» [Виноградов 2001 (1947): 13]. Есть и другая причина, выходящая за пределы собственно грамматических штудий. Первая встреча с текстом всегда лингвистическая. На занятиях по русскому языку и культуре речи мы учим студентов-нефилологов различных специальностей читать внимательно и ответственно относиться к слову, в том числе отличать терминологические употребления от нетерминологических, рассматривать термин в историческом контексте и общем контексте взглядов ученого, разделять точку зрения автора и собственную интерпретацию и т.п. Новое поколение филологов также не должно быть лишено необходимых знаний и навыков в области аналитического чтения и толкования научного текста, а воспитание привычки ответственного отношения к научным формулировкам необходимо

не только для развития отечественной лингвистики, но и для ее разумной интеграции в мировое научное поле.

Литература

Анипкина Л. А., Бубнова Н. А., Крылова О. А. Синтаксические сюжеты. Москва: Русский язык, 2016. 240 с.

Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. Москва: Высшая школа, 1977. 248 с.

Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса. Москва: Изд-во МГУ, 1958. 399 с.

Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка) // Вопросы грамматического строя. Москва: Изд-во АН СССР, 1955. С. 389–435.

Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 4-е изд. Москва: Русский язык, 2001. 720 с.

Галкина-Федорук Е. М., Горишкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык: Синтаксис. Москва: Либроком, 2014. 200 с.

Грамматика русского языка. Т. II: Синтаксис. Ч. 1 / Под ред. В. В. Виноградова, Е. С. Истриной. Москва: АН СССР, 1954. 703 с.

Грамматика современного русского литературного языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва: Наука, 1970. 767 с.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. Москва: Наука, 1973. 352 с.

Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. Москва: Наука, 1988. 439 с.

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. 2-е изд. Москва: Наука, 2004. 544 с.

Русская грамматика. Т. 2 / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980. 710 с.

Современный русский язык. Ч. II: Морфология. Синтаксис / Под ред. Е. М. Галкиной-Федорук. Москва: Изд-во МГУ, 1964. 638 с.

Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. Москва: Высшая школа, 1981. 560 с.

Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. Москва: Высшая школа, 1989. 800 с.

References

Anipkina L. A., Bubnova N. A., Krylova O. A. Sintaksicheskie syuzhety. Moscow: Russkij yazyk, 2016. 240 s.

Beloshapkova V. A. Sovremennyy russkij yazyk. Sintaksis. Moscow: Vysshaya shkola, 1977. 248 s.

Vinogradov V. V. Iz istorii izucheniya russkogo sintaksisa. Moscow: Izd-vo MGU, 1958. 399 s.

Vinogradov V. V. Osnovnye voprosy sintaksisa predlozheniya (na materiale russkogo yazyka) // Voprosy grammaticheskogo stroya. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1955. S. 389–435.

Vinogradov V. V. Russkij yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove. 4-e izd. Moscow: Russkij yazyk, 2001. 720 s.

Galkina-Fedoruk E. M., Gorshkova K. V., Shanskij N. M. Sovremennyy russkij yazyk: Sintaksis. Moscow: Librokom, 2014. 200 s.

Grammatika russkogo yazyka. T. II. Sintaksis: Ch. 1 / Pod red. V. V. Vinogradova, E. S. Istrinoy. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1954. 703 s.

Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Pod red. N. Yu. Shvedovoj. Moscow: Nauka, 1970. 767 s.

Zolotova G. A. Oчерк funkcional'nogo sintaksisa russkogo yazyka. Moscow: Nauka, 1973. 352 s.

Zolotova G. A. Sintaksicheskij slovar'. Repertuar ehlementarnyh edinic russkogo sintaksisa. Moscow: Nauka, 1988. 439 s.

Zolotova G. A., Onipenko N. K., Sidorova M. Yu. Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka. 2-e izd. Moscow: Nauka, 2004. 544 s.

Russkaya grammatika. T. 2 / Pod red. N. Yu. Shvedovoj. Moscow: Nauka, 1980. 710 s.

Sovremennyy russkij yazyk. Ch. II: Morfologiya. Sintaksis / Pod red. E. M. Galkinoj-Fedoruk. Moscow: Izd-vo MGU, 1964. 638 s.

Sovremennyy russkij yazyk / Pod red. V. A. Beloshapkovoj. Moscow: Vysshaya shkola, 1981. 560 s.

Sovremennyy russkij yazyk / Pod red. V. A. Beloshapkovoj. Moscow: Vysshaya shkola, 1989. 800 s.

Сведения об авторе: Сидорова Марина Юрьевна; доктор филологических наук; доцент; профессор кафедры русского языка филологического факультета; МГУ имени М. В. Ломоносова; ORCID 0000-0002-0071-3073; sidorovadoma@mail.ru; сфера научных интересов: коммуникативная грамматика русского языка, лингвистический анализ текста, история русской филологической науки, стилистика и культура речи.

The author's profile: Marina Yuryevna Sidorova; Doctor of Philology; Professor; Russian Language Department; Faculty of Linguistics; Moscow Lomonosov State University; ORCID 0000-0002-0071-3073; sidorovadoma@mail.ru; research interests: communicative grammar of Russian language, text analysis, history of Russian linguistics, stylistics and rhetoric.

ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81.276.6

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.14

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕЧИ

PERSONALIZATION AND DEPERSONALIZATION IN LEGAL DISCOURSE

Ольга Юрьевна Авдевинна
Саратовская государственная юридическая академия,
Саратов, Россия

Olga Yuryevna Avdevnina
Saratov State Academy of Law,
Saratov, Russia

Вера Викторовна Девяткина
Саратовская государственная юридическая академия,
Саратов, Россия

Vera Viktorovna Devyatkina
Saratov State Academy of Law,
Saratov, Russia

Аннотация

В статье рассматривается специфика обозначения лиц и функционирования наименований лиц в правовой сфере. Институциональность общения и антропологические представления, отличающие правовое мышление и юридический дискурс, обуславливают своеобразие как первичного обозначения людей, так и вторичного использования, переосмысления наименований лиц. В статье рассматриваются две основные модели вторичной концептуализации категории лица: персонализация — использование антропологической лексики в презентации не лиц или группы неопределенных лиц, и деперсонализация — обозначение людей лексикой неличной семантики.

Ключевые слова: лицо, личность, наименование лица, персонализация, деперсонализация, юридическая речь.

Abstract

Research of how a person is defined in legal discourse is very important due to its connection to the concept of “individual/identity” and anthropological notation in the sphere of law. The reconstruction of the notation is necessary to analyze and interpret legal thinking as well as to comprehend forming and functioning of legal entities naming.

The composition of the article reflects the move of the researchers' thought. The conceptual basement of person naming is considered in the article: the notion of “person”, “individual” and its expression in word usage (functioning of such notions as “legal entity”, “court”, “legislator”, etc.)

The conceptually important for the research notion of “person”, “individual” is firmly defined in philosophy, psychology, science, law, and cognitive linguistics. The characteristics of an individual are: 1) social determinism, existence of will, consciousness, feelings (philosophical and psychological aspects); 2) presence of rights and freedoms, social function of legal entity (legal aspect); 3) socialization of human life, legal causality of an individual and personal endurance (socio-cultural aspect).

There are two main levels that form the notion of individual: primary conceptualization which results in special notation with semantics of person (e.g. “person”, “individual”, “legal entity”, “legislator”) and secondary conceptualization which is the reinterpretation of terms and person definitions.

Personalization is using names of persons to define inanimate objects or abstract notions. Depersonalization is the opposite — defining a person using words with impersonal semantics, which normally do not describe a human being. Deindividualization is defining a person without taking into consideration his or her sex.

Personalization is analyzed based on the notion of ‘legal entity’. It is determined that even during primary conceptualization it is possible to distinguish the signs of animating for the person definition, e.g. when this notion is combined with anthropocentric verbs. Secondary conceptualization is the language game based on straight and implicit reification (I have come to you as a legal entity to a legal entity) and the notion involving into the reflection over interrelation of “legal entity” with specific individuals, their rights and freedoms (After the defendant was disclosed to have no name, the court could not consider him a legal entity any longer and the most correct behavior from the judges was to show surprise, where is the defendant and what are they sitting for?).

Depersonalization and deindividualization are briefly discussed through the examples of the following naming units: “court”, “legislator”, — and other words correlating on gender feature: suitor — suitress.

The research concludes that personalization counterworks the impersonality, common for legal discourse. Personalization is performed by reinterpretation of anthropocentric naming, including “individual”, “identity”.

Key words: individual, identity, person definition, personalization, depersonalization, legal discourse.

Введение. Целью представленного в статье исследования является реконструкция феноменов персонализации и деперсонализации как когнитивных моделей вторичной концептуализации семантической категории лица в юридической речи, а также анализ лексических средств формирования этих моделей. Теоретическим основанием работы служит учение о когнитивном содержании слова, или теория концепта как «константы культуры» (Ю. С. Степанов), позволяющее рассматривать семантику слова не только в речевом, но и социокультурном контексте, в частности, привлекать для описания его семантической структуры понятия и модели картины мира и дискурсивные практики.

Методология. В работе используются методы когнитивного анализа лексических единиц, сложившиеся и апробированные в многочисленных работах зарубежных и отечественных лингвистов: Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А. Вежбицкой, Ю. С. Степанова, Н. Д. Арутюновой, Ю. Д. Апресяна, И. А. Стернина и др.

Учение о концепте предполагает рассмотрение слова как знака некоего культурно закреплённого содержания (концепта), открывающего в семантической структуре слова такие области смысла, которые формируются в результате его социокультурного функционирования за весь период его существования: от происхождения до развития в нём многозначности и формирования традиции многоаспектного его использования. Поэтому когнитивный анализ слова, как правило, включает целый ряд соответствующих исследовательских операций: обращение к этимологии слова — первичному этапу категоризации представлений об обозначаемом объекте, анализ его экстенционала на основе как можно более широкого спектра употреблений (многозначность признаётся одним из главных признаков концептуализации слова), исследование роли данного слова в формировании языковой и / или культурной картины мира. Именно такой анализ (от этимологии, семантики и словоупотреблений к дискурсивной характеристике слова) выводит к реконструкции концепта и предложен Ю. С. Степановым в качестве способа выявления «констант культуры» и «лингвистической философии» [Степанов 2004: 7–8]. Представленное в данной статье исследование ориентировано, главным образом, на это направление когнитивной методологии.

Объектом изучения является функционирование наименований лиц и отдельных лексем, обозначающих человека, в юридической сфере.

Предмет исследования — явления вторичной концептуализации данной лексики, двух ее моделей — персонализации и деперсонализации.

Понятие *персонализации* использовано в работе в значении одного из направлений выражения представлений о человеке и является в некотором смысле терминологической вольностью авторов, поскольку, во-первых, сам термин заимствован из психологии, где он обозначает одно из явлений становления личности, связанное с саморефлексией, и, во-вторых, в когнитивной лингвистике используется смежное понятие *персонификации* [Лакофф, Джонсон], обозначающее представление неодушевленных объектов как антропоцентрических. Понятие *персонификация* вполне может быть использовано и в данном исследовании, но не принято за основное, поскольку традиционно его значение (олицетворение) не экстраполируется на язык в целом, а сводится, как правило, к изучению тропов художественной речи.

Поскольку оба термина: *персонализация* и *персонификация* — имеют общую концептологическую основу — понятие *личность*, в анализе наименований антропоцентрических объектов их можно признать синонимичными. В данной статье под *персонализацией* понимается использование наименований лиц для обозначения неодушевленных объектов и абстрактных понятий. Этой тенденции противостоит *деперсонализация* — обозначение лиц лексикой неличной семантики. К этой тенденции мы относим и *деиндивидуализацию*, проявляющуюся в юридической речи в игнорировании гендерного аспекта обозначения людей.

Материалом исследования являются юридические тексты, извлеченные из ресурсов Национального корпуса русского языка (законы, комментарии к законам, документы юридической сферы, речи судебных ораторов) и другие тексты юридической тематики (материалы СМИ, Интернета).

Основная часть.

1. Представления о личности в языке и праве: общие положения.

Формирование научных представлений о человеке как личности относится, прежде всего, к области философии, психологии и наук социологической направленности. Личность традиционно определяется как «1) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности; 2) индивидуальный носитель этих черт, свободный и ответственный субъект сознательной волевой деятельности» [Кон 1989: 313]. Главными характеристиками личности признаются, таким образом, во-первых, ее связь с обществом, социальная детерминированность формирования и деятельности; во-вторых, наличие и активность таких ее психологических параметров, как воля / свобода выбора, сознание (самосознание, разум) и чувство / эмоции. Забегая вперед, скажем, что именно эти качества (воля, разум, чувство), приписываемые неодушевленным объектам, в числе других качеств, концеп-

туально восходящих к представлениям о человеке, могут служить основанием для вывода о персонализации, или персонификации, этих объектов.

Аспект социальной детерминированности личности и ее участия в общественных отношениях выдвигается в качестве главной характеристики личности и в правовой ее концепции, сложившейся еще в древности, в эпоху римского частного права. В юридическом понятии *личность* (*persona*) изначально выражается «идея универсальной типизированной роли субъекта правоотношения» [Дождев 2006: 279], «той типичной социальной роли, которую правопорядок признает адекватной для соответствующих отношений» [Дождев 2006: 279].

Понятие *persona* (первоначальное значение — «театральная маска») обозначало в римском праве роль человека в том или ином правоотношении или в той или иной юридически значимой ситуации. Поэтому понятие *личности* не совпадало с понятием *человека* и было параметризовано в зависимости от степени участия человека в гражданском обороте (в частноправовых отношениях). Так, у человека могло не быть личности (*Servus persona non habet* — *раб не имеет личности*). Группа людей могла рассматриваться как единая личность: например, члены римской семьи по отношению к главе семьи (*alieni juris* и *persona sui juris*: *лица чужого права* по отношению к *лицу своего права*). Как единая личность рассматривалось и коллективное целое магистрата или колоната (арендаторы колоний), и именно из этого значения возникло понятие *юридического лица*. У одного человека могло быть несколько личностей, если он выступал субъектом многих правоотношений [Дождев 2006: 279]: отсюда возникновение множества юридических терминов римского частного права, использующих слово *persona*.

Уже этот абрис философско-правовых представлений о личности отчасти проливает свет на их концептуализацию в культуре и языке. Рассматривая личность в ряду констант русской культуры, Ю. С. Степанов тоже отмечает, что и в культуре концептуализация человека идет вслед за социальным осмыслением человеческой жизни, но актуализирует и другие ее измерения, выражающиеся в словах *человек*, *личность*, *индивид* [Степанов 2004: 716–717]. Концепт, реконструированный Ю. С. Степановым, двуполярен, и эта его двуполярность обозначена как «Человек. Личность». С полюсом *Человека* связаны, прежде всего, европейские гуманистические представления о свободе, равенстве и братстве, а также представления о земном бытии, отношении человека к миру и Богу и т.д. [Степанов 2004: 718–724]. Но «высшим содержанием концепта», как считает ученый, является полюс *Личности* [Степанов 2004: 718–724], понимаемой как «человек в отношении к обществу» [Степанов 2004: 724]. Определяя этот полюс, Ю. С. Степанов тоже обращает внимание на юридическое значение понятие личности, на своеобразие «социализации концепта» в юри-

дической философии человека. Однако в языке, в русской картине мира, понятие *persona* получило разветвление, выражающееся в возникновении двух вариантов представлений о *личности*, и, помимо представлений о субъекте общественных отношений и юридических прав (см. выше), возникли и укрепились представления об индивидуальности человека, индивиде [Степанов 2004: 735].

В лингвистике понятие *личности* рассматривается в тесной связи и с таким аспектом языковых значений, как «человеческий фактор в языке». Традиционно человеческий фактор в языке трактуется в лингвистических исследованиях двояко: во-первых, как обусловленность формирования языковых значений процессами и условиями человеческого познания (антропологический код языка) и, во-вторых, как обусловленность реализации языковых единиц социокультурными представлениями о человеке (социокультурный код речи). Реконструкция последнего предполагает учет особенностей той или иной сферы общественной коммуникации, культурную детерминированность речи, получившую осмысление в понятии *дискурс*. Именно этот дискурсивный аспект и специфицирует наше исследование: функционирование наименований лиц рассматривается на материале юридической речи, с учетом особенностей юридического дискурса.

Таким образом, можно вести речь о полипарадигмальности представлений о личности в научной картине мира, их формировании в разных парадигмах научного знания: психологии, философии, правоведении, связи этих представлений с концептами культуры и языковой картиной мира.

Персонализация же может быть интерпретирована, с одной стороны, в аспекте актуализации самостийности, автономности человека, его индивидуальных прав и свобод [Авдевина 2018], с другой — с точки зрения экстраполяции свойств и потенциалов человека как субъекта права на предметы или абстрактные понятия (право, закон, общество и т.п.). А деперсонализация может быть понята как такое обозначение человека, которое приравнивает его к неодушевленным объектам, или такое, которое лишает его некоторых индивидуальных черт (деперсонификация).

2. Персонализация, деперсонализация как тенденции словоупотребления юридической лексики.

Поскольку само понятие личности, как было сказано выше, интерпретируется в юриспруденции с точки зрения участия человека в гражданском обороте, естественным является перенос антропологического понятия *лицо* на группу лиц, которая тоже может выступать в качестве субъекта права. Возникает понятие, метонимическое по своей языковой природе (группа называется по одному ее члену), — *юридическое лицо*.

Не рассматривая подробности происхождения этого понятия как термина и его юридическую неоднозначность, обратимся к его функционированию в речи. Анализ материалов Национального корпуса русского языка

(НКРЯ) обнаружил несколько тенденций употребления этого наименования. Прежде всего, достаточно отчетливо разграничиваются два уровня его концептуализации: *первичная концептуализация* — прямое терминологическое обозначение группы лиц (главное значение: «зарегистрированная в установленном законом порядке организация, фирма и т.п., обладающая имуществом, ведущая какую-либо деятельность, имеющая права, обязанности, несущая ответственность» и т.д. и т.п.); и *вторичная концептуализация* — рефлексия на терминологическое значение понятия, его переосмысление в поле тех или иных, чаще всего антропоцентрических, представлений.

В плоскости первичной концептуализации (прямого значения термина) замечено, что номинация *юридическое лицо* употребляется чаще в предикативной, а не субъектной роли (см. теорию имен Н. Д. Арутюновой: о различении и сближении идентифицирующей функции наименования и его роли семантического предиката [Арутюнова 1999: 25–26]).

Смысловая роль наименования (идентифицирующая или предикативная) может зависеть от логико-синтаксической позиции наименования лица: *учитель вошел в класс* (субъектная, идентифицирующая функция наименования), *мой брат — учитель* (предикативная, квалифицирующая, характеризующая его функция). Наименование *юридическое лицо* употребляется, прежде всего, в предикативном значении: зарегистрировать юридическое лицо, учредить юридическое лицо, создать юридическое лицо, ликвидировать юридическое лицо, являться юридическим лицом, перевести в юридическое лицо, существовать как юридическое лицо и т.п. Такое употребление совершенно естественно для реализации того аспекта терминологического значения наименования, которое отражает условия организованности группы лиц, называемой *юридическим лицом*, и документально фиксированный характер ее существования и деятельности.

Само по себе такое употребление понятия *юридическое лицо* о персонализации, конечно, не свидетельствует, но некоторые требования, предъявляемые законом к учреждению юридического лица и некоторые традиции, сложившиеся в этой области, сближают это понятие с антропоцентрическими представлениями. Речь идет, например, о требовании особого названия любого юридического лица: «Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование» (Проблемы правового регулирования использования средств индивидуализации субъектов предпринимательства и результатов их деятельности (2004) // Арбитражный и гражданский процессы. 2004.05.24)¹; «— А с кем вы по Усть-Луге в партнерах? Юридическое лицо ваше как на-

¹ Здесь и далее примеры даны по материалам НКРЯ, выделено нами. — О. А., В. Д.

зывается? — Там нет громких имен, а название... длинное название, заграничное» (А. Кох. «Поэтому в лесу и строим» (2001) // Известия. 2001.12.25). Само требование имени учреждения — это реализация потребности в социальной идентификации, свойственная, в первую очередь, именам антропоцентрическим [Там же].

Широко распространена традиция называния юридического лица как субъекта деятельности, ответственности и права, по именам владельцев: ТЦ «И. Р. Волков», ИЦ «Ю. С. Лахнов» и т.п. Ее тоже можно расценить как тенденцию отождествления юридического лица с конкретным человеком, тенденцию индивидуализации, персонализации деятельности группы лиц.

В поле первичной концептуализации — терминологического употребления понятия — находится и употребление наименования *юридическое лицо* в со- или противопоставлении с *физическим лицом*, или в таком контексте, который имплицитно человека, его частную жизнь, например:

«Под правообладателем в настоящем Законе понимается автор, его наследник, а также *любое физическое или юридическое лицо*, которое обладает исключительным правом на программу для ЭВМ или базу данных в силу закона или договора» (Закон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (1992) // Энциклопедия российского права. Вып. 2 (96). 2004);

«Уголовную ответственность несет только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ, а ЗАО (юридическое лицо) или любое другое предприятие привлекаться к уголовной ответственности и быть осужденным за совершение преступлений не может» (Н. Чумаченко. Арестовали имущество... // Аграрный журнал. 2002.02.15);

«В Самарской области их достаточно много, и не редко в качестве серого дилера выступает не юридическое лицо, а физическое» (В. Штанов. Peugeot на двоих // Дело (Самара). 2002.07.10);

«Поэтому КоАП РФ по-разному подходит к вопросу вины как необходимого элемента состава того или иного административного правонарушения, в зависимости от того, кто выступает его субъектом: физическое либо юридическое лицо» (Административный кодекс и СМИ: точки соприкосновения // Витрина читающей России. 2002.06.28);

«В Испании, Англии, Канаде дом с участком может приобрести любое лицо, а вот в Болгарии и Чехии физлицо может купить только квартиру, а землю — только юридическое лицо» (Э. Гусейнов. Виллами по воде. Французская газета нашла «русскую дачу» // Известия. 2002.06.18);

«Частный заемщик априори находится в более выгодных условиях перед законом, нежели любое юридическое лицо» (А. Каледина. Кредит без риска. Правительство решит, кому можно дать в долг // Известия. 2002.05.28) и т.п.

И даже в ироничном контексте: «Если гражданин или юридическое лицо считает, что в чем-то нарушаются его права, он не должен бить в морду кому-то, извините за непарламентское выражение, а обращается в суд, где решаются вопросы» (Не у дел // Дело (Самара). 2002.07.02). Местоимение *он* — в данном употреблении личное (гражданин) — персоналистически уравнивает человека и юридическое лицо.

Биномное функционирование терминов *физическое лицо* — *юридическое лицо* составляет специфику юридической терминосистемы: юридические термины, как правило, отражают сложный, многоуровневый характер юридически значимого явления, поэтому возникают, а нередко и употребляются в парах или рядах смежных терминологических понятий, как и в случае с понятием личности (см. выше).

Вторичная концептуализация наименования *юридическое лицо* так же неоднородна. Во-первых, в переосмыслении термина фиксируются те потенции, которые научная картина мира выделяет в личности как таковой: из триединства «воля — разум — чувство» (см. выше) актуализируются модусы воли / свободы, понимаемой как сознательная деятельность, и разума — самостоятельности решений.

Так, нами отмечается активность употреблений типа: *юридическое лицо* ведет строительство, приобретает имущество, выступает в суде, принимает решения, спорит, заявляет о себе, отказывается платить, выполняет требования, ищет рынки сбыта, планирует деятельность, подает заявки, платит штраф, инициирует судебное разбирательство, оказывает услуги связи, заинтересовано, исполняет закон и т.д. и т.п.

Эта роль логического субъекта при глаголе активного действия связана с олицетворением как феноменом общезыковым. Этот эффект антропоцентризма активных глаголов — формирования представлений о том, что неодушевленные деятели при этих глаголах уподобляются человеку (*машина едет, ветер шумит*) — отмечал Р. О. Якобсон в анализе глагольных грамматических форм [Якобсон 1985]. Активность действий в языковой картине мира отличается, прежде всего, человека. Поэтому употребление наименования *юридическое лицо* с обозначениями активных действий актуализируют внутреннюю форму этой номинации — понятие *лицо*, относящееся к человеку.

И, во-вторых, выделяется и более высокая ступень вторичной концептуализации наименования в плоскости персонализации объекта обозначения: использование понятия *юридическое лицо* в художественных и публицистических текстах в языковой игре, оживляющей его связь с понятием *лицо* — «человек».

Хотя функционирование этой номинации должно быть ограничено ее терминологическим характером и институциональностью юридического дискурса, отдельные ее употребления в ироническом контексте

имплицитно указание на конкретного человека: «Мы вправе и даже обязаны допустить, что юридическое лицо не прикасается к алкоголю» (С. Гедройц. Фигль-Мигль. Характеры. Сочинения Елены Шварц; Роман Смирнов. Люди, львы, орлы и куропатки; В. Войнович. Портрет на фоне мифа // Звезда. 2003).

К вторичной концептуализации относится и прямое олицетворение со сложными семантическими связями: *юридическое лицо* выступает как средство персонализации, актуализируя из всех своих семантических компонентов, прежде всего, сему «лицо»:

«Юридическое лицо — планета Земля — является и собственником своей же поверхности, и поэтому столь же естественно (во всех смыслах: и логично, и по естеству) решается вопрос о земле — не собственность, отчуждаемая у другого юридического лица, а аренда у собственника независимо от длительности» (Ресурсы не бесконечны. Они любят бережливых // Строительство. 2003.05.26);

«Любое государство — это всегда противоестественное “юридическое лицо”, обслуживаемое безликими чиновниками, запрограммированными, как роботы, политическим регламентом, последовательно вытекающим из изобретенного людьми публичного права: “конституционного”, “международного” и т. д.» (Х.-А. Нухаев. Россия и Чечения: мир по формуле «Победа — Победа» // Звезда. 2002).

Прием прямого олицетворения может быть построен на непосредственном отождествлении понятия с конкретным лицом, например, через отнесенность с личным местоимением:

«— У нас ведь налоговая политика такова: если пионер Вася сдал макулатуру, а ты — юридическое лицо, фирма, то должен папе и маме пионера Васи предоставить справку о том, что он сдал старые газеты и получил 10 рублей» (Е. Чинарова. Бумажная проблема. Можно ли заработать на макулатуре? // Бизнес-журнал. 2004.02.13);

«Я пришел к вам как *юридическое лицо к юридическому лицу*» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок (1931)); «Это я говорю вам как *юридическое лицо юридическому лицу*» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок (1931)).

Особым средством языковой игры по линии персонализации понятия является трансформация устойчивых употреблений со словом *лицо* с заменой его на номинацию *юридическое лицо*: *придать лицо, обрести лицо, сменить лицо, лицо в лице*:

«Для этого он своему кооперативу придал надлежащее юридическое лицо: создал компанию, точнее, закрытое акционерное общество — “КБ-Импульс”, чтобы легче было вступать в самостоятельные экономические отношения, прежде всего с фирмой Фабелы» (Г. Горелик. Наука и жизнь российского предпринимателя: Рождение дела // Знание — сила. 2003); «Помимо внутреннего убранства, Дому музыки еще только предстоит об-

рести и свое юридическое лицо» (Будет ли разворочен Красный холм? (2002) // Культура. 2002.04.08); «В соответствии с этим принципом только само юридическое лицо в лице органов, уполномоченных выступать от его имени, должно иметь право на защиту своих нарушенных прав и законных интересов» (Производные иски в России и за рубежом // Арбитражный и гражданский процессы. 2003.03.24) и т.д.

Наконец, отмечается и рефлексия на само понятие *юридическое лицо* с эффектом персонализации группы людей и, наоборот, деперсонализации конкретного человека; такой рефлексией отличаются, главным образом, тексты выразительные, например, публицистические произведения или судебные речи:

«Деревенская община — юридическое лицо. Она думает на сходке, и, по условиям юридического лица, она иначе не может думать, как вслух и речами» (Ф. Н. Плевако. Речь в защиту Люторических крестьян (1880));

«Подумайте над этим явлением. Толпа — это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14 и 15-й томы делают ей честь, внося ее имя на свои страницы» (Ф. Н. Плевако. Речь на суде по делу рабочих Коншинской фабрики (1897));

«...Вы все-таки должны будете сознаться, что перед вами стоит *не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убеждения и понимать* силу и последствия своих поступков» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Итоги (1871));

«Конечно, этот способ совершенно новый, но он имеет полное юридическое и нравственное значение, ибо это не показания отдельных лиц, а свидетельство целого сословия, действующего как юридическое лицо (да еще присягнувшего вдобавок)» (И. С. Аксаков. Письма родным (1849–1856));

«*Хозяин-личность и хозяин-общество* — вот те два единства, к которым человеческая мысль в своей эмпирической обращенности может приурочивать хозяйское ценение (причем хозяин-общество должен мыслиться здесь как “идеальный” сверхличный носитель хозяйского ценения, а не “юридическое лицо” гражданского права)» (П. Н. Савицкий. Континент Евразия (1916–1968));

«После того, как обнаружилось у подсудимого отсутствие имени, он стал невиден трибуналу как юридическое лицо, и наиболее правильным со стороны судей было бы сделать жест удивления, где же подсудимый и ради чего они заседают?» (П. А. Флоренский. Имена (1926)).

Как видим, любое направление языковой игры ориентировано на актуализацию еще одной очень важной для номинации *юридическое лицо* семантической компоненты — представления о наличии неотъемлемых прав: или равных правам человека (в случае с олицетворением), или фиксированных законом (в случае с группой людей или отдельными лицами),

или нефиксированных, но естественных человеческих, присущих и группе людей как сообществу и каждому, кто входит в это сообщество, прав, с которыми необходимо считаться и которые необходимо соблюдать. Само использование в таких контекстах строгого и достаточно определенного юридического понятия помогает актуализировать смыслы, связанные с концептом *закон* (законность, справедливость), важные для контекстов.

Таким образом, анализ функционирования наименования *юридическое лицо* по линии персонализации объекта обозначения помог выявить слои правового концепта *лицо / личность*. Несмотря на то что номинация носит строго терминологический характер, в ее употреблении сильна тенденция к постоянному ее возвращению в поле понятия *лицо* — человек. Значение «лицо, человек» можно признать основой названного концепта личности, главным ее смысловым ярусом.

Языковая игра и рефлексия на понятие *юридическое лицо* обнаруживает и смысловой слой, связанный непосредственно с правовым мышлением и юридическим дискурсом — это представления о юридических и естественных правах, которые должно признавать и охранять. При всех этих процессах активизации одних смыслов концепта нейтрализуются другие. Так, сдвигаются в пассив концепта, являются несущественными для вторичной концептуализации номинации *юридическое лицо* такие значения, как «фиксация в документах», «наличие обязанностей», «ответственность», «организованность» и т.п., характерные для юридического толкования понятия.

Противоположной тенденцией выражения антропоцентрических представлений является деперсонализация субъектов тех или иных юридических действий. К ней можно отнести, например, наименование конкретного лица или конкретных лиц словом, обозначающим процесс, действия. В языке такое явление метонимического переноса с действия на человека / людей отмечается нечасто, и относятся эти примеры к юридической речи: *обвинение, защита, суд* (Слово представляется *обвинению*! *Защите* есть что сказать? *Суд* постановил, *суд* полагает, *суд* рассмотрел и т.п.).

Говоря о семантическом, типологическом и концептуальном многообразии наименований человека, Н. Д. Арутюнова писала: «Социальные и иные функции наносят губительный удар единству человеческой личности, расщепляя ее на ряд номинатов. Меняя свои роли, маски и имиджи, следуя разным моделям поведения, совершая множество разнообразных действий и поступков, человек в своих разнонаправленных проявлениях становится референтом функциональных, реляционных и других имен, и, хотя они имеют статус семантических предикатов, т.е. обозначают признаки, роли, действия лица, его отношение к другим лицам, многие из них регулярно выполняют в предложении идентифицирующую функцию и постепенно втягиваются в зону идентифицирующих имен, приближаясь

к ним по характеру своего значения» [Арутюнова 1999: 26]. Уже в этой общей оценке обозначения лиц можно усмотреть признание некоего расщепления представлений о личности и индивидуальности, имеющего место даже в наименованиях лиц, что уж говорить о тех номинациях, которые по своей языковой природе наименованиями лиц не являются.

Так, у слова *суд*, которое нередко приравнивается к наименованию *судья* или обозначает группу судей, словарь фиксирует многозначность. В числе значений этого слова: 1) мнение, суждение; 2) государственный орган, помещение, судьи; 3) разбирательство дел, вины; судебное заседание; общественный орган (товарищеский суд) [Словарь русского языка 1988]. Как видим, в качестве устоявшегося словарь выделяет собирательное, антропоцентрическое значение «судьи», но не дает персоналистического значения «судья» — один конкретный человек, личность.

Слово *суд* в знаменитой ритуальной фразе *Встать, суд идет!* может быть понято и как *идет* «процесс судебного заседания» и как *входит* судья (судьи), *начинается заседание*.

По признанию самих судей — слушателей курсов повышения квалификации, в документном оформлении судебных решений, судья, участвовавший в рассмотрении дела единолично (*суд в составе...* одного судьи), испытывает противоречивые чувства относительно самопрезентации собственной индивидуальности. Так, согласно требованиям к оформлению таких документов, он не может писать о себе в 1-м лице: *я рассмотрел, постановил...* или даже в 3-м лице: *судья И. И. Иванов рассмотрел, постановил...*, но только: *суд рассмотрел, постановил*.

Конкретный человек подменяется функцией, поэтому даже вне документных текстов распространено обозначение конкретного лица собирательным *суд* или даже локативом: *Тверской суд г. Москвы* снял с них все обвинения, *Арбитражный суд Иркутской области* признал решение налогового органа незаконным и т.п.

Такая же ситуация и в правотворчестве: конкретные лица, составляющие законы, конкретные авторы текстов законов обозначаются обобщенным понятием *законодатель*, которое, наряду с понятием *юридическое лицо*, тоже активно участвует в персонализации / деперсонализации участников юридических процессов. Но его значение менее определено: слово может подразумевать не только авторов законных актов, но и авторов идей, правовых инициатив, и правительство, принимающее законы, и саму правовую идею, некий правовой принцип и т.д. — нечто надличное, надындивидуальное, обозначенное антропоцентрическим понятием *законодатель*. Объем статьи, к сожалению, не позволяет нам остановиться на анализе функционирования этого понятия более подробно.

Сами юристы признают персоналистическую неопределенность законодательной деятельности: «Правотворчество обезличено. Это якобы

всегда результат “коллективного творчества”. Но ведь в большинстве правотворческих ситуаций это не так — всегда есть авторы идей и концепций законов. Но затем они “исчезают”, “растворяются” в среде рабочих групп, экспертов, депутатском корпусе и подписи компетентного должностного лица» [Баранов: 16]. Несмотря на то что низкая степень субъективности как специфика юридической и деловой речи в стилистике общепризнанна, нельзя не отметить потребности «в человеке» (*человека не имам*), которая, так или иначе, проступает в разных формах персонализации или в такой вот рефлексии самих юристов на безличность словесного творчества в юридической сфере.

Возвращаясь к явлению деперсонализации, отметим, что ее особым аспектом является игнорирование такого фактора человеческой индивидуальности, как принадлежность мужскому или женскому полу. До определенного периода становления культуры гендерный фактор не считался социально значимым в большинстве областей общественных отношений, тем более в праве. «Право воспринимает субъекта прав и обязанностей в его внешних социально значимых проявлениях, абстрагируясь от особенностей, которые полагает несущественными» [Дождев 2006: 279]. К таким «несущественным» признакам человеческой личности половая характеристика отнесена в первую очередь. Отсюда возникновение в правовой сфере множества антропологических наименований, «мужских», по своей грамматической оформленности, но «бесполых» — по семантическому содержанию и употреблению: *полицейский, судебный исполнитель, милиционер, судья, судебный пристав, адвокат, прокурор, следователь* и т.д. Особенности презентации в этой лексике правового мышления и концептуализации представлений о человеке и других социокультурных кодов проанализированы в работе [Авдеевнина, Девяткина 2017].

Нами, в частности, отмечалось, что употребление в юридической речи первичных, «мужских» форм преобладает даже в тех случаях, когда существует альтернатива: наличествуют номинации женской формы: *истец — истица, ответчик — ответчица, свидетель — свидетельница* и т.п. (согласно словарю, женские наименования тоже принадлежат юридической речи). В качестве аргумента такого неразличения номинаций юристы приводят положения процессуальных кодексов, использующих только мужскую форму. Налицо неразличение не столько самих наименований, сколько самих функций обозначения человека: *идентифицирующей*, когда необходимо подчеркнуть индивидуальность, в том числе и пол человека — *истица, ответчица, и предикатной*, т.е. квалифицирующей, характеризующей, определяющей роль человека в данной ситуации (*в качестве истца, выступает истцом, ответчиком*), что можно расценить как формальное отношение и к языку, разнообразию его средств, и к человеку, которое,

к сожалению, сегодня отличает не только юридическую речь, но и юридический дискурс в целом.

Выводы. Процессы персонализации / деперсонализации являются важнейшим модусом правового мышления и концептуализации отношения к человеку в праве. Тенденции формализации представлений о личности, стремления свести их к правам и обязанностям, проявляющейся, например, в такой номинации, как *юридическое лицо*, устойчиво противостоит «поиск человека»; подобно тому как в некоторой симметрии неодушевленного предмета, расположении на нем пятен и линий, наш глаз частенько ищет контуры человеческого лица или силуэт человеческого тела. Безличность, характерная для юридической речи, преодолевается вторичной концептуализацией юридических понятий по линии персонализации — оживления представлений о конкретности и индивидуальности человека. Немало этому способствует сама номинативная лексика, например, понятие *лицо*, входящее в состав термина.

В заключение можно отметить, что амбивалентность отношения к человеку в праве (человек / *persona*), не только отличает словоупотребление (обозначение человека, обращение и т.п.), но и нередко определяет коллизии юридических ситуаций: при составлении документов и даже в рассмотрении и разрешении судебных дел.

Литература

Авдевина О. Ю. Антропологические аспекты семантики лексемы *дело* // Русская речевая культура и текст: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 25-летию кафедры русского языка (Томск, 17–18 мая 2018 г.) / Под ред. проф. Н. С. Болотновой. Томск: Томский ЦНТИ, 2018. С. 91–197.

Авдевина О. Ю., Девяткина В. В. Истец *vs* истица: языковые нормы и социокультурные коды наименования лиц в юридическом дискурсе // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 2. С. 234–244.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры, 1999. 896 с.

Баранов В. М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 6. С. 16–29.

Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсисянца. Москва: Норма, 2006. 784 с.

Кон И. С. Личность // Философский энциклопедический словарь. / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. Москва: Советская энциклопедия, 1989. С. 313–315.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Национальный корпус русского языка URL: <http://www.ruscorpora.ru> (НКРЯ).

Словарь русского языка. В 4 т. Т. IV / Гл. редактор А. П. Евгеньева. Москва: Русский язык, 1988. 796 с.

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. Москва: Академический Проект, 2004. 992 с.

Якобсон Р. О. Избранные работы. Москва: Прогресс, 1985. 460 с.

References

Avdevnina O. Yu. Antropologicheskie aspekty` semantiki leksemy` delo // Russkaya rechevaya kul`tura i tekst: Materialy` X Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashhennoj 25-letiyu kafedry` russkogo yazy`ka (Tomsk, 17–18 maya 2018 g.) / Pod red. prof. N. S. Bolotnovoj. Tomsk: Tomskij CzNTI, 2018. S. 91–197.

Avdevnina O. Yu., Devyatkina V. V. Istecz vs isticza: yazy`kovy`e normy` i sociokul`turny`e kody` naimenovaniya licz v yuridicheskom diskurse // Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoy akademii. 2017. № 2. S. 234–244.

Arutyunova N. D. Yazy`k i mir cheloveka. Moskva: Yazy`ki russkoj kul`tury`, 1999. 896 s.

Baranov V. M. Normorajter kak professiya // Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoy akademii. 2017. № 6. S. 16–29.

Dozhdev D. V. Rimskoe chastnoe pravo: Uchebnik dlya vuzov / Pod obshh. red. akad. RAN, d.yu.n., prof. V. S. Nersesyancza. Moskva: Norma, 2006. 784 s.

Kon I. S. Lichnost` // Filosofskij e`nciklopedicheskij slovar`. / Redkol.: S. S. Averincev, E`A. Arab-Ogly`, L. F. Il'ichev i dr. Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya, 1989. S. 313–315.

Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory`, kotory`mi my` zhivem. Moskva: Editorial URSS, 2004. 256 s.

Nacional`nyj korpus russkogo yazy`ka URL: <http://www.ruscorpora.ru> (НКРЯ).

Slovar` russkogo yazy`ka. V 4 t. Т. IV / Gl. redaktor A. P. Evgen`eva. Moskva: Russkij yazy`k, 1988. 796 s.

Stepanov Yu. S. Konstanty`: slovar` russkoj kul`tury`. Moskva: Akademicheskij Proekt, 2004. 992 s.

Yakobson R. O. Izbranny`e raboty`. Moskva: Progress, 1985. 460 s.

Сведения об авторах:

Ольга Юрьевна Авдевина; доктор филологических наук; доцент; профессор кафедры русского языка и культуры речи; ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия»; ORCID 0000-0002-2239-3285; olga.rosauz@gmail.com; сфера научных интересов: русский язык в профессиональной речи, теория языковой нормы, социолингвистика, грамматика слова, текст.

Вера Викторовна Девяткина; кандидат филологических наук; доцент; доцент кафедры русского языка и культуры речи; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; ORCID 0000-0003-4502-7250; v.devyatkina@mail.ru; сфера научных интересов: судебная речь, русский язык в юридической речи, социолингвистика, стилистика, риторика.

The authors' profiles:

Olga Yurievna Avdenina; Doctor of Philology; Associate Professor; Professor at the Department of Russian Language and Rhetoric; Saratov State Law Academy; ORCID 0000-0002-2239-3285; olga.rosauz@gmail.com; research interests: Russian language and professional jargon, theory of language norms, sociolinguistics, grammar, text.

Vera Viktorovna Devyatkina; Candidate of Philology; Associate Professor; Associate Professor of Russian Language and Rhetoric; Saratov State Law Academy; ORCID 0000-0003-4502-7250; v.devyatkina@mail.ru; research interests: judicial speech, Russian language and legal speech, sociolinguistics, style, rhetoric.

УДК 81'28

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.15

**ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
ДИАЛЕКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ БРАННЫХ НОМИНАЦИЙ
ЖЕНЩИН)**

**GENDER STEREOTYPES IN DIALECTAL
COMMUNICATION
(BASED ON SELECTED WOMEN'S NOMINATIONS)**

Людмила Витальевна Маркина
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Lyudmila Vitalyevna Markina
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

В статье на материале диалектных бранных номинаций женщин, их содержательных характеристик и семантических особенностей анализируются гендерные стереотипные представления о женщине, бытующие в современных русских говорах, а также предпосылки таких представлений как отражение системы национальных ценностей.

Ключевые слова: стереотип, бранная (инвективная) номинация, диалектная коммуникация, семантика, менталитет, система ценностей, гендер.

Abstract

The purpose of the article is to describe some gender stereotypes which exist in modern Russian dialects and the factors contributing to them being traditional, reflecting the system of national values, and therefore steady and viable. In the research we rely on the analysis of the content semantics of dialectal abusive designations of women.

The methodological basis of the research is the concept of a gender as a socio-cultural construct, presented in works by a Russian genderologist A. V. Kirilina. Gender stereotypes are understood as culturally and socially caused opinions and presupposition on qualities, attributes and standards of behavior of the

representatives of both sexes. Gender stereotyping is noted at all levels of the language, as well as its close connection with the forms of evaluation.

The main part of the paper focuses on the dialectal abusive nominations of women which prove and explain the indisputable for the Russian collective consciousness idea of a woman being less valuable than a man, even doubting her status as a person. These are the abusive nominations indicating limited intellectual abilities of a woman: imbecility, stupidity, slow-wittedness, dullness (толкушка / *tolkushka*, тулпеха / *tulpyokha*, тумашка / *tukmashka*, etc.); her natural negative traits: tendency to gossip (калитотиха / *kalitotikha*, лепетуха / *lepetukha*, любопытница / *lyubopytnitsa*, ляпалка / *lyapalka*, etc.), peevishness, cantankerousness, scandalousness (мельчиха / *melchikha*, мерлушка / *merlushka*, etc.), tendency to idle talk: (толкушка / *tolkushka*, турурушка / *tururushka*, чикалка / *chikalka*, etc.), those are the traits that exclude a woman from all fields of activity, except housekeeping and childbirth. The abusive nominations in this case are means of punishment for bearers of those traits which do not correspond to the serving nature of female's work: sluggishness (трекша / *treksha*, рахля / *rakhlya*, etc.), slackness (разлемзя / *razlemzya*, тухня / *tyukhnaya*, etc.), laziness (околотница / *okolotnitsa*, клушка / *klushka*, легостайка / *legostayka*, etc.), incompetent (акуля / *akulya*, варакуша / *varakusha*, гатила / *gatila*, etc.), sloppy, careless (простыня / *prostynya*, простодыра / *prostodyra*, раздаваха / *razdavakha*, расташиха / *rastashchikha*).

The author comes to a conclusion that the dialectal abusive nominations serve patriarchal gender stereotypic ideas of a woman and her status and specifics of national and cultural consciousness of carriers of a dialect, which are in the mediated way of reflection of valuable reference points have strong roots in national public consciousness that promote their continuous reproduction.

Key words: abusive vocabulary, dialectal communication, negative estimation, semantics, mentality, system of values, gender.

Введение. Целью статьи является изучение гендерных стереотипов, бытующих в современных русских говорах, и описание предпосылок к их квалификации как традиционных, отражающих систему национальных ценностей и вследствие этого устойчивых и жизнеспособных, с опорой на содержательные характеристики и семантику диалектных бранных обозначений женщин.

Методология. Методологической основой работы является концепция гендера как социокультурного конструкта, представленная в работах А. В. Кирилиной [Кирилина 1999]. В отечественной лингвистике в настоящее время остается недостаточно изученной проблема гендерных стереотипов, отсутствует единая методологическая база, а также единый понятийный аппарат. Из множества существующих определений данного понятия наиболее приемлемым мы сочли определение А. В. Кирилиной,

понимающей под гендерными стереотипами культурно и социально обусловленные мнения и presuppositions о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов, отмечающей отражение гендерной стереотипизации на всех уровнях языка, а также ее тесную связь с формами выражения оценки в языке [Кирилина 2002: 98].

Поскольку гендерные стереотипы фиксируются в языке, язык связан с ними, эти стереотипы могут быть проявлены, эксплицированы путем анализа различных языковых единиц, в частности бранных номинаций. Бранные слова и характеристики являются действенным средством «наказания» человека социумом за нарушение различного рода оценочных стереотипных предписаний, декларируемых данным социумом, в том числе и гендерных, давая тем самым представление о специфике восприятия гендера. Бранные слова и характеристики в свой адрес человек переживает весьма болезненно, что понуждает его корректировать поведение согласно стереотипным ожиданиям в данном сообществе.

В работе используется понятие *бранная лексика*, в понимании которой мы опираемся на определение И. А. Стернина, считающего, что бранная лексика «содержит резкую обобщенную неодобрительную оценку объекта номинации — лица, явления, предмета. Применительно к человеку она может употребляться с намерением оскорбить или унижить адресата, а может использоваться и без такого намерения, использоваться безадресно, для спонтанного выброса эмоций, для характеристики некоего лица для себя или партнеров по коммуникации» [Стернин и др.: 2013].

Источником фактического материала для наших наблюдений послужила русская диалектная речь — записи высказываний носителей русских говоров средней полосы России, относящиеся ко второй половине XX века, собранные в результате многолетней работы по обследованию говоров русских населенных пунктов на территории современной Республики Мордовия и послужившие иллюстративным материалом для «Словаря русских говоров на территории Мордовской АССР» (с 2001 г. «Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия»), в сборе материала для которого и в создании которого принимал участие автор. Иллюстрации записаны в упрощенной фонетической транскрипции. Подробнее о фонетической транскрипции, а также фонетических и морфологических особенностях русских говоров на территории современной Республики Мордовия см.: [Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР: 8–10].

Основная часть. Базовой идеей, лежащей в основе гендерных стереотипов в русских говорах, является идея меньшей ценности женщины по сравнению с мужчиной, вплоть до сомнения в ее статусе как человека. Эта идея, как представляется, является неоспоримой для русского коллективного сознания. Она транслируется в пословицах и поговорках, где озвучивается мысль о неполной принадлежности женщины к категории

«человек» («Кобыла не лошадь, баба не человек»; «Курица не птица, баба не человек»; «Я думал, идут двое, ан мужик с бабой»; «Курице не быть петухом, а бабе мужиком»); присутствует в фольклоре, где в тексте частушки, например, прямо называется разная «цена» мужчине и женщине («Девки стоят три копейки, а ребята стоят рупь. Как задумают жениться — трехкопеешных берут»); отражена в обиходе, когда по негласному правилу (в советском прошлом, в частности) при выписке младенца из роддома медсестре давали 10 рублей, если это мальчик, и 5 рублей, если — девочка. В народе мужчину, у которого рождаются дочери, называют *бракоделом* и т.д.

Эта идея жидется на бытующих в социуме гендерных представлениях о природной неравноценности интеллектуальных, психологических, моральных, поведенческих и др. личностных качеств, присущих мужчине и женщине: приписываемые мужчинам качества признаются эталонными, нормативными, а женщинам — второсортными, маргинальными.

За женщиной не признается интеллект, равный мужскому, в лучшем случае женский ум квалифицируется как ограниченный, неполноценный. Слабый и нелогичный женский ум противопоставлен эталонным мужскому уму и логике. Известны понятия *мужской ум* (со знаком плюс, поскольку это качество полноценного человека) в противоположность *женскому* (со знаком минус как относящегося к существу с более низким статусом), а также *женская* (непредсказуемая) *логика*.

Так, пословицы утверждают: «Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца»; «Волос долог, да ум короток».

Подвергается сомнению сама способность женщины к интеллектуальной деятельности — способность оценивать, догадываться, помнить и т.д. Недалекость женского ума, его ущербность транслируется в говорах бранными номинациями с семантикой *глупость, бестолковость, несообразительность, недогадливость, тупость*.

Очевидно, не является случайным факт, что в рассматриваемых говорах группа номинаций с подобной семантикой, относящихся исключительно к женщинам (*толкушка, тулпёха, тукмашка, феёна, чулидинька, шалашка* и др.), в количественном отношении значительно преобладает над номинациями, негативно оценивающими по данному признаку мужчин (*толмак, тумак, тупяк, талагай, шалай*). Примеры: «Уш больнь ана *талкушкь* / ничяво ни пьнимат»; «Чё глаза вылупить / *чулидинькь*»; «Эх ты, *фиень*, што тебе ни жывёцц как люди жывут»; «Дефкь-ть ана *тукмашкь*, а их ни любят»; «Ну што ты за *толмь* такая, ничяво ни пьнимаш, што тебе гьварят»; «Вы смиётись ньда мной, думьти, вот старухь как *шалашкь*».

Неполноценность женского интеллекта, недальновидность, нелогичность объясняют такие разнообразные и по гендерным представлениям чисто женские негативные качества, как склонность сплетничать (*калитотиха, лепетуха, любопытница, ляпалка, лясилка, хобутовка, хобутня, шеп-*

туха, шушукалка и др.); ворчливость, вздорность, скандальность (*мельчиха, мерлушка, щетка, яганка*); склонность к пустословию: (*толкушка, турурушка, чикалка, шебала, шишига* и др.) Бранные номинации с подобной семантикой, относящиеся к мужчинам, в нашем материале не представлены. Примеры: «Тёща у нас *хъбутня*, ходит пь сялу сплетничит / нъдаель уш»; «Ты с этэй *шушукълкэй* ни водись больнь-ть / врас пь сёлу ръзнесёт»; «Сасеткь у миня *шаптухъ*, скажы чяво ей, фсё сяло узнат».

«С Аннушкэй луццъ ни вяжысь / уж больнь ана *мильцыхъ* / ис фсякэй йирунды ругаццъ»; «Ну уш и сама ана *щёткъ* была, как змия».

«Дефкь у нас пыгъварить любит, суща *талкушкъ*»; «Она ни *шъбала* кака нъ речах / а то вить есть люди нёсут не знай чово»; «Пат старьсть фсе асти-пиняццъ / ис *шълаболки* в малчюнью привратильсь»; «Полькь вон балтат фсю жызнъ, вот ы завут иё *чыкалкэй*».

Существующее согласно сложившимся гендерным стереотипам интеллектуальное, нравственное превосходство мужчин, а также свойственная им бóльшая физическая сила обуславливает в патриархальном общественном сознании их доминантное положение в социуме, а стереотипное представление о женщине как существе со слабым умом, с часто неразумным и нелогичным вследствие этого поведением, присущими ей природными негативными качествами, физически более слабым и в целом неполноценным исключает ее практически из всех сфер деятельности. В силу ее природных возможностей женская деятельность ограничивается семьей, где женщина выполняет роль работницы и матери, ведет домашнее хозяйство. Без мужа женщина не имеет самостоятельной ценности, не может стать полноправным членом общества. См.: «Дурица ты Нинка / зацэм ръзашлсь / цай какой ни на есь сё мужык / а типерь как нигарожъный сток вить».

Жизненное пространство женщины, таким образом, крайне ограничено: «*Бабья дорога от печи до порога*».

Уклонение от предписанного традиционными русскими гендерными стереотипами предназначения грозило женщине участью старой девы (возраст после 22–23 лет), что в обществе стигматизировано. Старые девы считались ущербными существами, моральными уродами и лишены были многих прав, должны были носить *смирненную одежду*, ходить только в платке, а не в женском головном уборе, заплетать одну косу, не могли наряжаться, носить украшения, ходить на гулянья, свадьбы, принимать участие в праздничных развлечениях и т.д. Про них говорили, что они «смущают семью». Неисполнение старыми девами своего природного предназначения не только подлежало осуждению, но и должно было быть исправлено: похороны старой девы оформлялись как свадебный обряд, ее одевали в наряд невесты, подбирали «жениха», чтобы на том свете она все же могла вести семейную жизнь (подробнее о статусе старой девы

см., например [Мухина 2012]). Для женщины, таким образом, самый плохой жених был предпочтительнее участи остаться незамужней.

Негативное пренебрежительно-оскорбительное отношение к старым девам отражено в хорошо развитой синонимической системе их диалектных бранных номинаций: *седая макушка, вековуха, вековешка, вековушка, векша, браковка, непокрытая голова, старочка, старица, старина, перестарка, домовуха, однокосая и др.*: «Вот мы и астались *векишми* фсе три сестры. Этъ уш ва зле *векишми* нъзывают»; «У нас ф пароди нет *викавушкѣх*»; «У нас тут *стариц* многъ, так ы живут адни»; «А вон ф том доми живут у нас *старѣчки* — умоленные старушки».

Бранных номинаций мужчин, не вступивших в брак, в нашем материале не встретилось.

Диалектные стереотипные представления о положении женщины в семье, ее обязанностях, поведении обусловлены системой национальных ценностей.

В семье женщине предписывается подчиненная роль. Пословицы гласят: «Знай, баба, свое кривое веретено!», «Знай сверчок свой шесток!», «Худо мужу тому, у которого жена бóльшая в доме», «Жене волю дать — добра не видать». Мужчине дается право распоряжаться женщиной, например, «учить» жену: «Жена виновата искони бе», «Бабий быт — завсе бит», «Бей жену обухом, припади да понюхай: дышит да морочит, еще хочет».

Примечательно, что для носительниц говоров (и это уже во второй половине XX в.!) побои мужа — это обыденность, в которой она проявляет готовность существовать, принятие как должных, естественных и необходимых неравноправных семейных ролей, своего подчиненного положения, домашнего насилия, которое не осуждается: «Изгадит он бабу сваю, бѣёт чем попѣдя»; «Андрей свою жану сафсем испилатил, кака ана худуша дѣ в синяках»; «Миня мужык испилатил, как што — дирѣцѣ. Рука да сих пор ломит, как он мне иѣ пѣварнул»; «Мужык-тѣ у миня благой. Как на-пѣцѣ, так ы нѣчынат узѣрывать, дирѣцѣ»; «Пьяный придѣт, зѣтрелюдицѣ над бабѣй-тѣ»; «Мой старик гразицѣ миня рѣзывать. Я и убижалѣ».

Муж является хозяином положения, он кормилец. Вклад жены в общее хозяйство социально значимым практически не признавался (не осознавался?). Так, например, можно отметить буквально единичные пословицы, которые все-таки его отмечают: «Муж возом не навозит, что жена горшком наносит»; «Не столько муж мешком, сколько жена горшком» (сберегает, приносит в дом).

Традиционные гендерные представления предполагают, что сфера женской деятельности — ведение домашнего хозяйства и рождение детей, а женский труд в силу несамостоятельности женщины и ее полной зависимости от мужа носит исключительно обслуживающий, исполнительский характер: «Такая у ниѣ фсегда кить, замучылѣсь токѣ с уборкѣй

одной. Ни успеват убирать за фсеми. Рази тут хорошг будиш? Фсё время ф кити, вздохнуть некъда».

Обслуживающий характер женского труда предполагает нежелательность, неодобрение и осуждение ряда качеств, наличие которых «наказывается» негативной номинацией: нерасторопность (*трекша, рахля* и др.), вялость (*разлемзя, тюхня* и др.), леность (*околотница, клушка, легостайка, леница, трупёрда, шмара, хлыстовка* и др.), неумелость (*акуля, варакуша, гатила, фефёла, шопря, шавыря* и др.), нерачительность, бесхозяйственность (*простыня, простодыра, раздаваха, растащиха* и др.). Примеры:

«Эть *рахля* уш ни пьтаропищъ»; «Эх ты и *трёкиш*, палдня с печью возисси».

«Еть *тюхня* къчитка никак ни събирёщъ купить».

«Така *уколотница*! Весь день пръсидит и зъ водой не сходит»; «Ты бы, *клушкъ*, хтъ снec ат крыльца аткинулъ»; «Ай дъ *хлыстофки*! Сафсем ни хочют работтъ»; «Ты дочинькъ смольду приучайси к труду / а то будиш как *трипердъ* Ишковъ / никто замуш ни вазьмёт»; «Рибёнък плачит, а ана фстать ни можът, *трупёрда*»; «Старшъ у меня *шалберницъ*, а млатшъ рьботага»; «Зъ дяла браццъ ни будиш, так ы астанисси *шалавй*».

«Сястра у миня така *фифёль*, пираги испечь ни магёт»; «Ну што ты зъ *шъвыря*, ничяво путём ни здельш»; «Вот *гатила* вот *гатила*, бумаги-тъ сколькъ изгадилъ. Луччи ты уш напиши»; «Ты дъ Васёна — две *варакушы* на фсю деревню. Вам с ней токъ похлёпку свиньям варить».

«Если у тя двое туфлей, тък одне нады былъ оддать? *Пръстодыръ* больнъ уш! Чай, самой згодяцъ; Она сроду така *пръстодыръ*, фсё роздаст, фсех жылет; Петькъ с этъй *рздавахъй* скорь на нъги ни фстанит; Ну и *расса-валку* нашол, бис штаноф с ей астануцъ».

Диалектные гендерные стереотипы не приветствуют и такие качества у женщин, которые могли бы выглядеть как покушение на главенствующую роль мужчины: высокая самооценка, дерзость, способность высказывать свое мнение, отстаивать свои права. Все это считается мужскими, «активными», властными характеристиками, противоречит исполнительскому характеру женской деятельности и вызывает неодобрение, осуждение, фиксируемое в номинациях с пейоративной оценкой: *чванишка; на-янка, шмаганка, хабалка, халаболка* и др.:

«Ты што, ету *чванишку* ни знаш? Ана сроду нос зъдират, ис sibя больнъ гнёт, зато и замуш-тъ никак ни выдит».

«Рази эта баба? Ругацца как мужык, лезит куда ни нада, *хабалка* словом. — Я знаю адну такую, ну ф кажнъй бочьки затычька. И пьпадат ей тады, а ана фсё равно ничяво ни пьнимат»; «Оне таки, *наянки*, смелы, чово хош выпрьсют»; «Она така *хълаболкъ*, чово попаль возьмёт и скажыт, прямъ бы сереть нocy събралась и ушла ут неё»; «*Шмаганкъ* у нас ф шабрах жыла. Лютуция была *шмаганкъ*, нихто с ней ни связывълси».

К осуждаемым в женщинах поведенческим чертам и свойствам в говорах относят также легкомыслие и нескромность (*хабала, шальяха*), слишком раскованное поведение, в частности с мужчинами (*труболетка, хайдушка, шалашовка*):

«Я не как твое дочери *шаляхи*, оне не скажыш, шть гулёны, а събражэня в них нет»; «Фсё время ей дублию: быть ты пьскрамней. Што ты, она ведет себя как *хъбала*»; «Пора уш за ум бращъ, *хъбала*»; «Ети *хайдушки* толькъ пьют дъ гуляют»; «Шть у тибя адны гулянки нъ уме. *Ф трубалётку* уш привратисси скоръ»; «*Шълашовкъ* ана смълада была, ш чужыми мужыками вадилась»; «Ты што как *шълашофкъ* глаза-ть на няво пялишь?».

В комплекс диалектных стереотипных представлений о женщине, подобающих и неподобающих ей качествах и свойствах входят, безусловно, и представления о ее внешнем облике, моральных качествах и др., что является предметом особого рассмотрения [Маркина 2015: 95–102].

Выводы. Исследование диалектного материала, в частности бранных наименований женщин, как в нашем случае, позволяет наблюдать исторически сложившиеся традиционные гендерные стереотипы. Бранные номинации являются опосредованным способом отражения ценностных ориентиров, специфики национально-культурного сознания носителей диалекта, ментальности русского человека. Такие исследования дают также возможность для исследователя проверить на прочность старые гендерные представления, выявить возможности их трансформации, содержание и тенденции развития старых и появления новых стереотипов.

Патриархальные гендерные стереотипные представления о социальной роли женщины, положении женщины в семье, предпосылки таких представлений, рассмотренные на материале диалектных бранных номинаций, на наш взгляд, имеют прочные корни в национальном общественном сознании, что способствует их постоянному воспроизводству. Особенно заметным это становится в последнее время, когда актуализируется интерес к возрождению семейных ценностей.

Литература

Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 1999. 189 с.

Кирилина А. В. Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты». Москва: Информация XXI век, 2002. 98 с.

Маркина Л. В. О семантике бранных обозначений человека в современной диалектной коммуникации // Филологический сборник: в честь юбилея профессора Л. И. Осиповой / Сост. и отв. ред. Т. В. Белошапкова. Москва: МГПУ, 2015. С. 95–102.

Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и динамика перемен в пореформенной России. Москва: ИЭА РАН, 2012. 299 с.

Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. А—Г. Саранск: Издательство Мордовского университета, 1978. 134 с.

Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Вып. 1—5. Саранск: Издательство Мордовского университета, 1978; 1980; 1982; 1986; 1993.

Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. Вып. 6—8. Саранск: Издательство Мордовского университета, 2001; 2002; 2006.

Стернин И. А. и др. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста. Ярославль: ЯрГУ, 2013. 35 с.

References

Kirilina A. V. Gender. Lingvisticheskie aspekty'. Moskva: Institut sociologii RAN, 1999. 155 s.

Kirilina A. V. Gender: lingvisticheskie aspekty'. Moskva: Institut sociologii RAN, 1999. 189 s.

Kirilina A. V. Slovar' genderny'kh terminov / Pod red. A. A. Denisovoj / Regional'naya obshhestvennaya organizaciya "Vostok-Zapad: Zhenskie Innovacionny'e Proekty". Moskva: Informaciya XXI vek, 2002. 98 s.

Markina L. V. O semantike branny'kh oboznachenij cheloveka v sovremennoj dialektnoj kommunikacii // Filologicheskij sbornik: v chest' yubileya professora L. I. Osipovoj / Sost. i otv. red. T. V. Beloshapkova. Moskva: MGPU, 2015. S. 95—102.

Mukhina Z. Z. Semejny'j byt i povsednevnost' krest'yan Kurskoj gubernii: tradicii i dinamika peremen v poreformennoj Rossii. Moskva: IEA RAN, 2012. 299 s.

Slovar' russkikh govorov na territorii Mordovskoj ASSR. A—G. Saransk: Izdatel'stvo Mordovskogo universiteta, 1978. 134 s.

Slovar' russkikh govorov na territorii Mordovskoj ASSR. Vy'p. 1—5. Saransk: Izdatel'stvo Mordovskogo universiteta, 1978; 1980; 1982; 1986; 1993.

Slovar' russkikh govorov na territorii Respubliki Mordoviya. Vy'p. 6—8. Saransk: Izdatel'stvo Mordovskogo universiteta, 2001; 2002; 2006.

Sternin I. A. i dr. Vy'yavlenie priznakov unizheniya chesti, dostoinstva, umaleniya delovoj reputacii i oskorbleniya v lingvisticheskoj e'kspertize teksta. Yaroslavl', 2013. 35 s.

Сведения об авторе: Маркина Людмила Витальевна; доктор филологических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, профессор кафедры русского языка и методики преподавания филологических дисциплин; ORCID 0000-0003-0391-0029; markina.lv@mail.ru; сфера научных интересов: диалектная и интернет-коммуникация, проблемы речевой агрессии и манипулятивности, гендерный фактор.

The author's profile: Lyudmila Vitalevna Markina; Doctor of Philology; Associate Professor; Moscow City Pedagogical University; Professor at the Department of Russian Language and Methods of Teaching Linguistics; ORCID 0000-0003-0391-0029; markina.lv@mail.ru; research interests: dialect and Internet communication, speech aggression and manipulation, gender.

УДК 81.161.1'373.43
DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.16

**НЕОЛОГИЗМЫ
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРЕССЕ
ЛИТВЫ 2016–2017 гг. (КРАТКИЙ ОБЗОР)**

**NEOLOGISMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE
INTERNET PRESS OF LITHUANIA 2016–2017
(SHORT REVIEW)**

**Йовита Русецкая
Университет Vytautas Magnus,
Вильнюс, Литва**

**Jovita Ruseckaja
Vytautas Magnus University,
Vilnius, Lithuania**

Аннотация

В статье исследуются неологизмы в средствах массовой информации на материале интернет-прессы 2016–2017 гг., а именно русскоязычных газет Литвы «Обзор» и «Литовский курьер». Приводится краткое описание и характеристика неологизмов, указывается семантика исследуемых неологизмов, а также источники их образования. В работе более подробно рассматриваются неологизмы, возникшие в сфере компьютерных технологий.

Результаты проведенного исследования показывают, что в сфере компьютерных технологий основное количество неологизмов составляют лексические неологизмы, в основном англицизмы, которые проникли в язык в последнее десятилетие и активно употребляются в средствах массовой информации. Тенденция актуализации неологизмов в целом особо проявляется в интернет-прессе Литвы 2016–2017 гг.

Ключевые слова: англицизмы, неологизмы, интернет-пресса.

Abstract

The article explores neologisms in the mass media using the material of the Internet press of 2016–2017, namely, the Russian language newspapers of Lithuania “Review” and “Lithuanian Courier”. A brief description and characteristics of the neologisms are given, and the semantics of the investigated neologisms as well as the sources of their formation are indicated. In the paper, neologisms arising

in the sphere of computer technologies are examined in a more detailed way. The results of the study show that in the field of computer technology the bulk of neologisms are lexical neologisms. Moreover, the Anglicisms which arose together with the realities of the last decade are actively used in the mass media.

Computer technology is rapidly developing which in turn contributes to the emergence of new items and new lexical names it nominates these items. Thus, for example, only in the newspaper “Obzor” in the period from January 28, 2016 to March 16, 2016 we find 90 neologisms: crypto community, bitcoin, blockchain, software, crypto industry, smart business, 5G communication, press release, twitter, memes, startup, startups, crowd sourcing startups, crypto entrepreneurs, electric car, chips, microchips, etc. Approximately the same number of neologisms is observed in the “Lithuanian Courier”. Moreover, it should be noted that for the most part the neologisms are used in all functional styles of speech (image, case, liberal-democratic, interbank). Many neologisms belong to scientific, journalistic, business or colloquial functional styles: in the last decade, a significant number of neologisms, in particular Anglicisms, has appeared in the Russian language. This is a natural phenomenon since this process is associated with interlingual contacts, the impact of external factors, the correlation with public as well as political processes, and, of course, the internal factors of the language itself. The use of Anglicisms can perhaps be justified only if they do not have analogs in the Russian language and fill in so to say empty “niches” in Russian texts. Thus, journalists in their articles should use neologisms more thoughtfully and where it is really necessary, since in Russian there are many beautiful words of the Russian literary language with different connotations for determining reality.

It is the Internet press that clearly displays a large flow of borrowed words and is thus an object of study for linguists.

Key words: Anglicisms, neologisms, the Internet press.

Введение. Лексика русского языка, как и любого другого языка, постоянно обновляется. Некоторые слова исчезают, уходят из употребления, другие, наоборот, появляются, начинают активно использоваться носителями языка. Таким образом, значительные события общественной жизни, научно-технические открытия способствуют порождению целых серий новых слов — неологизмов. Изучение неологизмов в средствах массовой информации (далее — СМИ) представляется одной из актуальнейших тем нашего времени. Проанализировав неологизмы конкретного периода времени, можно узнать, какие события происходили в мире, что влияло на жизнь людей, что их интересовало.

Целью данной статьи является выявление неологизмов русского языка в сфере технологий на **материале** самых популярных среди русских читателей русскоязычных газет Литвы «Обзор» и «Литовский курьер». Стоит отметить, что русская лексика, употребляемая в данных газетах, отлича-

ется также региональными особенностями употребления русского языка в Литве.

Методология. Во второй половине XX в. в парадигме современного языкознания неология как наука о неологизмах получила широкое распространение. Работы А. А. Брагиной, В. И. Заботкиной, Н. И. Фельдман и других послужили основой становления неологии как «особой теоретической области лексикологии» [Котелова: 14]. Неология как «наука, занимающаяся изучением неологизмов» [Попова: 3–4], возникла еще в XIX веке, во времена, когда русская академическая лексикография закладывала основы изучения проблем будущей лексикологии благодаря существенному вкладу И. А. Бодуэна де Куртене, А. А. Потебни, Л. В. Щербы и других.

Существуют различные определения самого термина «неологизм», однако большинство лингвистов отмечают, что неологизм — это новое слово, новое либо по форме, либо по содержанию, либо и по форме, и по содержанию. В. Г. Гак считает, что «единицей эволюции языка является изменение номинации, то есть соотношение между означаемым и означающим» [Гак: 38]. По мнению В. Г. Гака, возможны четыре элементарных изменения в процессе номинации:

1. Использование данного знака для обозначения нового объекта.
2. Введение нового знака для обозначения объекта, уже имеющегося в языке.
3. Введение нового знака с новым обозначаемым.
4. Неупотребление знака в связи с дезактуализацией обозначаемого [Гак: 38].

Создавая новое слово, человек стремится, прежде всего, к индивидуализации и оригинальности. Затем слово проходит «несколько стадий социализации (принятие его в обществе) и лексикализации (закрепление в языковой системе). Слово воспринимается посредниками, которые распространяют его среди масс. Это, как правило, преподаватели университетов, школьные учителя, репортеры, работники средств массовой информации. Слово фиксируется в периодической печати. Очередная стадия социализации — принятие слова широкими массами носителей языка. Далее идет процесс лексикализации, а затем — приобретение навыков адекватного употребления нового слова, то есть приобретение коммуникативно-прагматической компетенции носителями языка» [Арутюнова, Падучева: 9]. Именно работы А. А. Брагиной, В. Г. Гака, Н. Д. Арутюновой, Е. В. Падучевой, Т. В. Поповой определяют теоретические основания данного исследования.

Основная часть. Интересно то, что неологизмы в основном существуют только в конкретном временном отрывке и в связи с какими-то событиями. После того как проблема (объект) уже становится обыденной — неологизмы становятся неактуальными и вовсе исчезают из печати и речи.

Более того, неологизмы в языке остаются новыми до тех пор, пока звучат по-новому и их новизна ощущается в разговоре. В активный словарный запас человека переходят неологизмы в случае частого употребления, и в таком случае неологизмы уже перестают быть новообразованиями в языке. Неологизмы могут появиться в соответствии с существующими моделями в языке, а также они могут быть заимствованы из других языков, или же могут появиться новые коннотации, или расшириться семантика слова. Как правило, слово, возникшее в течение последних 10 лет, обладает статусом неологизма. В данной статье особое внимание уделяется неологизмам 2007–2017 гг.

Употребление неологизмов в современной прессе, а точнее в Интернет-прессе, — это самый распространенный прием привлечения внимания, повышения экспрессивности, что определяет актуальность темы данного исследования. Выбор слова, выражения, синтаксической структуры и композиции для большинства газетных статей зависит от ее темы и содержания, от предположительного круга читателей и, естественно, от индивидуальности самого автора.

Стоит отметить, что авторские неологизмы, которые также называют индивидуально-стилистическими и окказиональными, обычно вводятся, например, в художественной литературе писателями для того, чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности стиля. Эти неологизмы придают авторскому тексту эмоциональную экспрессивность и выразительность. Авторские неологизмы в современной русскоязычной прессе практически не употребляются, за исключением, может быть, отдельных публикуемых литературных произведений.

Общезыковые неологизмы регулярно употребляются носителями русского языка и подразделяются на *лексические* и *семантические*. К *лексическим* неологизмам относятся те, которые вновь образованы или заимствованы. *Семантические* неологизмы — слова, которые приобрели новые значения на базе ранее известных слов. Большинство неологизмов, встречающихся в прессе, вновь образованные — лексические, например, «криптовалюта» (слово 2017 г.) или заимствованные, например, «нейминг» (слово 2010 г.), «фейк» (слово 2017 г.) и др.

По форме неологизмы представляют собой либо отдельные слова, например, «хайп» (слово 2017 г.), либо составные наименования — «На ярмарке любой сможет задать свой вопрос интерактивному “библио-ораклу”». Также вы сможете посетить “живую библиотеку”» [Опубликовано: 2017.02.23, 0:01, Литовский курьер (далее ЛК)]; «...“панорамные трансляции” — живые трансляции потокового видео с углом обзора в 360 градусов. Первым изданием с поддержкой этой функции стал National Geographic. В апреле 2016 года 360-градусные прямые трансляции также запустил YouTube» [ЛК, 2016.04.21, 0:01].

В связи с тем, что заголовки и подзаголовки материалов отличаются повышенной экспрессией и они должны «бросаться в глаза», привлекая внимание читателя к материалу, чаще всего в данном аспекте используются заимствованные слова, тем самым образуя пласт лексических неологизмов. Кроме того, лексическое заимствование обусловлено взаимодействием и взаимовлиянием языковых контактов: «Ярким примером языковых контактов можно считать появление и функционирование в одном языке слов другого языка. Для начала XXI в. характерно расширение сфер международных контактов, где английский язык становится языком международного общения. Важная политико-экономическая роль англоязычных стран в мире, их превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной степени активизируют появление и использование англицизмов в русском языке» [Криворучко, Адильбаева, 2007].

Принято считать, «что активен тот язык, слова которого входят в другие языки» [Криворучко, Адильбаева, 2007], но это утверждение не совсем верно, так как «при взаимодействии языки являются равными. Заимствующий язык отбирает для заимствования те слова, которые соответствуют потребностям общества» [Брагина: 5]. Стремление употреблять пришедшие из английского языка слова вместо русских с близкой, а часто и одинаковой семантикой, начало проявляться с 50-х годов XX века и было названо В. В. Виноградовым «американобесием». Это усилилось в 1980–90-х годах и продолжается до наших дней. В конце XX в. англицизмы проникли в язык в больших количествах. Англицизмы входят в язык широким потоком, что создает существенную проблему. Такого наплыва иноязычной лексики русский язык не испытывал никогда. Такой процесс вызывает у лингвистов определенную тревогу за судьбу словарного состава русского языка [Криворучко, Адильбаева, 2007].

Однако слова из английского языка и раньше заимствовались русским языком, поэтому многие англицизмы уже вошли в активный запас русской лексики и утратили статус неологизма, например такие, как «митинг», «инфляция», «импорт», «интервью», «доллар», «джинсы», «крекер» и др.

В современной русскоязычной прессе, прежде всего, доминируют группы существительных с суффиксом *-инг* (представляющие собой герундийные формы английского языка, например: «боулинг», «роуминг», «лифтинг» и др.), а также с суффиксом *-ер* (например: «постер», «ростер», «байкер», «брокер» и др.). Заимствования не однородны по своему составу. Среди них выделяются слова, которые пришли в язык из другого языка как наименование нового предмета, новой реалии или являются словами-терминами, имеющими интернациональный характер. Их употребление в речи в большинстве случаев оправдано, хотя значение не всегда правильно понимается в силу незнания английского языка. Так, например: «Проанализировав статистику и *рейтинги* («оценка», от англ. *rating*

«оценка, отнесение к тому или иному классу, разряду») каналов, а также потребности зрительской аудитории, они предложили 7 обновленных дополнительных пакетов каналов». «По словам *менеджера по маркетингу* Вильнюсской частной гимназии Агне Любертайте, ожидания родителей и опыт западных стран вдохновили на создание проекта» [ЛК, 2016.06.23, 0:01]; «Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе *брифинга* ((англ. *briefing*), встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой вкратце излагается официальная позиция по определенному вопросу или согласования сторонами, участвующими в международных переговорах, заседаниях, конференциях, информация об их ходе, взглядах сторон и т.д.) ответила на вопрос болгарского журналиста о том, почему российских *хакеров* обвиняют во вмешательстве в выборы в США, но в то же время *киберпреступники* “проигнорировали” выборы в Болгарии. Сообщает *russian.rt.com*» [Обзор, 2016, 30 марта, 13:55] «На смену программной сетке пришли “*плей-листы*”, когда пользователь сам выбирает, что и когда ему смотреть»; «“умный” дом (англ. *smart house*)»; «загрузятся большие *файлы*» (ЛК) и др.

В исследуемом материале мы находим также примеры заимствованной лексики, которая возникла в русском языке задолго до 2007 года и активно используется в последние годы: «В сообщении “Роснано” отмечается, что российские стандарты не могут адекватно отражать результат деятельности *инвестиционной компании*. Например, отчетность переоценивает только котируемые акции *портфельных компаний* (Компания, получившая инвестицию от фонда прямых инвестиций), в то время как международные стандарты осуществляют переоценку всего *портфеля* (англ. *Portfolio* в *финансах* — совокупность инвестиционных вложений *юридического* или *физического* лица)» [Обзор, 2016, 1 апреля, 16:20]; «Когда компьютеры появились практически в каждом доме, то *цифровые технологии* ((англ. *Digital technology*) основаны на представлении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней, а не в виде непрерывного спектра. Все уровни в пределах полосы представляют собой одинаковое состояние сигнала) вытеснили кассеты» [Обзор, 2016, 23 марта, 23:21].

В русский язык вошли и часто используются в современной прессе некоторые политические термины английского происхождения, например, «спикер» — председатель парламента, от англ. *speaker* — «оратор», а также «председатель палаты общин в Англии и палаты представителей в США»; «инаугурация» — «церемония вступления в должность президента страны», от англ. *inauguration* «вступление в должность».

Стоит отметить, что многие неологизмы, особенно заимствованные из английского языка, употребляемые в средствах массовой информации, являются агнонимами, т.е. словами, значение которых непонятно, неизвестно большинству носителей языка. Зачастую они требуют специальной

расшифровки, семантизации средствами родного языка. Подобная лексика засоряет язык, ведет к непониманию речи, к тому же легко может быть заменена русскими аналогами. Так, например: «Одной из наиболее опасных функций *бэкдора* является встроенный *кейлоггер* ((англ. *keylogger*) — программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.), запоминающий нажатия клавиш» [Обзор, 2016, 6 мая, 11:15]; «Вот интересно, получается, там, где результаты соответствуют интересам *мейнстрима* ((англ. *mainstream* — основное течение) главное, основное направление в какой-л. области научной, художественной, политической, публицистической и т.д. деятельности), там русские *хакеры* не работали, а там, где *мейнстрим* сталкивается с неожиданными результатами, там поработали русские *хакеры*» [Обзор, 2016, 30 марта, 13:55].

Необходимо отметить, что неологизмы, встречающиеся в современной русскоязычной прессе, можно классифицировать также по сферам употребления. Большинство неологизмов встречаются в газетах «делового» содержания, например, в рассматриваемых газетах «Обзор» и «Литовский курьер». В первую очередь здесь можно встретить экономические термины, такие, как «инвестор», «инновации»; из относительно новых «ребрендинг» (смена торговой марки). Большое количество неологизмов можно найти в специализированных рубриках, посвященных информационным технологиям, а именно компьютерной технике.

Например: «Еще одной хорошей новостью в прошедшем году стал улучшенный и обновленный графический и функциональный пользовательский *интерфейс*» (англ. *interface* — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил *взаимодействия* (управления, контроля и т.д.) между элементами *системы*) (ЛК).

«"HD-пакет" (формат *High Definition Video* (сокращенно HD) — это новый стандарт видео, предлагающий пользователю более высокое качество изображения за счет увеличения разрешения (количества точек-пикселей) на видео-картинке воспроизводящего устройства (телевизор, монитор, плазменная или ж.к. панель)» [ЛК, 2016.09.15, 0:01].

«Клиенты понемногу привыкают к качественному *интернет-контенту* (Информационное наполнение — тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение сайта)».

«Мы являемся ответственным *Интернет-провайдером* (иногда просто *провайдер*; от англ. *internet service provider*, сокр. ISP — поставщик интернет-услуги) — организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги), поэтому для нас важен тот факт, что в Интернете пользователи могут найти ценную инфор-

мацию на самые разнообразные темы. Если для вас актуальны эти темы и вы ищете совет специалистов, приглашаем вас посмотреть выпуски “Летнего лагеря для родителей”, которые вы найдете на *YouTube*, страничке *Skynet* в *Facebook* и *веб-ресурсе* Вильнюсской частной гимназии» [ЛК, 2016.06.23, 0:01].

«Технологии стремительно развиваются: наши клиенты уже пользуются 4к телевизорами, мобильной связью поколения *4G*» (от англ. *fourth generation* — четвертое поколение) — поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвертому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с — подвижным (с высокой мобильностью) и 1 Гбит/с — стационарным абонентам (с низкой мобильностью) [ЛК, 2016.06.23, 0:01].

«В доме среднестатистической семьи сегодня мы найдем не только стационарный компьютер, но и несколько *смартфонов*, *планшетов* или *ноутбуков*. В таких случаях, при подключении к Интернету сразу нескольких устройств, пользователи сразу же чувствуют “недостаток” скорости», — поясняет представитель *Skynet*» [ЛК, 2016.04.21, 0:01].

«*Самообучаемый чат-бот* (виртуальный собеседник, программа, которая создана для имитации поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками) *Tay om Microsoft*, *запущенный 23 марта в Twitter* («Твиттер» (*Twitter*, от англ. *to twitter* — «чирикать, щебетать, болтать») — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста), *всего за сутки превратился в расиста, начал разбрасываться оскорблениями и делать возбуждающие ненависть заявления. Всем этим вещам его из желания пошутить научили пользователи сервиса микроблогов*» (Микроблог (англ. *Microblog*) — разновидность *блога* (веб-ресурс, используемый одним или несколькими людьми — *блогерами* — для публикации различного рода информации), использующая концепцию коротких постов (100–200 символов) [ЛК, 2016 03 25, 13:00].

«Напомним, что новый *флагман LG* получил металлический корпус, 5,3-дюймовый *дисплей* с разрешением 1440*2560 *пикселей*, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 Гб оперативной и 32 Гб основной памяти. Также устройство поддерживает карты формата microSD объемом до 2 Тб и оснащено *сканером* отпечатков пальцев» [ЛК, 2016 03 22, 16:26].

«“Облачные” технологии (модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, *сетям передачи данных*, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе,

так и по отдельности) и *кибермошенничество*. В ближайшее время ущерб от *кибератак* (это попытка внести изменения в работу компьютерных систем или сетей) будет только расти. Не стоит забывать и о виртуальной и *дополненной* (англ. *augmented*) *реальности* (результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации), которая получит не менее широкое распространение, чем сейчас компьютеры и мобильная связь» [ЛК, 2016.01.14, 0:01].

«В эпоху информационных войн нелегко провести четкую грань между свободой слова и *троллингом* (форма социальной провокации или издевательства в *сетевом общении*, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, *эпатаже*, так и *анонимными* пользователями без возможности их идентификации)».

«Сегодня возросла нагрузка на “*айтишников*” (программист) и степень их ответственности в бизнес-процессах. Все чаще возникает ситуация, когда ИТ-специалист *аутсорсинговой* (передача организацией, на основании договора, определенных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области) компании является приглашенным экспертом, который делает аудит и рекомендует: что и как нужно изменить» [ЛК, 2016.01.14, 0:01].

«*Троянец* (*Троян* (троянский конь) — вредоносная программа, проникающая на компьютер пользователя под безобидным внешним видом или в виде программы с каким-то осмысленным функционалом и приносящая вред) представляет собой многофункциональный *бэкдор* (*Backdoor* (от англ. — черный ход) — это программа или набор программ, которые устанавливаются хакерами на взломанном компьютере после получения первичного доступа с целью получения повторного доступа. При подключении программа предоставляет какой-либо доступ, обычно это командный интерпретатор), созданный на основе широко известного средства удаленного администрирования *RAT* (аббревиатура англ. *Remote Administration Tool*, в переводе — “средство удаленного администрирования” или “средство удаленного управления”). Термин получил распространение среди *системных администраторов* и *хакеров*)» [Обзор, 2016, 6 мая, 11:15].

Необходимо также отметить, что неологизмы, имеющие оценочные и эмоциональные свойства, могут выражать пренебрежение (*айтишник* — «программист»), неодобрение (*троянец*), иронию (*политтусовка*). «В четверг также подписано соглашение о производстве транспортировочного *смартконтейнера* (от англ. *smart* — умный) — это цели, которые удовлетворяют нижеперечисленным требованиям) для СПГ. Их созданием займутся одно из крупнейших предприятий инженерной промышленности

в Литве — *Vakaru laivu gamykla*, американская корпорация Emerson и норвежская компания DNV-GL» [Обзор, 2016, 30 марта, 18:01].

«В Таллине прошла самая крупная *блокчейн-конференция* (широко используется также термин «Блокчейн» как транслитерация от англ. *blockchain*. Цепочка блоков транзакций; выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций) в Прибалтике. 9 марта в Таллине прошла масштабная конференция, посвященная *блокчейн-технологии* и развитию *криптовалют* (цифровой актив, учет которого децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределенной компьютерной сети. При этом информация о транзакциях может не шифроваться и быть доступна в открытом виде) — *Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn*. Организатором события выступила *ивент-компания* (Event-агентство — это специализированная компания, которая организует мероприятия по заказу своих клиентов. Мероприятия event-агентств имеют небольшую продолжительность, проходят в течение 1–4 дней для ограниченного круга людей, известных заказчику и имеют фиксированный бюджет, финансируются заказчиком (клиентом) *Smile-Expo*, которая проводит *блокчейн-конференции* в России, Украине и Чехии. Выйти на рынок Эстонии компания решила ввиду благоприятного *IT-климата* в этой стране, а также правительственной поддержки *блокчейн-проектов в сфере Govtech*. 14 *спикеров* — *криптоэкспертов* и управляющих *блокчейн-проектами*. Они представили *кейсы* (обстоятельства) по внедрению блокочной цепи в бизнес-процессы» [Обзор, 2017, 16 марта, 14:00].

Вышеперечисленные примеры неологизмов указывают на то, что русский язык активно приспосабливается к новым условиям жизни, образуя различные неологизмы. Употребление подобных неологизмов «безобидно», возможно, лишь в том случае, если они не имеют аналогов в русском языке и заполняют так называемые пустые «ниши» в русской словесности. Так, например: «...технология *multiscreen* (=полиэкранный — с одновременной демонстрацией нескольких сюжетов на одном экране) позволяет смотреть любимые программы на экранах компьютеров, планшетов или телефонов. «Перенесите» ее на экран *смартфона* (англ. *Smartphone* — умный телефон) — *мобильный телефон*, дополненный функциональностью *карманного персонального компьютера*) — и смотрите программу по дороге на работу» [ЛК, 2016 11 24, 0:01].

«Более быстрый Интернет необходим и любителям компьютерных игр, играющим в режиме *онлайн*» (=прямой эфир) [ЛК, 2016.04.21, 0:01]. «Система *сенсоров* (=датчик) и электродов способна передать цвет и вкус лимонада при помощи глобальной сети» [Обзор, 2016, 28 марта, 20:15].

«Белорусские сыры не прошли *фейс-контроль* (от англ. *face* «лицо» и *control* «проверка») — ограничение входа, выборочный отказ в обслужи-

вании посетителей (клиентов), не удовлетворяющих определенным критериям) в России. Федеральная служба по аккредитации приостановила действие деклараций о соответствии пяти марок сыров из Белоруссии. Об этом сказано на *сайте* (веб-сайт, от англ. *website: web* — “паутина, сеть” и *site* — “место”, буквально “место, сегмент, часть в сети”)) Россельхознадзора» [Обзор, 2016, 24 марта, 09:00].

Другое дело — тенденция заменять привычные русские слова «зарубежными» синонимами. Вероятно, связано это с тем, что зарубежный аналог воспринимается как нечто более возвышенное, интересное, значимое, чем его русский вариант. Более того, русский язык в Литве отличается региональными особенностями и часто находится под воздействием интерференции.

Выводы. Несмотря на то, что рассмотрению подверглись лишь некоторые неологизмы компьютерной лексики, все же можно смело утверждать, что именно в данной сфере можно найти наибольшее количество неологизмов (лексических неологизмов), которые возникли в период 2007–2017 гг.

Так, например, только в газете «Обзор» за период 28.01.2016 — 16.03.2016, мы обнаруживаем 90 неологизмов: криптосообщество, биткоин, блокчейн, софт, криптоиндустрия, «умный» бизнес, 5G-связь, пресс-релиз, твиттер, мемы, стартап, стартаповцы, краудсорсинговые стартапы, криптопредприниматели, аккаунт, виртуальный завод, электромобиль, бейджи, чипы, микрочипы, моментальные платежи, диджитализация, политика нулевого промилле, идеи цифровой свободы, цифровая революция, постфукусимский синдром, гаджет активных меток (англ. *beacon*), онлайн-технологии, жидкокристаллические экраны, беспроводная связь, десктопное приложение Skype для Windows. Translator для Android, iOS и Amazon Kindle, кластер, бизнес-инкубатор, веб-камера, интерактивная пресс-конференция, юзер, кибербезопасность, брифинг, колл-центр, эмодзи, интерфейс, GPS-гаджет, 4G-интернет, постпреды, бэк-энд, мониторинг, покемоны, ритейлеры, адронный коллаيدر, букмекерские сайты, провайдер, тароматы и др. Примерно такое же количество неологизмов наблюдается и в «Литовском курьере». Компьютерные технологии стремительно развиваются, что, в свою очередь, способствует появлению новых предметов и, тем самым, новых лексических наименований.

Более того, необходимо отметить, что большей частью неологизмы употребляются во всех функциональных стилях речи (*имидж, кейс, либерально-демократический, межбанковский*). Однако многим неологизмам более свойствен определенный стиль: научный (*аура, биолокатор, клонировать, радиоэкология*), публицистический (*откат, интегратор*), деловой (*депозитарий, дилер, естественная*) или разговорный (*компромат, накрутка, нал, напруг, невезуха*).

В русском языке в последнее десятилетие появилось огромное количество неологизмов, в особенности англицизмов, и это закономерное явление, т.к. данный процесс связан с межъязыковыми контактами, с воздействием внешних факторов, соотносённой с общественными, а также политическими процессами и, безусловно, с внутренними факторами самого языка. Именно интернет-пресса ярко отображает большой поток заимствованных слов, которые тем самым становятся объектом научного исследования многих лингвистов.

Приходится констатировать, что использование англицизмов встречается в наибольшем количестве, что, к сожалению, способствует как потере интереса к русскому языку, русской литературе и культуре, так и косноязычию, снижению грамотности, языковой и общей культуры. Употребление англицизмов может быть оправдано лишь в том случае, если они не имеют аналогов в русском языке и заполняют так называемые пустые «ниши» в русской словесности, поэтому журналистам в своих статьях следовало бы употреблять неологизмы более вдумчиво и там, где это действительно необходимо, так как в русском языке есть немало прекрасных слов русского литературного языка с различной коннотацией для определения действительности.

Литература

Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Лингвистическая прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16 / Под ред. Е. В. Падучевой. Москва: Прогресс, 1985. С. 3–42.

Брагина А. А. Неологизмы в русском языке. Пособие для студентов и учителей. Москва: Просвещение, 1973. 222 с.

Гак В. Г. О современной французской неологии [Текст] // Новые слова и словари новых слов. Ленинград: Наука, 1978. С. 37–52.

Котелова Н. З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов [Текст]. Ленинград: Наука, 1983. 456 с.

Криворучко Т. О., Адильбаева Т. О. Англицизмы: угроза или необходимость? URL: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Philologia/21026.doc.htm.

Литовский курьер URL: www.kurier.lt.

Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор» URL: www.obzor.lt.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1989. 916 с.

Попова Т. В. Русская неология и неография: Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2005. 96 с.

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/NEOLOGIZM.html.

References

Arutyunova N. D., Paducheva E. V. Lingvisticheskaya pragmatika // *Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyip. 16 / Pod red. E. V. Paduchevoy.* Moskva: Progress, 1985. S. 3–42.

Bragina A. A. Neologizmyi v russkom yazyike. Posobie dlya studentov i uchiteley. Moskva: Prosveschenie, 1973. 222 s.

Gak V. G. O sovremennoy frantsuzskoy neologii [Tekst] // *Novye slova i slovari novyih slov.* Leningrad: Nauka, 1978. S. 37–52.

Kotelova N. Z. Pervyy opyt leksikograficheskogo opisaniya russkih neologizmov [Tekst]. Leningrad: Nauka, 1983. 456 s.

Krivoruchko T. O., Adilbaeva T. O. Anglitsizmy: ugroza ili neobhodimost? URL: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Philologia/21026.doc.htm.

Litovskiy kurer URL: www.kurier.lt.

Novosti Litvyi na russkom yazyike ot gazetyi “Obzor” URL: www.obzor.lt.

Ojegov S. I. Slovar russkogo yazyika. Moskva: Russkiy yazyik, 1989. 916 s.

Popova T. V. Russkaya neologiya i neografiya: Uchebnoe posobie. Ekaterinburg: GOU VPO UGTU–UPI, 2005. 96 s.

Universalnaya nauchno-populyarnaya onlayn-entsiklopediya «Krugosvet» URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/NEOLOGIZM.html.

Сведения об авторе: Йовита Русецкая; кандидат филологических наук; доцент; доцент Образовательной академии Университета Vytautas Magnus (Вильнюс, Литва); ORCID 0000-0003-1133-3276; jovita.ruseckaja@vdu.lt; сфера научных интересов: фразеология, сопоставительная лексикология русского и литовского языков, перевод, компаративистика.

The author’s profile: Jovita Ruseckaja; Candidate of Philology; Associate Professor; Education Academy at the Vytautas Magnus University (Vilnius, Lithuania); ORCID 0000-0003-1133-3276; jovita.ruseckaja@vdu.lt; research interests: phraseology, comparative lexicology of Russian and Lithuanian languages, translation, comparative analysis.

СЛОВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

УДК 811.161.1(092)

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.17

СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

VERBAL IMAGE AS A STRUCTURAL UNIT OF ARTISTIC TEXT

**Наталья Владимировна Халикова
Московский государственный областной университет,
Москва, Россия**

**Natalia Vladimirovna Khalikova
Moscow state regional University,
Moscow, Russia**

Аннотация

Статья посвящена изучению словесного художественного образа в структурно-семантическом аспекте. Рассматривается словесный образ как целостная единица текста (произведения), как реализованная через систему образных констант модель восприятия («текст вообще») и как символический знак, который подобен слову и является элементом словаря языка художественной литературы. Структура словесного образа может быть описана как система соотносимых образных констант и образных парадигм. Устойчивые когнитивные метафоры участвуют в хранении и передаче прагматической информации и создании культурно-исторического контекста.

Ключевые слова: словесный художественный образ; текст; образная константа; образная парадигма.

Abstract

The paper looks into a verbal image from the structural and semantic perspective. The verbal image is viewed as part of a text, a complex syntactic phenomenon. It is argued that verbal images of similar semantics form cognitive perception classes: landscape, interior, portrait, action, state, etc.

Content-wise a verbal image is an individual model of perception based on value constants, which is adapted by an author / narrator to an idiosyncratic map of the world. In literature verbal images take shape of I. S. Turgenev's and I. A. Bunin's landscapes, portraits by A. P. Chekhov or V. V. Nabokov.

The imagery constant — “X is smiling / laughing” — is a stable formal semantic element of description, yet variability of speech turns it into a verbal image. This view on the verbal image explains why the style of a certain writer becomes recognizable. Thus, a summer landscape is depicted differently in terms of semantics and structure in works of any prominent writer: A. S. Pushkin, I. S. Turgenev, A. P. Chekhov, F. K. Sologub, etc. Still, the approach to describing a landscape is pretty much the same. Every writer arguably develops his / her own vision of some archetype of nature. As A. F. Losev pointed out, “artistic form is a personality in the form of a symbol or a symbol in the form of a personality”. The imagery of any fragment of any landscape is based on the same structural footing.

Secondly, the verbal image is similar to a word and makes part of fiction literature vocabulary. Its semantics can be defined within the imagery framework: a flower — a living being, light, space. Common cognitive metaphors are used to store and broadcast aesthetic phenomena in fiction.

Conceptual fields in prosaic and poetic language are built with the same basic structural descriptive units (imagery constants and frameworks).

This approach to interpreting a verbal image makes the groundwork of the general theory of imagery and might be instrumental in analyzing the imagery of big-size texts. In the last few decades imagery frameworks as semantic units of fiction have been compiled in special dictionaries, e. g. Dictionary of poetic images by N. V. Pavlovich.

Key words: verbal image, text, imagery constant, imagery frameworks.

Введение. Рассматривая текст как мыслительный тип, «код мысли» в системно-структурном аспекте, мы задаемся вопросом об устойчивости внутренней организации его смысловых единиц, например, словесных художественных образов. В известном определении текста И. Р. Гальперина («Текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа произведение...») их можно соотнести с «рядом особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную направленность и прагматическую установку» [Гальперин: 54].

Методологической основой исследования послужило философское понимание А. М. Пятигорским текста культуры. Это текст-«вещь», «форма сознания», «миф» или «текст вообще»; с содержательной точки зрения «может быть сведено к понятию способа, при помощи которого сознание,

когда оно становится “сознающим что-либо”, объективирует себя в конечных, дискретных и отдельных целых величинах, называемых текстами» [Пятигорский: 148]. Под такое определение целостных, дискретных и отдельных величин (текстов в тексте) попадают сразу целые классы образов, например описаний: «романтический портрет вообще», «психологический портрет Достоевского», «летний пейзаж», «тургеневский / пушкинский / гоголевский интерьер» в русском художественном / философском дискурсах (перечисляем то, что исследовано нами). В этом случае словесный образ в процессе художественной коммуникации так же, как и слово, соотнесен с окружающей действительностью — прямо или опосредованно, в разной степени опосредованности.

Цель статьи. Мы хотим выдвинуть положение о том, что словесный образ есть «текст вообще», то есть устойчивый в плане выражения функционально-стилистическим типом речи конструкт, соотнесенный в плане содержания с фрагментом действительности. Интересно рассмотреть его структурную организацию — не отдельно взятого фрагмента конкретного произведения, а, наоборот, в полном отвлечении от конкретных авторских задач, но в общем процессе художественной коммуникации. В связи с этим в данной статье рассмотрим словесный образ (речевой фрагмент), во-первых, как концепт или модель восприятия, представленную в речи через систему образных констант, и, во-вторых, как реализованный через систему образных парадигм символ культуры (в широком смысле термина). «Символ <...> в культуре народа является константной моделью, способной к порождению многочисленных речевых вариантов» [Якушевич: 12].

Словесный образ как «текст» в форме высказывания или сверхфразового единства представляет собой *концепт* национальной культуры (художественного, философского дискурсов) и устойчивой индивидуально-авторской картины мира.

Материалом исследования послужили выбранные из текстов классической русской прозы XIX — начала XX века фрагменты словесных образов летнего пейзажа.

Основная часть. Образ в плане выражения и содержания. Если, к примеру, взять только летний пейзаж, то его конкретная семантика и структура у Пушкина, Тургенева, Чехова, Сологуба и др. определяющих литературу авторов будут различны. Разумеется, к любому из природных архетипов у каждого автора складывается личное отношение, то есть словесный образ есть типичный миф: «Художественная форма есть личность как символ или символ как личность. Пускай какой-нибудь пейзаж в живописи не содержит ни человека, ни его личности, ни его тела; тем не менее <...> он всегда есть живое, вызывающее в нас внешне определенное состояние чувства, мысли и стремления. В нем есть внешнее, в нем есть внутреннее,

в нем есть смысл, есть понимание, есть интеллигенция. Следовательно, он [образ] есть некая живая и разумная личность» [Лосев: 46–47]. Однако в плане выражения образность *любого* пейзажного фрагмента задается пространственными векторами: а) сверху вниз, от неба к земле; б) от «Я» вдаль (в языковой картине мира этому соответствует выражение «взгляд уходит вдаль (вверх, вглубь)», например: «И он посмотрел кругом¹, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе <...> мошки толклись над одинокою, далеко протянутою веткою. “Как хорошо, боже мой!” — подумал Николай Петрович» [Тургенев 1981]. Кроме того, классическое описание содержит такие элементы, которые безоговорочно определяют текст именно как русский пейзаж. Рассмотрим, из чего складывается это концептуальное значение.

Вертикальный вектор пейзажного фрагмента моделирует следующие элементы концептуального поля:

1. Концепт *Небо*: (1) солнце светит (освещает); (2) облака движутся.
2. Концепт *Поднебесье*: (3) ветер дует; (4) деревья колышутся; (5) птицы поют; (6) дождь идет.
3. Концепт *Земля*: (7) цветы растут, (8) что-то отражает солнце, (9) в траве движение [Халикова 2004б: 211].

Сравним два практически идентичных текста из разных произведений:

1) «Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде, но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. <...> Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; <...> всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху. <...> Легкий ветерок то просыпался, то утихал: подует прямо в лицо и как будто разыграется, — все весело зашумит, закивает и задвигается кругом. <...> Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные» [Тургенев 1979];

2) «По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы; солнце играло сквозь их мелькающую сетку; трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками; птицы не переставали петь, и отраднo было слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте пробежавшего дождя. Пыльные дороги дымились и слегка пестрели под резкими ударами частых

¹ Во всех цитатах из художественных произведений выделение курсивом наше. — Н. Х.

брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава... Прилипая друг к дружке, *засквозили листья деревьев*» [Тургенев: 1980].

Понятие образной константы. При структурно-семантическом анализе художественной прозы должна присутствовать организующая исследование концептуального поля доминанта. Такой доминантой мы считаем *образные константы текста* — минимальные единицы смысловой организации, позволяющие представить любой значимый для литературы фрагмент действительности (пейзаж, встреча, действие, диалог) в такой языковой форме, которую можно назвать наиболее типичной в процессе коммуникации: «солнце светит», «дождь идет», «птицы поют». Ее можно сравнить с абстрактным понятием. Предикативная конструкция является наиболее удобной инвариантной формой отражения фрагмента действительности: «Дом был (какой)»; «солнце светило (как)», «(X) видит (Z)». Отступления от этой формы представляет собой уже стилистически целенаправленное отражение действительности, и оно имеет определенные устойчивые стилистические границы, — это то, что мы называем устойчивым (типичным) словесным художественным образом в индивидуально-авторской речи. (Эта идея выявления «суммы контекстов» вокруг одного понятия была заложена еще в работе А. Белого «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы» [Белый: 482]). В любом русском пейзаже вокруг перцептивной формы образной константы формируются образно-символические значения. Они могут быть эксплицированы, как в следующем примере: «Он медленно шел по улице, курия на ходу. День был холодноватый, молочный; белые растрепанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролете между домов. *Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака*, но теперь он вспомнил бы ее и без облаков; с минувшей ночи он только и думал о ней» [Набоков]. Обычно образное значение в пейзаже имплицировано, как в рассказе Пелевина «Ника», где пейзаж нарочито депрессивен: «...*в этом облачном небе*, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина» [Пелевин]. Тональность и перцептивное значение константы «облака движутся» в пейзаже всегда устойчиво связано с состоянием субъекта восприятия, инобытийности. Каждая из констант пейзажа полисемантична, в современной «городской литературе», где обычно происходит редукция пейзажного текста, хорошо видно, какое именно значение актуализируют оставшиеся в тексте единицы.

Определение словесного образа. Из совокупности образных констант образуются интеллектуально-перцептивные классы словесных образов-текстов, в описании это прежде всего пейзаж, портрет, интерьер, событие, состояние. Образные константы «заложены» в прозу наподобие некоей системы частей речи, с определенным функциональным потенциалом

(функции романтического пейзажа, функции портрета в произведениях Тургенева, семантика солнечного света в романе «Преступление и наказание» и т. д.). Используя прием суммы контекстов (восприятий), мы выявляем семантику словесного образа и его речевую форму. Инвариантные и вариативные признаки определяются обычно путем аппликации (наложения) множества контекстов на образные константы. В этом смысле *словесный образ* — это синтез переживаний (представлений) субъекта познания об объекте восприятия в определенной речевой форме, признаками которой являются: 1) принадлежность к определенному функционально-стилистическому типу речи (в понимании В. В. Виноградова [Виноградов]), 2) целостность, 3) устойчивость и воспроизводимость вариантов речевых конструкций. Образ как текст, как словесная модель типичного восприятия действительности устойчив по форме и содержанию в каждом из типов художественного мышления.

В качестве второго примера приведем реализацию образной константы «дом был (какой)» в создании словесного образа пространства в прозе Чехова. (1) «Я ослабел и боялся своих бывших, неуютных, опостылевших комнат; <...> мы стояли в слабо освещенной передней; <...> начинал ходить по большим комнатам своего пустынного дома» («Жена» [Чехов: т. 7]); (2) «...в мрачном, пустом кабинете» («Ненастье» [Чехов: Т. 6]); (3) «А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство» («Скрипка Ротшильда» [Чехов: т. 8]); (4) «...в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. <...> кроме этого дивана, не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом» («Володя» [Чехов: т. 6]).

В нескольких десятках контекстов *комната дома* и сам *дом* как образ представлены одним набором признаков: а) в восприятии главного персонажа, рефлексирующего субъекта перцепции; б) в эмоциональной тональности — странности / чуждости / нецелесообразности бытия; в) статически — с помощью перечисления признаков в атрибутивных и бытийных конструкциях; г) динамически — с использованием световой символики в градации от плохо освещенного до тусклого, темного. Лексико-семантическое поле дома/комнаты у Чехова включает такие признаки, как 1) размер, не соответствующий потребности человека («маленький», «небольшой», «большой», «громадный»); 2) слабый источник света или его отсутствие («сидел в темноте», «темный», «мрачный»); 3) неприятный запах; 4) предметы, указывающие на отсутствие уюта, частотны лексемы «кровать», «колонны», «фортепьяно», «стены», «потолки», «хлам». Определения, как правило, имеют отрицательную семантику («душный», «оклеенные дешевыми обоями», «старый», «низкий»). Семантика визуальных

признаков, модальность кажимости и смысловые сдвиги внутри словосочетаний определяют состояние персонажа — всегда *дом* чужд человеку. Например: «...в гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, в кабинете *неприятно* подмигивало отражение моей лампы в окне» («Жена» [Чехов: Т. 7]); «Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части и *было немного страшно*, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией» («Дом с мезонином» [Чехов: т. 9]).

Интересно, что визуальные образы с нормативной положительной оценкой наблюдателя принадлежат другим (чужим): «Дом у *Песоцкого* был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда» («Черный монах» [Чехов: т. 8]). «Свой» же дом, где человек живет «сейчас», всегда маркируется отрицательными оценками, эксплицитными и имплицитными (например, с помощью темноты и запахов). Сравните восприятие того же дома: «Под Ильин день вечером в доме служили всеношную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно» («Черный монах» [Чехов: т. 8]).

Словесный образ должен пройти стадии языкового оформления — найти языковые формы объективации, субъективации, метафоризации, чтобы трансформироваться из «изображаемого» (единичного фрагмента временной картины мира, как в публицистике или мемуарной литературе) в «изображенное» (десигнативный знак, воспроизводимый фрагмент картины мира в художественной литературе). В художественном дискурсе выбор происходит в акте перцепции. Это хорошо видно из философских исследований сущности образа. Например: «Образ, как и понятия, не воспроизведение, не репродукция и, соответственно, “воображение” — не “восприятие” и не “представление”. Оно между представлением и понятием. Оно должно быть сопоставляемо с “допущением” <...>. Образ как допущение — это очень точно. Образ — всегда *гипотеза и не только перцептивная, но и интеллектуальная*» (курсив наш. — Н. Х.) [Шпет: 336–337].

Понятие («дом», «метель», «мысль», «солнце») может быть описано через категории «всегда», «для всех». *Образ* (дома, метели, мысли, солнца) актуализирован своей *окказиональной природой* («сконструирован по случайным признакам реального плана» [Колесов: 34]). Он содержит ситуативные семы времени и пространства «здесь», «сейчас / теперь». Образы в функции понятий («этим хочу показать что-либо») как раз и составляют сущность художественного текста.

Образные парадигмы. Второе определение словесного образа. Вторым важнейшим структурным элементом словесного художественного образа является его образная парадигматика (термин Н. В. Павлович [Павлович]).

Семантическая структура образа отражает процесс когнитивного моделирования, формируется путем метафоризации, последовательно развивая этимологические, отвлеченно-понятийные, символические значения (или лексико-семантические варианты образа). Для языка художественной литературы как системы свободное движение семантики слова по «ментальному циклу» (образ — понятие — символ), открытому В. В. Колесовым [Колесов: 34], совершенно естественно. На первой стадии — образ:

*Цветок засохший, безуханный,
Забывтый в книге вижу я...*

Визуально-перцептивная ситуация — это высказывание, фрагмент текста, указывающий на характер перцепции и соотнесенный с ним объект. «Видеть» не то же самое, что «рассматривать», «любоваться» или «смотреть с отвращением». Движение по ментальному циклу, или, проще говоря, означающее описание дается автором в таком объеме, чтобы от-крыть означаемое:

*И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?*

[Пушкин].

Иначе говоря, цветок всегда имеет одно из значений в семантической структуре образа — «человек, его жизнь, любовь». Взятый в этом аспекте словесный образ понимается нами иначе. Фрагмент текста произведения содержит словесные образы как единицы языка художественной литературы, существующие объективно, вне текста произведения, и образующие его символично-метафорический план.

По аналогии с общенародным языком концептуальные поля содержат в языке художественной литературы базовый фонд структурных единиц описания (образов). Так же, как и лексическое значение, образное значение входит в общую семантическую систему его словаря. Важно заметить, что в художественной речи между понятием, образом, символом нет жестких структурно-семантических границ, — это разные варианты одного семантического комплекса. Образ, получивший в тексте или в литературной речи признак воспроизводимости, обладает символическим

значением, например «убитая птица» — «гибель человека» (в прозе Тургенева, Толстого, Чехова, Вампилова и др.).

Семантическая структура *словесного образа* аналогична любому полисеманту с его парадигматическими, эпидигматическими и синтагматическими свойствами.

Так, например, все без исключения образы-фитонимы концепта «земля» в перцептивном классе образов «пейзаж» обладают схожей семантической структурой, несмотря на разницу в этимологии и мотивирующей их лексической образности. Это позволяет говорить о единстве образного значения фитонима как системной единицы поэтического языка. Использование устойчивых форм метафорической семантики вокруг фитонима отнюдь не случайно, не является абсолютно окказиональным явлением. Один из исследуемых нами фитонимов «ромашка» развивает образную структуру на данном этапе существования поэтического языка, в отличие от широко употребительных «сирень» или «роза».

Обратимся к данным «Словаря поэтических образов» Н. В. Павлович и составим на его основе модель семантической структуры образа. *Ромашка* входит в семантическую структуру образно-метафорического поля «Цветы» и имеет девять мотивированных семантических вариантов (анализируем частотные употребления) [Павлович: 671–672]. Основное значение: «растение» — репрезентант душевного облика человека. Второе и третье мотивированы концептуальным значением («цветок» — «Любовь», «женское»). Четвертое и последующее развивают метафорические значения («душа» — «свет», «простор», «пространство», «свобода»).

Ромашка: 1) *человек*: «Кроткая монашка, золотистый чепчик — / Белая ромашка, луговой советчик» (А. Сашин); «Если б гармошка умела / Всё говорить, не тая! / Русая девушка в кофточке белой, / Где ты, ромашка моя?» (А. Фатьянов); 2) *орган зрения*: «До поздней осени на нас / Бросает взгляды смелые / Ее веселый желтый глаз / Через ресницы белые» (М. Дудин); 3) *одежда*: «Летние подружки, / Белые ромашки, / Вам лесные феи / Выткали рубашки» (Ю. Мориц. Ромашки); 4) *источник света*: «Маленькое солнце на моей ладошке, — / Белая ромашка на зеленой ножке» (А. Фет); «Ромашка, излучая свет, / На солнышко похожая, / Спешит везде за нами вслед, / Своя, не переходя» (М. Дудин); 5) *пространство, простор, свобода*: «В траве, меж диких бальзаминов, / Ромашек и лесных купав, / Лежим мы, руки запрокинув / И к небу головы задрав» (Б. Пастернак. Сосны); «Подружка-жизнь, красивая дуреха, / Маши-маши с ромашковой горы!.. / И делает реке татуировку / рой мошканы» (А. Вознесенский. Спасатель); 6) *водное пространство*: «Месяц май ромашковым разливом / Наготу прикрыл родного поля. / В октябре отдашь ему, ромашка, / Ты свою последнюю рубашку!» (Л. Смирнова); «Распустились ромашки на поле, / Много-много красивых цветов. / И колыхнется белое море — / Как мечта

из несбыточных снов! / Как хочу я в него окунуться...» (Р. Недушенко); 7) *свобода*: «На ромашке нагадаешь правду» (Т. Лаврова); «Ты сожмешься на моем плече, обхватив ромашки, как свободу» (А. Вознесенский. Провожайте самолеты); 8) *звук*: «Что лепечет ромашки отрывистый чет и нечет» (И. Бродский); 9) *насекомое*: «Ромашки — точно мотыльки, / и все вокруг зелено» (И. Северянин. Поэза летней встречи) [Стихотворения о ромашке].

Мы видим, что каждое следующее значение в структуре образа обусловлено предшествующим. Как обычно, способом появления следующего лексико-семантического варианта словесного образа является метонимический и метафорический перенос по двум доминирующим семам: ромашка (цветок вообще) — «человек»: ромашка (цветок вообще) — «пространство, физическое и ментальное».

Выводы. Подводя итоги, отметим, что словесный образ изучается как структурная единица и в стилистике художественной речи как текст, и в стилистике языка художественной литературы как символ. По аналогии с общенародным языком концептуальные поля содержат в языке прозы и поэзии базовый фонд структурных единиц описания (образных констант и образных парадигм).

Развернутый или редуцированный ряд образных констант одного перцептивного класса задает семантику словесного образа и является основой теории общей образности применительно к анализу прозы большого объема. Образная константа позволяет выйти за пределы отдельного окказионального высказывания и синтезировать языковую, жанровую, поэтическую образность в пределах художественного произведения. Более подробно об этом: [Халикова 2004а].

В семантическом словаре языка художественной литературы есть целые классы образных парадигм, семантическая структура многих уже хорошо изучена. В последние десятилетия словесные образы как структурные единицы отражают специальные словари, например «Словарь поэтических образов» под ред. Н. В. Павлович, «Словарь языка русской поэзии» под ред. В. П. Григорьева, «Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» Н. А. Кожевниковой и З. Ю. Петровой («Птицы», «Растения», «Насекомые») под ред. Л. Л. Шестаковой и др.

Литература

Белый А. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы // Семиотика: антология. Москва: Языки русской культуры, 2001. С. 480–485.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука, 1981. 140 с.

Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Москва: Гослитиздат, 1959. 655 с.

Кожеевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 3: Растения. Москва: Языки славянской культуры, 2015. 448 с.

Колесов В. В. Концепт культуры: образ — понятие — символ // Вестник Ленинградского государственного университета. 1992. Сер. 2. № 2 (16). С. 3–40.

Лосев А. Ф. Форма — Стиль — Выражение. Москва: Мысль, 1995. 944 с.

Набоков В. Машенька URL: <http://lib.ru/NAVOKOW/mary.txt>.

Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: В 2 т. Т. 2. Москва: Эди-ториал УРСС, 1999. 896 с.

Пелевин В. Ника URL: <https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/42076-viktor-pelevin-nika.html>.

Пушкин А. С. Библиотека поэта. Большая серия. Т. 3: Стихотворения. Ленинград: Советский писатель, 1955. С. 471.

Пятигорский А. М. Непрерываемый разговор. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2004. 432 с.

Словарь языка русской поэзии XX века. / Сост. В. П. Григорьев, Л. Л. Шестакова и др. Москва: Языки славянской культуры, 2001–2003. Т. I. (А–В). 896 с. Т. II. (Г–Ж). 800 с.

Стихотворения о ромашке URL: <http://www.stihomaniya.ru/2014/01/stihi-pro-romashku.html#recept2>.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 3. Москва: Наука, 1979 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 5. Москва: Наука, 1980 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 7. Москва: Наука, 1981 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Халикова Н. В. (а) Об образности художественной прозы // Русский язык в школе. 2004. № 3. С. 90–96.

Халикова Н. В. (б) Категория образности художественного прозаического текста. Дис. <...> доктора филологических наук. Москва, 2004. 411 с.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 6 URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0060.shtml#32.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 7 URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0070.shtml#18.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 8 URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0080.shtml.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 9 URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0090.shtml#08.

Шнем Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. Иваново: Ивановский государственный университет, 1999. 304 с.

Якушевич И. В. Структурные модели символа в поэтическом тексте // Известия ВГПУ. 2012. № 6 (70). С. 12–15.

References

Belyj A. Pushkin, Tyutchev i Baraty`nskij v zritel`nom vospriyatii prirody` // Semiotika: antologiya. Moskva: Yazy`ki russkoj kul`tury`, 2001. S. 480–485.

Gal'perin I. R. Tekst kak ob`ekt lingvisticheskogo issledovaniya. Moskva: Nauka, 1981. 140 s.

Vinogradov V. V. O yazy`ke hudozhestvennoj literatury`. Moskva: Goslitizdat, 1959. 655 s.

Kozhevnikova N. A., Petrova Z. Yu. Materialy` k slovaryu metafor i sravnenij russkoj literatury` XIX–XX vv. Vy`p. 3: Rasteniya. Moskva: Yazy`ki slavyanskoj kul`tury`, 2015. 448 s.

Kolesov V. V. Koncept kul`tury`: obraz — ponyatie — simvol // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta. 1992. Ser. 2. № 2 (16). S. 3–40.

Losev A. F. Forma — Stil' — Vy`razhenie. Moskva: My`sl', 1995. 944 s.

Nabokov V. Mashen'ka URL: <http://lib.ru/NABOKOW/mary.txt>.

Pavlovich N. V. Slovar` poe`ticheskikh obrazov: V 2 t. T. 2. Moskva: E`ditorial URSS, 1999. 896 s.

Pelevin V. Nika URL: <https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/42076-viktor-pelevin-nika.html>.

Pushkin A. S. Biblioteka poe`ta. Bol'shaya seriya. T. 3: Stikhotvoreniya. Leningrad: Sovetskij pisatel', 1955. S. 471.

Pyatigorskij A. M. Neprekrashhaemyj razgovor. Sankt-Peterburg: Azbuka-Klassika, 2004. 432 s.

Slovar` yazy`ka russkoj poe`zii XX veka. / Sost. V. P. Grigor'ev, L. L. Shestakova i dr. Moskva: Yazy`ki slavyanskoj kul`tury`, 2001–2003. T. I. (A–V). 896 s. T. II. (G–Zh). 800 s.

Stikhotvoreniya o romashke URL: <http://www.stihomaniya.ru/2014/01/stihi-pro-romashku.html#recept2>.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 3 Moskva: Nauka, 1979 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 5 Moskva: Nauka, 1980 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 12 t. T. 7 Moskva: Nauka, 1981 URL: <https://rvb.ru/turgenev/>.

Khalikova N. V. (a) Ob obraznosti khudozhestvennoj prozy` // Russkij yazy`k v shkole. 2004. № 3. S. 90–96.

Khalikova N. V. (b) *Kategoriya obraznosti khudozhestvennogo prozaicheskogo teksta. Dis. <...> doktora filologicheskikh nauk. Moskva, 2004. 411 s.*

Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 18 t. T. 6* http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0060.shtml#32.

Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 18 t. T. 7* URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0070.shtml#18.

Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 18 t. T. 8* URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0080.shtml.

Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. Sochineniya: V 18 t. T. 9* URL: http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0090.shtml#08.

Shpet G. *Vnutrennyaya forma slova: E`tyudy` i variacii na temy` Gumbol`dta. Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvenny`j universitet, 1999. 304 s.*

Yakushevich I. V. *Strukturny`e modeli simvola v poe`ticheskom tekste // Izvestiya VGPU. 2012. № 6 (70). S. 12–15.*

Сведения об авторе: Наталья Владимировна Халикова; доктор филологических наук; доцент; профессор кафедры современного русского языка; Московский государственный областной университет; ORCID 0000-0003-4415-8179; vlstd@yandex.ru; сфера научных интересов: стилистика, язык художественной литературы, поэтика.

The author's profile: Natalia Vladimirovna Khalikova; Doctor of Philology; Associate Professor; Associate Professor at Modern Russian Language Department; Moscow State Regional University; ORCID 0000-0003-4415-8179; vlstd@yandex.ru; research interests: stylistics, language of fiction, poetics.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

УДК 81-11

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.18

ОБ АНАЛИЗЕ ПОРЯДКА СЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В АТТРИБУТИВНОЙ ГРУППЕ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ КЛАССОВ

ON THE ANALYSIS OF THE ORDER OF ATTRIBUTES IN AN ATTRIBUTIVE GROUP IN ENGLISH AND RUSSIAN BASED ON THE CLASS THEORY

**Инна Михайловна Петрова,
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия**

**Inna Mikhailovna Petrova,
Moscow City University,
Moscow, Russia**

Аннотация

Статья посвящена вопросам анализа порядка следования определений в атрибутивной группе в английском и русском языках. Данная структура исследуется с позиции теории классов, которая выступает как обоснование когнитивного механизма классификации объектов окружающей действительности у говорящего. Высказывается гипотеза о том, что прилагательные в такой структуре отражают объективные характеристики объекта действительности, однако изменение порядка следования атрибутов служит показателем субъективной классификации и маркирует релевантные для говорящего признаки объекта. Отмечается, что говорящий, классифицируя объекты окружающей действительности, располагает наиболее значимый параметр классификации ближе к определяемому существительному. На основе эмпирического материала, полученного в результате анализа объективных данных в динамике посредством поисковой системы Google, демонстрируются различия в классификации объектов действи-

тельности у русскоязычных и англоязычных пользователей системы, делаются выводы об эффективности теории классов для подобного анализа.

Ключевые слова: атрибутивная группа, порядок следования определений, теория классов, когнитивные механизмы классификации, классификация объектов действительности, релевантные характеристики.

Abstract

This article looks into classification of objects of reality by the speakers of different languages through the word order in the attributive group. The aim of this paper is to investigate these constructions using *the class theory*. The class theory explains the cognitive mechanism for classifying objects of the surrounding reality. We consider the specificity of the picture of the world, which is peculiar to speakers of different languages, and compare their *features of classification of objects of reality*. It is possible to establish common and different features both in perception and in expression of specific aspects and characteristics, that is, how a person constructs the world through his / her phrase.

In order to conduct the word order analysis in the attributive group, we can set the general classification principle: each adjective in the attributive phrase stands for a certain class of parameters of the object. The traditional order of attributes in the attributive phrase (Attribute + Attribute + Noun) helps to establish the adjective that characterizes a stable class of units based on objective features. There are cases when an attribute characterizes a certain subclass based on purely subjective criteria of the speaker. This leads to the change in the order of attributes and can be considered as the indicator of characteristics that are relevant to the speaker in such case. The article also advocates the idea that the speaker puts the most significant classification parameter closer to the noun being determined while classifying objects of the surrounding reality.

Our description rests on the evidence obtained experimentally. The empirical material is based on the data collected in dynamics through the Google search engine. The digital data provide information about the frequency of occurrence of an attributive phrase in the search engine. This evidence reveals the relevance of the analyzed attributive group to the speaker of the language. Our data show that there is some difference in the classification of objects by Russian-speaking and English-speaking users of the system. The results obtained indicate that the analysis of the word order in the attributive group helps to establish differences in the speaker's relevant characteristics of the object of surrounding reality.

Key words: attributive group, order of attributes, class theory, mechanisms of cognitive classification, classification of objects of surrounding reality, relevant characteristics.

Введение. Цель данной статьи — продемонстрировать эффективность теории классов при анализе когнитивных механизмов говорящего. Ана-

лиз когнитивных механизмов строится на основе того, каким образом говорящий организует атрибутивную группу. Прилагательные, входящие в многочисленную атрибутивную группу, определяют не только структуру, но и значение подобной конструкции. В. В. Виноградов отмечал, что «семантической основой имени прилагательного является качество» [Виноградов 1972:151]; соответственно, выделение качественных характеристик объекта в порядке, отражающем релевантность этих характеристик для говорящего, находит отражение в расположении элементов атрибутивной цепочки. В результате это обстоятельство позволяет исследователям в процессе анализа выявлять новые грани и стороны когнитивных механизмов категоризации и классификации объектов в сознании говорящего. Учитывая специфику картины мира, свойственной носителям разных языков, и сопоставляя их особенности классификации объектов действительности, можно установить общее и различное как в восприятии, так и в «выражении конкретных аспектов и характеристик, то есть того, каким образом человек конструирует (а не просто отражает) окружающий мир в своем сознании» [Болдырев 2014: 120]. В рамках данной статьи мы попытаемся показать, что изменение порядка следования компонентов атрибутивной цепочки не только отражает фиксацию изменений в значимых для говорящего качествах объекта, но и некоторые особенности языковой ментальности, в данном случае на примере английского и русского языков. Значимым обстоятельством в контексте этого анализа является то, что в качестве инструмента эмпирического исследования нами использована поисковая система Google, позволяющая получить фактические данные относительно языкового материала в динамике, а теоретической основой выступает теория классов, которая обладает значительной объяснительной силой при интерпретации когнитивных механизмов классификации объектов действительности [Сулейманова 2018].

Методология. Теория классов затрагивает когнитивные проблемы категоризации и классификации объектов действительности, рассматривая их чаще всего через призму грамматических категорий. Так, в работах А. В. Бондарко, В. П. Касевича, Е. С. Кубряковой, И. Е. Аничкова, И. А. Мельчука, И. В. Недялкова и Р. О. Якобсона и многих других прямо или косвенно упоминаются проблемы когнитивного анализа. Наряду с этим в лингвистике уделяется внимание и процессам деления слов на классы в рамках частей речи [Баудер 1983; Кривоносов 2001], и семантическим классам самим по себе [Сильницкий 1986; Бурханов 1984; Кузнецов 1997; Ким 2001], а кроме того, проводится типологическое сопоставление классов знаменательных слов и их валентностей в английском, немецком, французском и русском языках [Типологическое сопоставление семантических классов 1975]. В результате, в большинстве случаев класс понимается как «продукт» когнитивной категоризации,

получившей отражение в естественном языке. Такой подход к пониманию понятия класса дает возможность широкой интерпретации различных грамматических явлений — например, категории неопределенности [Сулейманова 1987: 2015].

Нам представляется целесообразным рассматривать теорию классов в контексте методов когнитивных исследований в рамках грамматики конструкций Ч. Филлмора, А. Гольдберг, Дж. Байби и др. Согласно этому подходу всякая конструкция предпочитает свои классы контейнеров. Атрибутивная группа состоит из прилагательных определений, которые согласно Дж. Тейссер выполняют три функции: 1) описание; 2) категоризация; 3) идентификация. В соответствии с этим выделяются три группы прилагательных: характеризующие, классифицирующие и специфицирующие [Teysier 1968: 248].

Таким образом, рассматриваемая атрибутивная группа представляет собой структуру: определение1 + определение2 + существительное, например, *модная новая рубашка*. Определения, выраженные прилагательными, представляют собой характеристики объекта, которые помещают его в определенный класс предметов. В данном случае прилагательное *новая* выступает как классифицирующее прилагательное, которое относит объект действительности *рубашка* к классу новых вещей, а прилагательное *модная* характеризует предмет данного класса. Если происходит изменение порядка слов определений в заданной структуре, то изменяется и классификация объекта действительности. Другими словами, фраза *новая модная рубашка* показывает, что говорящий относит объект к классу модных вещей, а характеристика *новая* является уточняющим параметром объекта. Рассмотрим подробнее вопрос о порядке слов в атрибутивной группе.

В ряде описаний атрибутивных конструкций в английском языке присутствует традиционный взгляд на порядок следования компонентов, например, в работах [Eastwood 2002], [Foley 2008], [Hewings 2002], [Дроздова 2012], [Крылова 2009] и др. он представлен в следующей последовательности: *opinion-size-quality/character-age-shape-colour-participles-origin-material-type-purpose*. А. Хорнби [Хорнби 1992: 229] представляет несколько другую последовательность расположения компонентов атрибутивной группы: *опредетели, качество, размер, длина, форма, цвет, материал, назначение, определяемое существительное*, ср.: *a very valuable old gold watch; those smart brown snake skin shoes*. М. Халлидей описывает структуру номинативной группы как последовательность элементов: *Deictic, Numerative, Epithet and Classifier* [Halliday 2014: 364]. В данном подходе имеет место выделение классификаторов, которые демонстрируют принадлежность предмета к определенному классу. Таким образом, анализ описаний атрибутивной цепочки в английском языке позволяет нам говорить о том, что ближе всего к существительному располагается объект,

классифицируемый говорящим как релевантный, и это служит подтверждением интерпретации порядка следования компонентов, предложенной Н. А. Кобриной [Кобрина: 2007]: «<...> ближе к определяемому слову располагается *классифицирующее* прилагательное, т.к. оно выражает *постоянные, ингерентные признаки и свойства* предмета. Следующую позицию влево занимает описательное (explicative, descriptive) прилагательное (количественное, относительное, качественное). Далее влево располагаются детерминирующие прилагательные, дейктические элементы, артикли, идентифицирующие всю последующую цепочку, определяющие ее смысловую и коммуникативную значимость» [Кобрина 2007:127].

Что касается описания расположения атрибутивных элементов в конструкции в русском языке, то нам представляется наиболее полной схема, предложенная Л. П. Крысиным, которая выглядит следующим образом: местоименное определение — порядковое числительное — оценочное прилагательное (*хороший, прекрасный, великодушный, отвратительный*) — определение, характеризующее величину — форму предмета — цвет — материал — прилагательное, называющее функцию или состояние предмета (или существа) [Крысин 2004].

Основная часть. Проведенный анализ литературы по описанию порядка следования элементов атрибутивной группы позволил нам прийти к заключению о том, что данный порядок можно задать общим «классификационным» принципом, а именно: прежде всего установить то прилагательное, которое характеризует *устойчивый класс* единиц на основе объективных признаков, например, в ИГ *красивый современный многоэтажный дом* — это слово *многоэтажный*. В данной фразе определение *современный* отражает устойчивый подкласс в системе: старый-новый, а определение *красивый* характеризует определенный подкласс, сформированный на основе исключительно субъективных критериев говорящего. Другими словами, для говорящего актуально наличие данного (под)класса объектов, с одной стороны, и то, насколько важно выделение этого подкласса в данном конкретном случае. Таким образом, первый компонент в атрибутивной конструкции является главным и наиболее значимым с коммуникативной точки зрения, и приписывается некоторому члену известного класса объектов. Если говорить об актуальном членении атрибутивного словосочетания, то первое слово можно определить, как рему, последующее определение имеет функцию переходного компонента, а определяемое слово является темой, ср.: *blond (P) healthy (ПК) hair (T); a trendy (P) silk (ПК) skirt (T)*. В результате, если говорящий полагает принадлежность описываемого объекта к (под)классу заданной, он ставит прилагательное, выделяющее данный (под)класс непосредственно перед существительным, далее предпосылая этому прилагательному более «рематичные» в данной ситуации признаки.

Для верификации изложенных выше положений нами было проведено эмпирическое исследование на основе анализа конкурирующих запросов атрибутивных цепочек в поисковой системе Google. Ниже представлена небольшая часть результатов проведенного исследования.

Исследование проводилось следующим образом: выбиралась атрибутивная конструкция, которая содержала два определения и их порядок рассматривался как расположение согласно классификации актуальных параметров объекта действительности со стороны говорящего, а именно: ближайшее прилагательное от существительного представляло релевантный класс параметров для говорящего. Далее задавался запрос на данную конструкцию в поисковой системе, затем структура конструкции подвергалась следующим изменениям: ближе к существительному располагалось другое определение и также устанавливалось число вхождений в рамках данной фразы. В представленных ниже Таблице 1 и Таблице 2 отражены результаты эксперимента на конкретный период времени.

Таблица 1

Количество вхождений ИГ по Google на 10.07.2018 (английский язык)

	Словосочетание (А)	Число вхождений	Словосочетание (В)	Число вхождений
1	a smart strong man	12,100,000	a strong smart man	508,000,000.
2	healthy delicious food	540,000,000	delicious healthy food	529,000,000
3	fresh beautiful flowers	608,000,000	beautiful fresh flowers	534,000,000
4	long hard road	797,000,000	hard long road	871,000,000
5	dangerous interesting adventure	50,700,000	interesting dangerous adventure	61,900,000
6	a big beautiful house	912,000,000	a beautiful big house	904,000,000
7	reasonable effective advice	83,300,000	effective reasonable advice	87,000,000
8	a fashionable new shirt	111,000,000	a new fashionable shirt	907,000,000
9	an expensive fast car	907,000,000	a fast expensive car	205,000,000
10	a calm kind child	165,000,000	a kind calm child	119,000,000

Таблица 2

Количество вхождений ИГ по Google на 10.07.2018 (русский язык)

	Словосочетание (А)	Число вхождений	Словосочетание (В)	Число вхождений
1	умный сильный мужчина	12,100,000	сильный умный мужчина	12,900,000
2	вкусная здоровая пища	385,000	здоровая вкусная пища	427,000

Окончание табл. 2

	Словосочетание (А)	Число вхождений	Словосочетание (В)	Число вхождений
3	свежие красивые цветы	22,900,000	красивые свежие цветы	22,900,000
4	долгая трудная дорога	2,010,000	трудная долгая дорога	2,070,000
5	опасное интересное приключение	10,200,000	интересное опасное приключение	10,500,000
6	большой красивый дом	23,200,000	красивый большой дом	34,200,000
7	разумный эффективный совет	4,470,000	эффективный разумный совет	3,810,000
8	модная новая рубашка	8,970,000	новая модная рубашка	9,570,000
9	дорогая быстрая машина	7,480,000	быстрая дорогая машина	7,650,000
10	спокойный добрый ребенок	12,600,000	добрый спокойный ребенок	13,100,000

Поскольку каждое определение представляет собой определенный класс параметров объекта действительности, то цифровые данные позволяют делать выводы о частоте вхождений фразы в поисковую систему, а значит, о ее актуальности для носителей данного языка. Ниже приведем примеры сравнительного анализа атрибутивных конструкций для демонстрации эффективности теории классов при выявлении значимых параметров объекта действительности для говорящего.

Фраза *умный сильный мужчина* продемонстрировала наличие 12,100,000 вхождений, а фраза *сильный умный мужчина* 12,900,000; английский вариант *a smart strong man* — 12,100,000 и *a strong smart man* — 508,000,000. Согласно вышеизложенному подходу данные цифры могут быть интерпретированы следующим образом: в русском языковом сознании на конкретный момент различие между классом «сильный мужчина» и «умный мужчина» не является критичным, хотя разница говорит, что предпочтение отдается классу «умный мужчина», а данные на материале английского языка демонстрируют явное предпочтение классу *smart man* — 508,000,000. Это позволяет сделать вывод о том, что в англосаксонском (или западном) сознании выделяется скорее класс умных мужчин, чем сильных.

Рассмотрим еще один пример: *вкусная здоровая пища* — 385,000 и *здоровая вкусная пища* — 427,000; *delicious healthy food* — 529,000,000 и *healthy delicious food* — 540,000,000. Данные показывают, что класс «вкусная пища» и *delicious food* в обоих языковых сознаниях преобладают, но если обратить внимание на разность между классом «здоровая пища» и «вкусная пища» в русскоязычных запросах, то можно отметить существенное различие в пользу класса «вкусная пища», в то время как в англоязычных запросах данная разница не столь существенна. Из приведенных данных

можно заключить, что для русскоязычного сознания вкус пищи имеет большее значение, чем ее полезные характеристики. Это наблюдение отражает особенности восприятия действительности в языковой картине мира как русскоязычных, так и англоязычных пользователей Google и выступает объективным фактом, демонстрирующим различия в когнитивных механизмах категоризации действительности.

В качестве реалии бытия возьмем такое важное понятие для любого человека, как «дом». Фраза *большой красивый дом* — 23,200,000 вхождений, а фраза *красивый большой дом* — 34,200,000; *a big beautiful house* — 912,000,000 и *a beautiful big house* — 904,000,000. Как видно из приведенных результатов, в англоязычной среде нет существенной разницы между классами *a beautiful house* и *a big house*, однако русскоязычные пользователи отдают явное предпочтение классу «большой дом» по сравнению с классом «красивый дом». Данное обстоятельство может быть объяснено влиянием исторического пути развития России и тех трудностей, с которыми сталкивалось население в жилищных вопросах.

Выводы. Проведенное экспериментальное исследование показало, что порядок следования элементов в атрибутивной цепочке выступает весьма информативным фактором, который демонстрирует особенности когнитивных механизмов классификации в языковом сознании носителей языка. Порядок следования определений в атрибутивной группе обусловлен теми характеристиками, которые говорящий считает релевантными и которые отражают классификацию объекта действительности в его сознании. Анализ атрибутивной группы на основе теории классов выступает эффективным механизмом, определяющим особенности языкового сознания. Такой анализ позволяет выявить различия в классификации объектов действительности у русскоязычных и англоязычных пользователей поисковой системы и тем самым расширить наши представления об особенностях языковой картины мира носителей разных языков. Использование эмпирических данных в динамике поисковой информационной системы Google служит объективным инструментом исследования языковых явлений подобного рода. Данный подход представляется весьма перспективным и интересным для дальнейших работ в этой области.

Литература

Баудер А. Я. Части речи как структурно-семантические классы: Дис. ... д-ра филол. наук. Таллин, 1983. 443 с.

Бурханов И. Ю. Семантический объем лексико-грамматического класса прилагательных в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Баку, 1984. 177 с.

Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Москва: Высшая школа, 1972. 601 с.

Дроздова Т. Ю., Маилова В. Г., Берестова А. И. English Grammar: Reference and Practice. Санкт-Петербург: Антология, 2012. 400 с.

Ирисханова О. К. Дефокусирование и категоризация в комплексных лексических единицах // Когнитивные исследования языка. 2010. Вып. VII. С. 78–93.

Крылова И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. Москва: Университет, 2009. 442 с.

Кобрина Н. А. Теоретическая грамматика современного английского языка: Учебное пособие. Москва: Высшая школа, 2007. 368 с.

Кривоносов А. Т. Система классов слов как отражение структуры языкового сознания: (Философские основы теоретической грамматики). Москва — Нью-Йорк, 2001. 846 с.

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.

Кузнецов Д. В. Семантические классы обстоятельственных лексических показателей фазовости в русском и английском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 1997.

Сильницкий Г. Г. Семантические классы глаголов в английском языке: Учеб. пособие к спецкурсу. Смоленск: СГПИ, 1986. 145 с.

Сулейманова О. А. Некоторые семантические типы субстантивов и их актуализаторы весь / целый и all / whole: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987. 217 с.

Сулейманова О. А. Category of definiteness / indefiniteness in didactic perspective // Педагогический журнал Башкортостана. 2015. № 1 (56). С. 203–209.

Сулейманова О. А., Петрова И. М. Экспланаторный потенциал теории классов для лингвистического исследования: порядок следования определений // Филология: научные исследования. 2018. № 3. С. 52–64 URL: http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=26758.

Типологическое сопоставление семантических классов знаменательных слов и их валентностных признаков в английском, немецком, французском и русском языках: Сборник статей / Ред. коллегия: Г. Г. Сильницкий (отв. ред.) и А. С. Зверева. Смоленск: Смол. пед. ин-т им. Карла Маркса, 1975. 110 с.

Хорнби А. С. Конструкции и обороты английского языка. Москва: АО «Буклет», 1992. 264 с.

Downing A., Locke P. English Grammar. A university course. Second edition. The Taylor & Francis e-Library, 2006. 640 p.

Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 2002. 453 p.

Foley M., Hall D. Advanced Learner's Grammar. A self-study reference and practice book with answers. Pearson Education Limited, 2008. 384 p.

Halliday M. A. K. Halliday's Introduction to Functional Grammar. Fourth edition. Routledge. The Taylor & Francis Group, 2014. 700 p.

Hewings M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2002. 340 p.

Wulff S. A multifactorial corpus analysis of adjective order in English // International Journal of Corpus Linguistics. 2003. 8: 2. P. 245–282.

References

Bauder A. Ya. Chasti rechi kak strukturno-semanticheskie klassy': Dis. ... d-ra filol. nauk. Tallin, 1983. 443 s.

Burkhanov I. Yu. Semanticheskij ob'em leksiko-grammaticheskogo klassa prilagatel'ny'kh v sovremennom anglijskom yazy'ke: Dis. ... kand. filol. nauk. Baku, 1984. 177 s.

Vinogradov V. V. Russkij yazy'k. Grammaticheskoe uchenie o slove. Moskva: Vysshaya shkola, 1972. 601 s.

Drozдова T. Yu., Mailova V. G., Berestova A. I. English Grammar: Reference and Practice. Sankt-Peterburg: Antologiya, 2012. 400 s.

Iriskhanova O. K. Defokusirovanie i kategorizaciya v kompleksny'kh leksicheskikh ediniczhakh // Kognitivny'e issledovaniya yazy'ka. 2010. Vy'p. VII. C. 78–93.

Kry'lova I. P. Grammatika sovremennogo anglijskogo yazy'ka: Uchebnik dlya studentov institutov i fakul'tetov inostranny'kh yazy'kov. Moskva: Universitet, 2009. 442 s.

Kobrina N. A. Teoreticheskaya grammatika sovremennogo anglijskogo yazy'ka: Uchebnoe posobie. Moskva: Vysshaya shkola, 2007. 368 s.

Krivososov A. T. Sistema klassov slov kak otrazhenie struktury' yazy'kovogo soznaniya: (Filosofskie osnovy' teoreticheskoy grammatiki). Moskva — N'yu-Jork, 2001. 846 s.

Kry'sin L. P. Russkoe slovo, svoe i chuzhoe: issledovaniya po sovremennomu russkomu yazy'ku i sociolingvistike. Moskva: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2004. 888 s.

Kuznecov D. V. Semanticheskie klassy' obsoyatel'svenny'kh leksicheskikh pokazatelej fazovosti v russkom i anglijskom yazy'kax: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Kemerovo, 1997.

Sil'niczkij G. G. Semanticheskie klassy' glagolov v anglijskom yazy'ke: Ucheb. posobie k speczkursu. Smolensk: SGPI, 1986. 145 s.

Sulejmanova O. A. Nekotory'e semanticheskie tipy' substantivov i ikh aktualizatory' ves' / cely' i all / whole: Dis. ... kand. filol. nauk. M., 1987. 217 s.

Sulejmanova O. A. Category of definiteness / indefiniteness in didactic perspective // *Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana*. 2015. № 1 (56). S. 203–209.

Sulejmanova O. A., Petrova I. M. E'ksplanatorny'j potencial teorii klassov dlya lingvisticheskogo issledovaniya: poryadok sledovaniya opredelenij // *Filologiya: nauchny'e issledovaniya*. 2018. № 3. S. 52–64. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=26758.

Tipologicheskoe sopostavlenie semanticheskikh klassov znamenatel'ny'kh slov i ix valentnostny'kh priznakov v anglijskom, nemeczkom, francuzskom i russkom yazy'kax: *Sbornik statej / Red. kollegiya: G. G. Sil'niczkij (otv. red.) i A. S. Zvereva*. Smolensk: Smol. ped. in-t im. Karla Marksa, 1975. 110 s.

Khornbi A. S. Konstrukcii i oboroty' anglijskogo yazy'ka. Moskva: AO "Buklet", 1992. 264 s.

Downing A., Locke P. English Grammar. A university course. Second edition. The Taylor & Francis e-Library, 2006. 640 p.

Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 2002. 453 p.

Foley M., Hall D. Advanced Learner's Grammar. A self-study reference and practice book with answers. Pearson Education Limited, 2008. 384 p.

Halliday M. A. K. Halliday's Introduction to Functional Grammar. Fourth edition. Routledge. The Taylor & Francis Group, 2014. 700 p.

Hewings M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2002. 340 p.

Wulff S. A multifactorial corpus analysis of adjective order in English // *International Journal of Corpus Linguistics*. 2003. 8: 2. P. 245–282.

Сведения об авторе: Инна Михайловна Петрова; кандидат филологических наук; доцент; Институт иностранных языков; Московский городской педагогический университет; ORCID 0000-0003-3595-6857; miinna@yandex.ru; сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, когнитивная семантика, теория перевода, сопоставительное языкознание.

The author's profile: Inna Mikhailovna Petrova; Candidate of Philology; Associate Professor; Institute of Foreign Languages; Moscow City University; ORCID 0000-0003-3595-6857; miinna@yandex.ru; research interests: cognitive linguistics, cognitive semantics, translation theory, comparative linguistics.

УДК 81-2

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.19

**ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА
В РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ:
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТОВСКО-РУССКОГО
КОНТАКТИРОВАНИЯ)**

**INTERNATIONAL WORDS IN THE RUSSIAN SPEECH
OF BILINGUAL STUDENTS:
THE LINGUODIDACTIC ASPECT
(A CASE STUDY
OF THE LITHUANIAN-RUSSIAN CONTACTING)**

**Наталья Авина
Университет Vytautas Magnus,
Литва**

**Natalja Avina
Vytautas Magnus University,
Lithuania**

Аннотация

В данной статье в ситуации литовско-русского контактирования рассматриваются проблемы интерференции, связанные с интернациональными словами, в русской речи студентов-билингвов и определяются некоторые особенности работы над речевыми ошибками. Региональные особенности обуславливают проблемно-ориентированный подход в преподавании русского языка: обращается особое внимание на сравнительно-сопоставительный анализ контактирующих языков.

Ключевые слова: интернациональные слова, интерференция, речевые ошибки, билингв, языковое контактирование, лингводидактический аспект.

Abstract

Internationalization has become one of the most socially significant language processes during the last decades. In intercultural communication, the interference caused by the adaptation of borrowings in contacting languages identifies the specifics of the process of internationalization. Such interference

in general does not prevent communication, but causes problems of speech culture.

The present article studies the interference related to the use of international words in the situation of the Lithuanian-Russian contacting in order to prevent possible speech errors. The study material is the Russian written and oral speech of bilingual students in different communication situations.

The research highlights typical cases of interference related to international words. Firstly, the use of international words can lead to speech errors. Internationalisms, as one of the types of borrowings, may differ during the adaptation in contacting languages, which leads to interference and speech errors in inter-language communication. Speech errors are mainly associated with pronunciation and stress, word formation, and to a lesser extent with grammar. In written speech — in spelling — the interference of international words is most pronounced. Secondly, international words become a new source of borrowing due to the contacting language.

In the foreign language environment, the correction of violations of the speech norm of bilinguals deserves close attention. The use of internationalisms determines the methods of teaching the Russian language in a particular interlingual situation. In order to prevent speech errors, it is important to apply a comparative aspect and to identify patterns that underlie speech errors.

The considered manifestations of interference associated with international vocabulary and typical for the Russian language in a foreign language environment have their own regional characteristics in the situation of Lithuanian-Russian contacting.

Key words: international words, interference, speech errors, bilingual, aspect, language learning and acquisition.

Введение. Развитие современного общества XXI века характеризуется расширением масштабов и углублением интенсивности межкультурного и межъязыкового взаимодействия. Один из наиболее живых и социально значимых процессов межкультурной коммуникации в период последних десятилетий — интернационализация. Многочисленные исследования демонстрируют своеобразие проявления универсальной тенденции интернационализации лексики, словообразования в различных национальных литературных языках.

Интернационализмы можно рассматривать как «слова, совпадающие по своей внешней форме (с учетом закономерных соответствий звуков и графических единиц в конкретных языках), с полно или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия международного характера из области науки и техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в разных, прежде всего неродственных (не менее чем в трех) языках» [Бельчиков: 197]. Как известно, суть языковой интернационали-

зации заключается прежде всего в том, что в результате социокультурных и языковых контактов в группах родственных и неродственных языков формируются своеобразные «зоны общности», представляемые соотносящимися между собой элементами — интернационализмами. Исследователи отмечают, что специфическая черта интернационализмов — межъязыковое сходство в планах содержания и выражения — предопределяет их важную роль в речевой коммуникации, представляющей собой стратегический процесс, базисом для которой является выбор оптимальных языковых ресурсов. Разумное и адекватное использование интернационализмов способствует успешной коммуникации, расширяет ее возможности и делает более эффективной. При этом «традиции и новации в освоении новых иноязычных слов на рубеже тысячелетий убеждают нас в том, что жизнь языка не закончилась с “нахлынувшей волной” чужих слов — она приняла иной, активный, деятельностный характер» [Маринова: 464]. Тем не менее вопрос о мере в употреблении иноязычных слов — «вечный» в культуре речи.

Активизация интернационализмов в ситуации языкового взаимодействия — один из важных элементов стратегии культурно-языкового поведения билингвов, обусловленный коммуникативным удобством и коммуникативной целесообразностью. Вместе с тем в ситуации межъязыкового контактирования активизация интернационализмов может привести к неоднозначным последствиям, которые необходимо предупреждать. Специфику процесса интернационализации определяет также влияние контактирующего языка — как косвенное, опосредованное, так и прямое. Интернациональные слова в речевом общении коммуникантов становятся дополнительным источником интерференции. Особенности интерференции, связанные с интернациональной лексикой в русской речи, носят универсальный характер и отмечаются исследователями языка русского зарубежья в разном иноязычном окружении (см., например, [Земская: 119–121, 184–208]).

Безусловно, подобная интерференция, касающаяся использования интернациональных слов, обычно не препятствует коммуникации. Следует согласиться и с тем, что в современный период «движение нормы в сторону демократизации и доступности — одна из основных тенденций развития языка. Явно, что формальная правильность в настоящее время в определенной степени уступает правильности коммуникативной» [Степаненко: 2068]. Между тем речевые ошибки, и в частности ошибки, связанные с интернационализмами, вызывают проблемы культуры речи. Это особенно касается речи молодежи, и прежде всего студентов, представляющих наиболее активную часть социума, которая живо реагирует на все изменения, происходящие в нем, в том числе языковые, и, в свою

очередь, оказывает влияние на состояние современной речи (см. об этом, например [Леорда: 7–19]).

Цель данной статьи — рассмотреть проблемы интерференции, связанные с интернациональными словами, в ситуации литовско-русского контактирования, и определить некоторые особенности работы над речевыми ошибками.

Материалом исследования является русская устная речь в различных ситуациях общения, а также письменная речь (учебные работы, деловые электронные письма) студентов-билинггов. Исследуемые билингвы, обычно из смешанных литовско-русских семей, довольно свободно владеющие двумя языками, — студенты-филологи ряда вузов г. Вильнюса, изучающие русский язык. Для респондентов типично стихийно усвоенное двуязычие, возникающее в данном языковом окружении в результате широкой речевой практики. Хотя уровень владения русским литературным языком у разных билингвов неодинаков, в целом для них характерна естественность и натуральность общения в устной, отчасти — и в письменной форме.

Методологические установки исследования региональных особенностей русского языка в иноязычном окружении включают взаимодействие и взаимосвязь: а) научных подходов — прежде всего структурно-системного (с целью выявления специфики языка, обусловленной взаимодействием с окружающими языками), а также коммуникативно-функционального, предполагающего изучение языковых явлений в процессе речевой деятельности; б) аспектов исследования — собственно лингвистического, а также дидактического, социокультурного. В связи с этим теоретической базой исследования являются работы Э. Хаугена, Е. А. Земской, Л. П. Крысина и других ученых. Основные методы исследования — качественно-количественный анализ лингвистических фактов (при этом важны приемы функционального, коммуникативно-прагматического подхода к анализируемым элементам), а также сравнительно-сопоставительный, описательный.

Основная часть. Каждый язык, выступая в качестве реципиента, вырабатывает свои приемы и способы адаптации иноязычных слов — фонетические, семантические, словообразовательные, грамматические, графические, орфографические (см. об этом, например, [Хауген: 344–382], [Крысин: 37–57]). Проявления интерференции в межкультурной коммуникации связаны со спецификой адаптации заимствований в каждом из контактирующих языков, что обусловлено их системно-структурными особенностями. «Иноязычное слово, попадая в систему заимствующего языка, подвергается “обработке”: графический и звуковой состав слова, его грамматические характеристики, лексическое значение и стилистический облик “подстраиваются” под законы и закономерности принимающего языка. Происходит адаптация слова на чужой лингвистической

почве, его “национализация”» [Маринова: 70]. Интернационализмы — одна из разновидностей заимствований, и в результате адаптации интернационализмы в контактирующих языках могут отличаться, что приводит к интерференции и активизации речевых ошибок в межкультурной коммуникации.

Так, хотя значительная часть интернациональных слов в русском и литовском языках совпадает, как показывают используемые словари¹, существуют специфические черты адаптации интернационализмов в контактирующих языках. Это приводит к речевым ошибкам, преимущественно — в фонетике, словообразовании, в меньшей степени — в грамматике. Наиболее ярко интерференция проявляется в орфографии. Речевые ошибки могут быть обусловлены одновременно несколькими различиями интернационализмов в русском и литовском языках, например, фонетическими особенностями и написанием: *аллергия* — *alėrgija*; *баллон* — *balionas*; *культура* — *kultūra*; фонетическими и грамматическими особенностями: *фортепьяно* (нескл.) — *fortepijōnas* (склон.), *жалюзи* (нескл.) — *žaliūzės* (склон.), *диагноз* (м.р.) — *diagnōzė* (ж.р.).

Выделим типичные ошибки использования интернациональных слов в устной и письменной русской речи билингвов, обусловленные взаимодействием с литовским языком.

1. Речевые ошибки, характерные для устной речи.

А) Ошибки, обусловленные фонетическими особенностями:

- акцентологические ошибки, касающиеся изменения места ударения в русском слове под влиянием литовского соответствия: Нужно подобрать *синонимы* (лит. *sinonimas*); Использовать правильные *методы* (лит. *metodas*); Я испытываю *ностальгию* по тем временам (лит. *nostalgija*); В магазине большой выбор *линолеума* (лит. *linolėumas*); Важно соблюдать *регламент* (лит. *reglamente*), Там *комплексные* обеды *недорогие* (лит. *kompleksinis*); другие примеры: *конкурс* *konkursas*, *кредит* — *krėditas*, *монитор* — *monitorius*, *шахматы* — *šachmatai*; акцентологические ошибки часто наблюдаются в словах с определенными интернациональными компонентами, ср.: *-граф*: *эпиграф* — *epigrāfas*, *фотограф* — *fotogrāfas*, *этнограф* — *etnogrāfas*; *-лог*: *филолог* — *filolōgas*, *психолог* — *psicholōgas*; *-мент*: *департамент* — *departamente*, *парламент* — *parlamente*, *регламент* — *reglamente*; *-метр*: *термометр* — *termometras*, *спидометр* — *spidometras*; *-ия(а)*: *психотерапия* — *psichoterapija*, *полисемия* — *polisemija*;

¹ Перевод слов, приводимых в данной статье в качестве примеров, и их отнесенность к интернациональным словам уточняется по словарям: *Lyberis A. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. 6-as leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. 952 p.; Tarptautinių žodžių žodynas / Redaktorių taryba: Angelė Kaulakienė et al. Vilnius: Alma littera, 2013. 888 p.*

- ошибки, связанные с заменой различных звуков в ряде интернационализмов в русской речи, например: Встречаемся около кафедры (лит. *katedra*); Что изучает ортоэпия? (лит. *ortoerija*); Можно завтра прийти на консультацию? (лит. *konsultacija* — ср.: / твердый); Наука о гестах (лит. *gestas* «жест»); подобные ошибки распространены в словах, где происходит регулярно замена соответствующих звуков в русском и литовском языках, например: а) замена согласных: *ф* — *t*: логарифм — *logaritmas*, орфография — *ortografija*, марафон — *maratonas*, мифология — *mitologija*; *л'* — *l*: культура — *kultūra*, фильм — *filmas*, гольф — *golfas*, факультет — *fakultetas*; *h* — *z*: гармония — *harmonija*, гигиена — *higiena*, гуманизм — *humanizmas*; б) замена гласных: инвентарь — *inventorius*, капитан — *kapitonas*, музыка — *muzika*, химия — *chemija*; в) некоторые речевые ошибки в русском языке связаны с интернациональными словами, включающими дифтонги в литовском языке: автор — *autorius*, автомат — *automatas*, авторитет — *autoritetas*; бакалавр — *bakalauras* и др.;
- добавление согласного звука, часто *-j-*: Такой *вари[j']ант* меня устраивает (лит. *variantas*); Вы слушаете *ради[j']о*? (лит. *radijas*); *Про[j']ект* подготовили? (лит. *projektas*); ср. также: антибиотик — *antibiotikas*, чемпион — *čempionas*, стадион — *stadionas*, филиал — *filialas*; вставки других согласных звуков отмечаются редко, например: В *фил[h]армонии* концерт хороший слушали (лит. *filharmonija*).
- Б) Ошибки, обусловленные особенностями морфемной структуры интернационального слова:
 - усечение основы слова в русском языке под влиянием литовского соответствия: Были у *нотара* и все уладили (лит. *notaras* «нотариус»); Сообщества *литератов* (лит. *literatas* «литератор»); Такова задача *архитектов* (лит. *architektas* «архитектор»); Программа *норвегов* (лит. *porvegas* «норвежец»); Слишком много *комментаров* (лит. *komentaras* «комментарий»); обычно это характерно для агентов: гуманитарий — *humanitaras*, парламентарий — *parlamentaras*, вегетарианец — *vegetaras*; подобные речевые ошибки частотны в наименованиях человека по национальности, месту проживания: бельгиец — *belgas*, британец — *britas*, испанец — *ispanas*, итальянец — *italas*, японец — *japonas*;
 - несовпадение конца основы интернационального слова в русском и литовском языке: обычно это встречается в названиях учреждений — Встретимся около *планетариума* (лит. *planetariumas* «планетарий»), Я в *соляриуме* работаю (лит. *soliariumas* «солярий»); *Министерия* за это отвечает (лит. *ministerija* «министерство»); в абстрактных существительных: экстравагантность — *ekstravagancija*; элегантность — *elegancija*; телевидение — *televizija*, мораторий — *moratoriumas*.

В) Ошибки, обусловленные грамматическими особенностями:

- смешение форм рода: обычно в литовском языке это слова женского рода, а в русском — мужского: Летом в *санаторию* поеду (лит. *sanatorija*); ср. другие примеры: анализ — *analizė*, контроль — *kontrolė*, гипноз — *hipnozė*, кризис — *krizė*, прогноз — *prognozė*, синтаксис — *sintaksė*, тезис — *tezė*; реже, наоборот, в русском языке это слова женского рода, а в литовском — мужского: мораль — *moralas*, тушь — *tušas*, элита — *elitas*;
- изменение несклоняемых в русском языке слов: Целый день в *бюрах* сижу (лит. склон. *biuras* «бюро»); ср. также: барокко — *barokas*, какао — *kakava*, кино — *kinas*, пальто — *paltas*, пианино — *pianinas*, кенгуру — *kengūra*. Заметим, что в анализируемой социолингвистической ситуации в ряде случаев склоняемость подобных слов появляется в живой русской речи не только в результате интерференции, но и вследствие недостаточного владения литературной нормой русского языка или с целью создания языковой игры. Безусловно, это характерно и для носителей русского языка как родного, в частности, в России, и находит отражение также в языке художественной литературы.

2. Орфографические ошибки:

- отсутствие удвоенных согласных в слове: практическая грамматика (лит. *gramatika*); хороший апетит (лит. *apetitas*); ср. также: дискуссия — *diskusija*, классика — *klasika*, профессор — *profesorius*; коллоквиум — *kolokviumas*, интеллект — *intelektas*, коллега — *kolega*, металл — *metalas*; килограмм — *kilogramas*; аттестат — *atestatas*; аннотация — *anotacija*; дифференция — *diferencija*; территория — *teritorija*;
- написание буквы *e* вместо *э*: Это все ненужные эмоции (лит. *emosija*); Имею только адрес ел. почты (лит. *elektroninis*); Силует девушки (лит. *siluetas*); Нужно закончить есе (лит. *ese* «эссе»); ср. также: экран — *ekranas*, эксперимент — *eksperimentas*, элемент — *elementas*, энергия — *energija*;
- смешение различных согласных и гласных в словах: Когда сдавать экзамин по реторике? (лит. *egzaminas*, *retorika*); ср. также: экзотика — *egzotika*, магнитофон — *magnetofonas*, компрометация — *kompromitacija*, инженер — *inžinierius*;
- отсутствие дефисного написания, ср.: экс-чемпион — *eksčempionas*, кока-кола — *kokakola*.

В целом степень устойчивости интерферентных ошибок, связанных с интернационализмами, высока. В связи с этим в анализируемом материале необходимо обратить отдельное внимание на интернационализмы, которые, несмотря на наличие эквивалентов русского языка (в том числе

и интернациональных), характеризуются регулярностью использования в устной, а также письменной форме. Приведем некоторые примеры: Уволить по сокращению *этатов* (лит. etatas «штат»); Нужно пойти в *амбасаду*, там все объяснят (лит. ambasada — ср. «посольство»); Она из другой *институции* (лит. institucija «учреждение»); Надень *гольф*, теплее будет (лит. golfas в ряду омонимов — ср. русск. «водолазка»). Некоторые интернациональные слова употребляются и в другом значении — в соответствии с семантикой многозначного слова либо омонима в литовском языке (что, в свою очередь, обусловлено языком-источником, из которого заимствованы данные слова): В какие *термины* нужно это сделать? (лит. terminas — в одном из значений «срок»); А вы уже закончили свои *студии*? (лит. множ. ч. studijos «занятия, учеба в высшей школе»); Есть компьютерные курсы для *сеньоров* и начинающих (лит. senjoras в ряду омонимов — «пожилой человек пенсионного возраста») и др.

Дифференциация подобных языковых фактов неоднозначна: это речевая ошибка или региональная норма? Ответ на поставленный вопрос не прост: процессы, связанные с использованием русского языка в иноязычной среде, занимают особое место в ряду процессов развития и функционирования современного русского языка. Согласимся с тем, что в ситуации иноязычного окружения в речевой коммуникации «приходится исходить уже не только из норм русского языка, но также из матрицы доминирующего в окружении иного языка, из образа мыслей и стиля существования, отличающихся от российских» [Протасова: 38]. Взаимовлияние языков происходит не только на доступном внешнему наблюдению уровне, но и в глубинных ментальных процессах. В межкультурной коммуникации в речевой деятельности билингвов «решаются вопросы, которые можно в совокупности охарактеризовать как “прагматическую интертекстуальность”» [Протасова: 40]. Подобные региональные употребления выступают как этнокультурный компонент речевой коммуникации; вероятно, их целесообразно оценивать прежде всего с коммуникативно-прагматической позиции и рассматривать как особенности диалекта. Важной для нормативных оценок становится коммуникативная значимость региональных употреблений в языковом сознании говорящих, и в ситуации выбора предпочтения в речи обычно отдается интернациональному варианту. В таком случае в ситуации иноязычного окружения в русском языке появляется еще один источник интернационализации, обусловленный контактирующим языком. В связи с этим можно говорить об интенсификации интернационализации: посредством литовского языка происходит интеграция интернационализмов, в русском лексиконе имеющих соответствия.

Наблюдаемые региональные особенности русского языка билингвов обуславливают специфику учебно-методической работы. Важно, что в настоящее время в теории и практике преподавания РКИ активизируется

этнометодический подход, касающийся национально ориентированной методики в лингводидактике и включающий вопросы учета национальных особенностей учащихся при обучении русскому как иностранному. «Для определения национальной языковой специфики используется компаративный анализ двух языков, в результате которого выявляются структурные и семантические сходства и различия аналогичных явлений в этих языках. Кроме того, определяется набор типичных для носителей данного языка ошибок (в фонетике, лексике, грамматике, синтаксисе), для того чтобы в процессе обучения акцентировать внимание на их коррекции» [Ременцов и др.: 2015].

Следовательно, необходима планомерная комплексная работа, связанная: с анализом контактирующих языков и языковых фактов в сравнительно-сопоставительном аспекте; с выявлением особенностей адаптации иноязычных слов в контактирующих языках; ознакомлением с типичными ошибками и выявлением закономерностей, которые лежат в их основе; при этом важное место занимает классификация ошибок, составление картотеки индивидуальных ошибок. Особую роль играют задания, связанные с переводом, а также в целом с расширением лингвистических знаний студентов. Понимание природы речевых ошибок и их предупреждение при выполнении соответствующих тренировочных упражнений позволит повысить уровень владения языком. Соответственно, необходимым представляется создание национально ориентированных учебных пособий по РКИ, включающих различные аспекты обучения как устной, так и письменной речи.

Выводы.

1. Рассмотренные в ситуации литовско-русского контактирования типичные особенности интерференции, связанные с интернациональной лексикой в русской речи, носят универсальный характер, но в разных ситуациях иноязычного окружения конкретное проявление процесса интернационализации имеет свои региональные особенности, обусловленные взаимодействием с контактирующим в данном социокультурном пространстве языком.

2. Интернациональные слова становятся источником активизации новых речевых ошибок в межязыковой коммуникации. Проявления интерференции вызваны особенностями адаптации заимствований в каждом из контактирующих языков — литовском и русском. Специфика адаптации проявляется преимущественно в произношении, словообразовании, в меньшей степени — в грамматике.

При взаимодействии с литовским языком выделяются типичные ошибки в употреблении интернационализмов в русском языке, связанные: с фонетическими особенностями — изменением места ударения, заменой или добавлением звуков в произношении ряда слов; с особенностями

морфемной структуры интернационального слова в русском и литовском языках — различиями в основе слова; с грамматическими особенностями — смешением форм рода, изменением несклоняемых в русском языке слов; некоторые речевые ошибки обусловлены одновременно несколькими системно-структурными различиями русского и литовского языков. Наиболее ярко интерференция проявляется в орфографии: ошибки связаны с отсутствием удвоенных согласных в слове, написанием буквы *e* вместо *э*, смешением различных согласных и гласных в словах, отсутствием дефисного написания.

Анализируя речевые ошибки, некоторые устойчивые региональные употребления можно рассматривать, вероятно, как этнокультурный компонент речевой коммуникации, обусловленный коммуникативной целесообразностью.

3. Проблемы культуры речи, касающиеся использования иноязычной лексики, в частности, интернационализмов в речи студентов-билингвов, определяют специфику преподавания русского языка в конкретной межкультурной ситуации и проблемно-ориентированный подход в обучении, где обращается большое внимание на явления языкового контактирования и межкультурной интерференции.

Литература

Бельчиков Ю. А. Интернационализмы // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 197.

Земская Е. А. Общие языковые процессы и индивидуальные речевые портреты // Язык русского зарубежья / Отв. ред. Е. А. Земская. Москва — Вена: Языки славянской культуры, 2001. С. 25—277.

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.

Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца XX — начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования. Москва: ООО Издательство ЭЛПИС, 2008. 495 с.

Леорда С. В. Речевой портрет современного студента. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Саратов: Саратовский государственный университет, 2006. 19 с. URL: <https://dlib.rsl.ru/01003067765>.

Протасова Е. Ю. Феннороссы: жизнь и употребление языка. Санкт-Петербург: Златоуст, 2004. 308 с.

Ременцов А. Н. и др. Обучение русскому языку как иностранному: от этнометодического к национально ориентированному подходу // Дина-

мика языковых и культурных процессов в современной России. Материалы V Конгресса РОПРЯЛ (г. Казань, 4–8 октября 2016 года). Вып. 5. Санкт-Петербург: РОПРЯЛ, 2016. С. 2015–2018 URL: <https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/9328807/5ROPRYAL.pdf>.

Степаненко В. А. Изменение вектора методики РКИ в соответствии с новыми запросами общества // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. Материалы V Конгресса РОПРЯЛ (г. Казань, 4–8 октября 2016 года). Вып. 5. Санкт-Петербург: РОПРЯЛ, 2016. С. 2068–2072 URL: <https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/9328807/5ROPRYAL.pdf>.

Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике. Языковые контакты. Вып. 6. Москва: Прогресс, 1972. С. 344–382.

References

Bel'chikov Yu. A. Internacionalizmy' // Yazy'koznanie. Bol'shoj e'nciklopedicheskij slovar' / Gl. red. V. N. Yarceva. 2 izd. Moskva: Bol'shaya Rossijskaya e'nciklopediya, 1998. S. 197.

Zemskaya E. A. Obshhie yazy'kovy'e processy' i individual'nye rechevy'e portrety' // Yazy'k russkogo zarubezh'ya / Otv. red. E. A. Zemskaya. Moskva – Vena: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2001. S. 25–277.

Kry'sin L. P. Russkoe slovo, svoe i chuzhoe. Issledovaniya po sovremennomu russkomu yazy'ku i sociolingvistike. Moskva: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2004. 888 s.

Marinova E. V. Inoyazy'chny'e slova v russkoj rechi kontsa XX – nachala XXI v.: problemy' osvoeniya i funkcionirovaniya. Moskva: OOO Izdatel'stvo E'LPIS, 2008. 495 s.

Leorda S. V. Rechevoj portret sovremennogo studenta. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filologicheskikh nauk. Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj universitet, 2006. 19 s. URL: <https://dlib.rsl.ru/01003067765>.

Protasova E. Yu. Fennorossy': zhizn' i upotreblenie yazy'ka. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2004. 308 s.

Remenczov A. N. i dr. Obuchenie russkomu yazy'ku kak inostrannomu: ot e'tnometodicheskogo k natsional'no orientirovannomu podkhodu // Dinamika yazy'kovy'kh i kul'turny'kh protsessov v sovremennoj Rossii. Materialy' V Kongressa ROPRYaL (g. Kazan', 4–8 oktyabrya 2016 goda). Vy'p. 5. Sankt-Peterburg: ROPRYaL, 2016. S. 2015–2018 URL: <https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/9328807/5ROPRYAL.pdf>.

Stepanenko V. A. Izmenenie vektora metodiki RKI v sootvetstvii s novy'mi zaprosami obshhestva // Dinamika yazy'kovy'kh i kul'turny'kh protsessov v sovremennoj Rossii. Materialy' V Kongressa ROPRYaL (g. Kazan', 4–8 oktyabrya

2016 goda). Vy'p. 5. Sankt-Peterburg: ROPRYaL, 2016. S. 2068–2072 URL: <https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/9328807/5ROPRYAL.pdf>.

Khaugen E. Process zaimstvovaniya // Novoe v lingvistike. Yazy'kovy'e kontakty'. Vy'p. 6. Moskva: Progress, 1972. S. 344–382.

Сведения об авторе: Наталья Авина; доктор гуманитарных наук (PhD); доцент; доцент Образовательной академии Университета Vytautas Magnus (Вильнюс, Литва); ORCID 0000-0002-7522-5138; natalja.avina@vdu.lt; сфера научных интересов: современный русский язык, языковые контакты.

The author's profile: Natalja Avina; PhD in Philology; Associate Professor, Education Academy at the Vytautas Magnus University (Vilnius, Lithuania); ORCID 0000-0002-7522-5138; natalja.avina@vdu.lt; research interests: modern Russian language, language contacts.

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81'42

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.20

РОЛЬ ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕГО ДИСКУРСА В ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО СООБЩЕСТВА

THE ROLE OF INTERPRETATIVE DISCOURSE IN THE ORGANIZATION OF COMMUNICATION COMMUNITY

Светлана Николаевна Плотникова
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Svetlana Nikolaevna Plotnikova
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Аннотация

В статье дается обоснование сущности коммуникативного сообщества как когнитивного сообщества, или сообщества знания. Знание рассматривается как продукт коммуникативного сообщества и причина его формирования. Результаты исследования показывают, что в коммуникативном сообществе осуществляются и взаимодействуют две основные когнитивные операции — трансфер и создание знаний.

Вводится понятие интерпретирующего дискурса и выделяются два его основных типа: объясняющий и аргументирующий дискурс. Разграничивается объективное и субъективное знание; в качестве субъективного рассматривается ложное, фейковое и деструктивное знание. Это разграничение служит основой классификации коммуникативных сообществ. В статье также отмечается роль в формировании коммуникативного сообщества коллективной когниции и коллективной интерпретирующей деятельности.

Ключевые слова: коммуникативное сообщество, когнитивное сообщество, интерпретирующий дискурс, коммуникативная личность, коллективная когниция, трансфер знаний, создание знаний.

Annotation

The aim of this paper is to propose a cognitive model of communication community. The starting point is the philosophical theory by K.-O. Apel in which

communication community, in contrast to social and territorial communities, is conceived as “unlimited” being based on coordinated, or mutual, understanding. This definition is not sufficiently explanatory and so far no research has been done to make it applicable to linguistics. The theoretical claim proved in this paper is that communication community should be understood, first, as a structural and, second, as a cognitive, or knowledge, community. The structural approach to communication community reveals the main characteristic of discourse produced in it, namely its relevance as a condition for maintaining coordinated communicative behavior. The inclusion of a person in the communication community depends on his / her ability to produce such discourses which will be in demand by other participants and thus retain his / her co-presence with them.

The acceptability of discourse means that the speaker has been accepted as a communicative personality. In this interpretation communicative personality is understood from the standpoint of the model of communicative act – as addresser or addressee. The exchange of messages between them presupposes their co-presence in the same communication community. The cognitive approach to communication community implies that knowledge is viewed as a product of communication community, as well as the cause for its formation. The investigation has established that two cognitive operations – knowledge transfer and knowledge creation – are carried out and interact in the process of communication community formation. Knowledge transfer is defined as transfer of data of any kind from individual to individual and knowledge creation – as new information obtained by an individual or a group and considered by the communication community as new knowledge.

The notion of interpretative discourse through which knowledge transfer and knowledge creation are realized verbally is introduced and two types of it, namely explanatory and argumentative discourse, are singled out. The distinction between objective and subjective knowledge, the latter including false, fake and destructive knowledge, is drawn and then applied to the differentiation of types of communication communities. The paper also explores the ways in which communication community correlates with, and is shaped by, collective cognition and collective interpretative activity.

Key words: communication community, cognitive community, interpretative discourse, communicative personality, collective cognition, knowledge transfer, knowledge creation.

Введение. Одной из центральных проблем современной лингвистики является когнитивное моделирование дискурсивных процессов. На настоящий момент развития когнитивно-дискурсивной парадигмы в лингвистике уже доказано и ни у кого не вызывает сомнений, что дискурс имеет когнитивную природу. В качестве когнитивного явления дискурс определяется как использование языка для выражения особой менталь-

ности и идеологии [Степанов 1995: 38], для передачи знаний, оперирования знаниями и создания новых знаний [Dijk 1997: 8; Кубрякова 2005: 30]. В рамках когнитивного подхода установлено, что каждый дискурс концентрируется вокруг одного или нескольких центральных / базовых / опорных концептов и имеет особую концептосферу [Лихачев 1993; Демьянков 1995], а также сложную пропозициональную и сценарную / фреймовую структуру [Shank, Abelson 1977; Minsky 1980].

На современном этапе начинает ощущаться потребность в дальнейшем развитии понятийно-терминологического аппарата когнитивных исследований дискурса. На наш взгляд, назрела необходимость поставить проблему интерпретирующего дискурса в рамках исследования интерпретирующей функции языка [Болдырев 2011] и рассмотреть роль такого дискурса в организации коммуникативного сообщества.

Хотя понятие коммуникативного сообщества часто встречается в трудах по теории коммуникации и теории дискурса, оно обычно используется как само собой разумеющееся, без определения. Однако это понятие далеко не самоочевидное и требует теоретической разработки, что составляет **цель настоящего исследования.**

Методология. Для достижения цели данной работы методологически релевантными являются две философские теории коммуникативного сообщества. Первая из них — теория нейробиологов и философов У. Матураны и Ф. Варелы. Они определяют коммуникацию как общее свойство людей и животных. Суть коммуникации — сопряженность живых организмов, как имеющих, так и не имеющих нервную систему [Матурана, Варела 2001: 172]. В биологических терминах любой живой организм представляет собой коммуникативный организм. Структурная сопряженность организмов создает их единство, сообщество. У. Матурана и Ф. Варела пишут: «Мы называем коммуникацией координированное поведение, которое взаимно запускают друг у друга члены социального единства» [Матурана, Варела 2001: 171].

По отношению к человеческой коммуникации коммуникативный организм представляет собой коммуникативную личность; ее основное свойство — выбор модели собственного коммуникативного поведения в зависимости от поведения других членов коммуникативного сообщества [Плотникова 2008].

Развивая данный структурный подход к коммуникативному сообществу, мы считаем главной характеристикой производимого в нем дискурса его востребованность как условие поддержания координированного коммуникативного поведения. Нахождение человека в коммуникативном сообществе зависит от его способности производить такие дискурсы, которые будут востребованы другими людьми и тем самым сохраняют его структурную сопряженность с ними. Коммуникативная личность в этой

трактовке понимается с позиций общепринятой модели коммуникативного акта — как адресант или адресат. Обмен сообщениями между ними означает их нахождение в едином коммуникативном сообществе.

Обмен сообщениями, т.е. дискурсами, может происходить непосредственно, когда коммуниканты находятся в физическом контакте друг с другом, и опосредованно, когда они удалены друг от друга в физическом пространстве или же во времени. В отличие от животных, чья коммуникация происходит лишь в биологической среде их обитания, в человеческой коммуникации формируются коммуникативные сообщества в условиях как физического со-присутствия, так и виртуального. Наше время, эпоха Интернета и других современных средств связи, хотя и не наделила людей физической вездесущностью, но наделила их коммуникативной вездесущностью: возможностью формирования и поддержания пространственно распределенных коммуникативных сообществ, что отражается и в языке, в частности в выражении *invisible college* (невидимый университет). Оно означает, что исследователи, работающие в разных городах и странах, общаясь друг с другом, как будто начинают работать в одном и том же, пусть и невидимом, виртуальном университете. Университет как социальное пространство объективируется и физически — в зданиях, аудиториях, институциональных ролевых отношениях, и коммуникативно — как совокупность коммуникативных сообществ, в том числе виртуальных.

Итак, в структурном плане коммуникативное сообщество организуется на основе сопряженности и координации поведения участников, что на лингвистическом уровне проявляется в обмене между ними востребованными дискурсами.

В философской теории К.-О. Апеля предлагается подход к коммуникативному сообществу, который можно назвать когнитивным. Согласно этому подходу, коммуникативное сообщество, в отличие от социального и территориального сообществ, является неограниченным (*an unlimited communication community*), поскольку его главной характеристикой выступает координированное понимание, или взаимопонимание. Оно служит регулятивным принципом организации коммуникативного сообщества и предотвращает возможность обрыва коммуникации и изоляции ее участников [Apel 1980].

Такая трактовка коммуникативного сообщества хотя и не является полностью объяснительной, однако косвенно указывает на его когнитивную природу, поскольку понимание представляет собой когнитивный феномен.

Развивая когнитивный подход, мы выдвигаем методологически релевантное положение о том, что, в первую очередь, коммуникативное сообщество — это когнитивное сообщество, или сообщество знания, поскольку знание является продуктом коммуникативного сообщества, а также ос-

новой его организации. С точки зрения данного подхода коммуникативная личность — это личность не просто связанная с другими поведением и дискурсом, но личность интерпретирующая и понимающая других.

Интерпретирующая деятельность осуществляется как в индивидуальной когниции, когда человек сам формирует смысл высказывания и сам выбирает форму его выражения, так и в коллективной, разделяемой когниции. Она представляет собой такое осмысление мира, которое индивид разделяет с другими людьми, постепенно накапливая общие с ними знания о том или ином объекте, ситуации, положении вещей в мире [Плотникова 2017].

Основная часть. Интерпретирующий дискурс и трансфер знания.

Выработка коллективного знания и его распределение между членами сообщества происходит в интерпретирующем дискурсе. Как показывает анализ, его сущность в том, что в нем осуществляется синтез двух операций со знанием: во-первых, трансфер уже выработанных в сообществе знаний от одних участников к другим и, во-вторых, создание новых знаний отдельными участниками.

Под трансфером знаний понимается «передача от человека к человеку не только практических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к решению житейских или научных проблем» [Демьянков 2016: 87].

Трансфер знаний осуществляется, главным образом, в дискурсе объяснения, с помощью которого происходит перенос знаний от известного, понимаемого данным человеком, к неизвестному, новому для него. Такой дискурс имеет интерпретирующий характер, поскольку в нем раскрываются причинно-следственные и функциональные зависимости в организации знаний. При трансфере знаний в институциональных коммуникативных сообществах, например, в корпорациях [Argote, Ingram, Levine, Moreland 2000] передача опыта новым сотрудникам осуществляется с помощью дискурса объяснения. Его результатом выступает финализация акта взаимопонимания между участниками коммуникативного сообщества, упорядочивание и структурирование разделяемого сообществом знания.

Трансфер знаний может быть предназначен не только конкретному, но и массовому адресату, представляющему собой фигуру обобщенного Другого. В частности, адресат академического дискурса — это «коллектив ученых, с которым говорящий, привлекая коллег, взаимодействует в процессе создания речевых произведений» [Сулейманова 2018: 186]. Понятие Другого является более объяснительным для понимания сущности академического дискурса, чем понятие адресата, поскольку предполагает «непрерывный диалог с научным сообществом, с Другими, в ходе которого только и возможна академическая коммуникация» [там же: 196].

В пространственно распределенных коммуникативных сообществах, наподобие академического сообщества, Другой выступает как позиция усвоения переданного в интерпретирующем дискурсе знания. Основная структурная особенность коммуникативного сообщества — связь, сопряженность между его участниками — обуславливает возможность трансфера знаний поверх институциональных и социальных границ, когда идет обмен знаниями между коммуникантами по всему миру.

В свете этого анализа проявляется идея о неограниченности коммуникативного сообщества. Неограниченность не означает, что к коммуникативному сообществу может присоединиться любой желающий. Участники должны соответствовать условию принадлежности; в качестве такого условия выступает согласованное понимание передаваемого интерпретирующего дискурса.

Кроме трансфера знаний в коммуникативном сообществе (но не в каждом) происходит создание новых знаний. Новое знание мы определяем как новую упорядоченную информацию, полученную в результате интерпретирующей деятельности одного или нескольких членов данного сообщества и признаваемую именно как знание всеми остальными его членами.

Признание определенной информации как нового знания происходит постепенно и является результатом дискуссии между членами сообщества. В научном сообществе создание нового знания начинается с проблематизации. Она направлена на обнаружение «незнания», лакуны в знании, требующей заполнения и воспринимаемой как проблема, которую необходимо решить. Поставленная проблема ориентирует и направляет интерпретирующую деятельность и определяет «предзаданность» нового знания в рамках исходного, накопленного в сообществе знания. Интерпретирующий дискурс в процессе создания знания является аргументирующим. В нем происходит обоснование выдвинутых предположений, чтобы они были поняты и приняты членами коммуникативного сообщества, которые выдвигают свои контраргументы. Результатом аргументирующего дискурса является убеждение членов сообщества в случае принятия или отсутствия убеждения, несогласие — в случае непринятия ими предоставленной информации как нового знания.

В этой трактовке знание предстает как коммуникативный феномен, продукт коммуникативного сообщества. Подобное знание является распределенным: оно создается на индивидуальном уровне и распределяется между членами данного сообщества. При этом проблематизация и аргументация как способы создания нового знания свойственны не только теоретическому, но и предметно-практическому познанию.

В целом интерпретирующий дискурс охватывает собой и объединяет когнитивные операции трансфера и создания знаний в коммуникативном сообществе.

Выделенные структурный и когнитивный подходы к коммуникативному сообществу являются взаимодополнительными. Коммуникативное сообщество формирует как структурная сопряженность участников, взаимный запуск ими поведения и дискурса друг друга, так и их коллективная, разделяемая когниция, вырабатываемое в интерпретирующем дискурсе коллективное знание.

Вместе с тем в конкретных коммуникативных сообществах превалирует либо структурное, либо когнитивное единение участников. Так, участников какого-либо развлекательного мероприятия объединяет их совместное нахождение «здесь» и «сейчас» и общая востребованность предлагаемого вербального или невербального дискурса, с помощью которого производится запуск скорее эмоционального, чем интерпретирующего поведения. В противоположность этому, в таких сообществах, как научные, педагогические, юридические, религиозные, объединение участников происходит по когнитивному принципу. Они в полной мере являются сообществами знания.

В связи с этим понятие знания требует дальнейшего уточнения. Возникает вопрос, всегда ли «знание» соответствует точному значению этого термина, ведь глагол «знать» имплицитно подразумевает истинность зависимой пропозиции, т.е. объективность, единственность истины [Арутюнова 2007: 156]. Но в то же время знание не всегда связано с истиной. Это объясняется тем, что знание зависит также и от понимания, специфическое свойство которого — возможность отдаления понимания от истины. «Понимание — это субъективное знание с незаполненными валентностями» [Арутюнова 2007: 157].

Мы полагаем, что эти положения позволяют разграничить сообщества объективного и субъективного знания. Деление коммуникативных сообществ по институциональному признаку не обязательно соответствует их делению по типу знания. Например, предназначение научных сообществ — создавать объективные, обоснованные, системные знания о мире. Однако, поскольку в понимании могут оказаться незаполненные валентности, лакуны в знании, когниция может пойти по пути ложного знания, а затем, в результате процесса верификации в интерпретирующем дискурсе вновь вернуться к истинностному знанию.

Сообщества субъективного знания весьма многочисленны и разнообразны; к ним относятся, в том числе, сообщества ложного и фейкового знания, признающие в качестве истины только свою точку зрения на мир и отказывающиеся от какой-либо верификации фактов действительности. Существуют также сообщества деструктивного знания, коммуникативным продуктом которых является пропаганда экстремизма, межэтнической и межконфессиональной вражды.

Интерпретирующий дискурс в подобных сообществах, как и во всех других, служит основой их организации, однако в нем когнитивные операции трансфера и создания знаний, в том числе проблематизация и аргументация, направлены не на установление истины, а на закрепление субъективного понимания мира.

Далее, субъективно выдвигаемые проблемы и аргументы утрачивают связь с фактами действительности, благодаря чему интерпретирующий дискурс, выполняя свою роль установления взаимопонимания между участниками данного коммуникативного сообщества, становится также средством их сплочения против объективного знания. В современной политической жизни наблюдается борьба коммуникативных сообществ, когда одни и те же факты действительности подвергаются разной интерпретации в разных странах, при этом никакие аргументы противоположной стороны во внимание не принимаются. Каждое сообщество замыкается в своем интерпретирующем дискурсе, и его неограниченность распространяется только на тех, кто принимает за истину предлагаемое знание и не подвергает его верификации.

Понятие коммуникативного сообщества, несомненно, играет значимую роль в осмыслении процессов, происходящих в коммуникативной среде. Поскольку коммуникативное сообщество представляет собой источник знаний и их динамики, и при этом в каждом сообществе вырабатывается «свое» знание, в том числе и знание, которое носит деструктивный характер по отношению к другим сообществам и социальному миру в целом, требуются технологии противодействия деструктивному знанию, а именно технологии когнитивного менеджмента коммуникативных процессов.

Выводы. Разработка таких технологий чрезвычайно сложна, что обусловлено самой природой коммуникативного сообщества. Благодаря своей структурной и когнитивной сопряженности коммуникативное сообщество выступает как коллективный субъект в том смысле, что оно функционирует как единая интерпретирующая система, подчиняющая себе отдельных индивидов. Коллективная когниция не просто «вырастает» из индивидуальной когниции; она довлеет над ней настолько, что некоторые исследователи считают, что коллективная когниция осуществляется вне отдельных индивидов (*collective cognition takes place outside the individuals*) [Daft, Weik 1984], т.е. на уровне коллективного сознания / разума, социального интеллекта.

Без технологичного управления коллективной когницией довольно редки случаи изменения сложившихся в коллективном разуме когнитивных структур, в рамках которых протекает интерпретирующая деятельность. В качестве подобного случая отмечается такой появившийся в последние годы в связи с участвовавшими террористическими актами

компонент знания о путешествии на самолете, как «бдительность во взаимодействии со всеми находящимися на борту» [Weik, Roberts 1993]. Этот пример свидетельствует о том, что люди не используют имеющиеся знания чисто схематично, наподобие автоматов. Коллективный разум постоянно обрабатывает поступающую информацию в интерпретирующем дискурсе и корректирует сложившуюся в коммуникативном сообществе систему знаний. Вместе с тем такая корректировка, как правило, происходит только после кризисных событий, угрожающих безопасности всего сообщества.

Попыткой создания технологии когнитивного менеджмента коммуникативных процессов можно считать исследовательский проект, осуществляемый в настоящее время в университете Южной Калифорнии, США (см. сайт этого университета). Как предполагает название проекта (*Metamorphosis Project*), речь идет об изменениях; уточняется, что они касаются изменений в коммуникативной среде (*communication environment*) и коммуникативной инфраструктуре (*communication infrastructure*). Внимание разработчиков направлено не на естественную, а на технологическую метаморфозу, достигаемую с помощью коммуникативных технологий (*communication technologies*). Они пишут в анонсе своего проекта, что наподобие того как создается экономическая инфраструктура района, города, страны, должна создаваться коммуникативная инфраструктура, учитывающая способы коммуникации в контексте друг друга. Эта инфраструктура невидима до тех пор, пока не наступает кризисная ситуация или неожиданное событие. Например, когда возникает межэтнический конфликт, причину следует искать в нарушении не только экономических, но и коммуникативных процессов. Такие конфликты часто имеют коммуникативную природу, и для их разрешения требуются изменения в структуре коммуникативной среды. В частности, разработчики предлагают открывать в районах города недорогие кафе, где люди разных национальностей и конфессий могли бы проводить друг с другом свободное время.

В наших терминах, разработчиками предлагается идея создания в проблемной среде единого коммуникативного сообщества из представителей разрозненных, враждебных друг другу сообществ. В кафе как общей социальной и даже биологической среде возникнет структурная сопряженность организмов, по Матуране — Вареле, начнется обмен востребованными дискурсами, вначале стандартно вежливыми, а затем, скорее всего, и интерпретирующими. Этот процесс постепенно приведет к коммуникативному, а следовательно, и социальному единению людей, возникновению единого коммуникативного сообщества.

В целом предложенная модель коммуникативного сообщества выявляет его структурную и когнитивную природу и устанавливает, что на глубин-

ном когнитивном уровне оно представляет собой когнитивное сообщество, или сообщество знания, распределяемого между его участниками при помощи интерпретирующего дискурса.

Литература

Арутюнова Н. Д. Невыразимое — подвластно ли пониманию? // Вопросы культуры речи. Москва: Наука, 2007. С. 152–170.

Болдырев Н. Н. Роль интерпретирующей функции в формировании языковых категорий // Вестник Тамбовского государственного университета. 2011. Вып. 1 (93). С. 9–16.

Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука XX века. Москва: Ин-т языкознания РАН, 1995. С. 239–320.

Демьянков В. З. Цивилизационные и культурные ограничения на трансфер знаний в свете концепции В. Н. Телия // Язык, сознание, коммуникация. Москва: МАКС Пресс, 2016. Вып. 53. С. 86–90.

Кубрякова Е. С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания // Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. ред. В. Н. Топоров. Москва: Языки славянских культур, 2005. С. 23–33.

Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит-ры и языка. 1993. Т. 52. № 1. С. 3–9.

Матурана У. Р., Варела Ф. Х. Дерево познания. Москва: Изд-во «Прогресс-Традиция», 2001. 224 с.

Плотникова С. Н. Говорящий / пишущий как языковая, коммуникативная и дискурсивная личность // Вестник Нижегородского государственного гуманитарного университета. Сер. Филологические науки. 2008. № 4. С. 37–42.

Плотникова С. Н. Коллективная когниция и её роль в конструировании социального мира // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. XXX. С. 696–699.

Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века: Сб. статей. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. С. 35–73.

Сулейманова О. А. Академический дискурс как непрерывный диалог с Другим // Дискурс как универсальная матрица вербального взаимодействия. Москва: URSS, 2018. С. 180–198.

Apel K.-O. Towards a Transformation of Philosophy. London: Marquette University Press, 1980. 308 p.

Argote L., Ingram P., Levine J. M., Moreland R. L. Knowledge transfer in organizations: Learning from the experience of others // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2000. № 82. P. 1–8.

Daft R., Weik R. E. Toward a model of organizations as interpretation systems // *Academy of Management Review*. 1984. 9 (2). P. 284–295.

Dijk T. A. van. The study of discourse // *Discourse as Structure and Process. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction* / Ed. by T. A. van Dijk. Vol. 1. London: SAGE Publications, 1997. P. 1–34.

Minsky M. A. Framework for representing knowledge // *Frame Conceptions and Text Understanding* / Ed. by D. Metzger. Berlin: Walter de Gruyter, 1980. P. 1–25.

Shank R., Abelson R. Scripts, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. 248 p.

Weik K. E., Roberts K. H. Collective mind in organizations: heedful interrelating on flight decks // *Administration Science Quarterly*. 1993. 38. P. 57–381.

References

Arutyunova N. D. Nev'y razimoe — podvlastno l' ponimaniyu? // *Voprosy kul'tury' rechi*. Moskva: Nauka, 2007. S. 152–170.

Boldy'rev N. N. Rol' interpretiruyushhej funkicii v formirovanii yazy'kovy'kh kategorij // *Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2011. Vy'p. 1 (93). S. 9–16.

Dem'yankov V. Z. Dominiruyushhie lingvisticheskie teorii v konce XX veka // *Yazy'k i nauka XX veka*. Moskva: In-t yazy'koznaniya RAN, 1995. S. 239–320.

Dem'yankov V. Z. Civilizacionny'e i kul'turny'e ograniicheniya na transfer znaniy v svete koncepcii V. N. Teliya // *Yazy'k, soznanie, kommunikaciya*. Moskva: MAKS Press, 2016. Vy'p. 53. S. 86–90.

Kubryakova E. S. O termine «diskurs» i stoyashhej za nim strukture znaniya // *Yazy'k. Lichnost'. Tekst* : sb. st. k 70-letiyu T. M. Nikolaevoy / Otv. red. V. N. Toporov. Moskva: Yazy'ki slavyanskix kul'tur, 2005. S. 23–33.

Likhachev D. S. Konceptosfera russkogo yazy'ka // *Izvestiya RAN. Ser. lit-ry' i yazy'ka*. 1993. T. 52. № 1. S. 3–9.

Maturana U. R., Varela F. Kh. Drevo poznaniya. Moskva: Izd-vo "Progress-Tradiciya", 2001. 224 s.

Plotnikova S. N. Govoryashhij / pishushhij kak yazy'kovaya, kommunikativnaya i diskursivnaya lichnost' // *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. Ser. Filologicheskie nauki*. 2008. № 4. S. 37–42.

Plotnikova S. N. Kollektivnaya kogniciya i eyo rol' v konstruirovanii social'nogo mira // *Kognitivny'e issledovaniya yazy'ka*. 2017. Vy'p. XXX. S. 696–699.

Stepanov Yu. S. Al'ternativny'j mir, Diskurs, Fakt i princip Prichinnosti // *Yazyk i nauka kontsa XX veka: Sb. statej. M.: Rossijskij gosudarstvenny'j gumanitarny'j universitet, 1995. S. 35–73.*

Sulejmanova O. A. Akademicheskij diskurs kak nepreryvny'j dialog s Drugim // *Diskurs kak universal'naya matricza verbal'nogo vzaimodejstviya. Moskva: URSS, 2018. S. 180–198.*

Apel K.-O. Towards a Transformation of Philosophy. London: Marquette University Press, 1980. 308 p.

Argote L., Ingram P., Levine J. M., Moreland R. L. Knowledge transfer in organizations: Learning from the experience of others // *Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2000. № 82. P. 1–8.*

Daft R., Weik R. E. Toward a model of organizations as interpretation systems // *Academy of Management Review. 1984, 9 (2). P. 284–295.*

Dijk T. A. van. The study of discourse // *Discourse as Structure and Process. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction / Ed. by T. A. van Dijk. Vol. 1. London: SAGE Publications, 1997. P. 1–34.*

Minsky M. A. Framework for representing knowledge // *Frame Conceptions and Text Understanding / Ed. by D. Metzing. Berlin: Walter de Gruyter, 1980. P. 1–25.*

Schank R., Abelson R. Scripts, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. 248 p.

Weik K. E., Roberts K. H. Collective mind in organizations: heedful interrelating on flight decks // *Administration Science Quartely. 1993. 38. P. 57–381.*

Сведения об авторе: Светлана Николаевна Плотникова; доктор филологических наук; профессор; Иркутский государственный университет; профессор Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации; ORCID 0000-0003-3595-6857; snplotn@mail.ru; сфера научных интересов: теория коммуникации и коммуникативный менеджмент, судебная лингвистика, речевое воздействие.

The author's profile: Svetlana Nikolaevna Plotnikova; Doctor of Philology; Professor; Irkutsk State University; Professor at the Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication; ORCID 0000-0003-3595-6857; snplotn@mail.ru; research interests: theory of communication and communication management; court linguistics; speech act theory.

РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных трудов по филологии

Выпуск XIII

Корректор *Кочемасова Т. В.*

ООО «Книгодел»
(495) 689-75-36; (495) 689-72-45 (факс);
e-mail: laton@mail.ru

Подписано в печать 24.06.2019.
Формат 60×90/16. Печ. л. 19,75.
Тираж 300 экз.
Заказ № 1769